

*НОВЫЙ
Журнал*

98

*THE NEW
REVIEW*

*THE
NEW REVIEW
Новый Журнал*

Основатели — М. Алданов и М. Цетлин — 1942

С 1946 по 1959 редактор М. Карпович

С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев

Двадцать девятый год издания

Кн. 98

НЬЮ ИОРК

1970

РЕДАКТОР: РОМАН ГУЛЬ
СЕКРЕТАРЬ РЕДАКЦИИ: ЗОЯ ЮРЬЕВА

NEW REVIEW, March 1970
Quarterly, No. 98
2700 Broadway, New York, N. Y. 10025
Subscription Price \$10. — for one year
Publisher: New Review, Inc.
Second Class Mail postage paid
at New York, N.Y.

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
<i>И. Бунин</i> — Стихи	5
<i>В. Шаламов</i> — Житие инженера Кипреева	6
<i>И. Чиннов</i> — Стихи	24
<i>Г. Газданов</i> — Эвелина и ее друзья	26
<i>И. Елагин</i> — Стихи	53
<i>М. Булгаков</i> — Зойкина квартира	55
<i>Н. Моршен</i> — Стихи	89
<i>Н. Ульянов</i> — Мистицизм Чехова	91
<i>И. Бродский</i> — Стихи	104
<i>В. Вейдле</i> — Поглядев назад, о Пастернаке	105
<i>Д. Кленовский</i> — Стихи	110
<i>Л. Ржевский</i> — Тайнописное в послеоктябрьской литературе ..	112
<i>З. Шаховская</i> — Стихи	130
<i>Ю. Иваск</i> — Н. Гумилев, Г. Иванов	131
<i>Д. Глэд</i> — Возрождение антиутопии в произведениях А. и Б. Стругацких	146
ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ:	
<i>Б. Зайцев</i> — Другая Вера	153
<i>Н. Туров</i> — Встреча с Абакумовым в тюрьме НКВД	168
<i>Д. Шуб</i> — Из давних лет	182
<i>Л. Дан</i> — Встречи с В. Н. Фигнер	200
ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА	
<i>Е. Максимович</i> — Эпоха Николая II	209
<i>К. Павлов</i> — К проблеме советско-китайских отношений	234
<i>Р. Плетнев</i> — Спор о происхождении русск. литер. языка	254
ПАМЯТИ УШЕДШИХ:	
<i>Р. Гуль</i> — Д. А. Джапаридзе, Н. В. Нароков	261
<i>От редакции</i> — А. В. Тыркова	266
СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ:	
<i>Н. Первушин</i> — Письма А. Ф. Достоевского	269
<i>Д. Глэд</i> — Советские граффити	277
<i>И. Бергер</i> — От большевизма к православию	280
<i>Письмо А. И. Солженицына</i>	283
<i>З. Фолеевский</i> — Ответ на ответ проф. Н. Ульянова	283
<i>Н. Ульянов</i> — Ответ проф. З. Фолеевскому	285
БИБЛИОГРАФИЯ:	
<i>Игумен Геннадий</i> — Н. Лосский. Воспоминания. <i>О. Ильинский</i> — Д. Кленовский. Стихи. <i>Б. Прянишников</i> — Г. Солсбери. 900 дней. <i>М. П.</i> — А. Даллес — Шпионаж в художественной литературе. <i>Т. Петровская</i> — Л. Владимиров. Россия без прикрас и умолчаний. <i>Игумен Геннадий</i> — А. Позов. Метафизика Пушкина	

**PRODUCED BY RAUSEN LANGUAGE DIVISION
150 VARICK STREET. NEW YORK, N. Y. 10013**



Настанет день, когда опять войдет
Река в русло, — когда опять наложит
Оковы на себя (*и худшие, быть-может*)*
От хмеля буйного очнувшийся народ.

Ив. Бунин, 1917 г.

с. Васильевское Елецкого уезда.

Это неизвестное стихотворение И. А. Бунина мы получили из его архива от Л. Ф. Зурова. РЕД.

* Подчеркнуто красными чернилами. Все стихотворение И. А. отметил двумя красными чертами и красным нотабене. **Л. Зуров.**

Copyright by The New Review, New York, 1970.

ЖИТИЕ ИНЖЕНЕРА КИПРЕЕВА

Я никого в жизни не предал, не продал. Но я не знаю, как бы я держался, если б меня били. Я прошел все свои следствия удачейшим образом — без битья, без метода номер три. Мои следователи на всех моих допросах не прикасались ко мне. Это случайность, не более. Я просто проходил следствие рано — в первой половине тридцать седьмого года, когда пытки применялись редко.

Но инженер Кипреев был арестован в 1938 году, и вся грозная картина битья на следствии была ему известна. И он выдержал это битье, он даже кинулся раз на следователя, но, избитый, был посажен в карцер. И все-таки пункта подписи следователи легко добились от Кипреева: его припугнули арестом жены и Кипреев «подписал».

Вот этот страшный душевный удар Кипреев пронес сквозь всю жизнь. Немало в арестантской жизни есть унижений, расстрелов. В дневниках людей освободительного движения России была «страшная травма»: — просьба о помиловании. До революции это считалось вечным позором. И после революции в обществе политкаторжан и ссыльно-поселенцев никак не принимали, так называемых, «подаванцев» — т. е. когда-либо, по любому поводу просивших царя об освобождении, о смягчении участи.

В тридцатых годах не только «подаванцам» все прощалось, но даже тем, кто «подписал» на себя и других заведомую ложь, подчас кровавую, — тоже прощалось. Ведь те, что сидели и проходили следствие были сплошь «подаванцы». Поэтому никто и не знал, каким нравственным пыткам обреч себя Кипреев, уезжая на Охотское море — во Владивосток, в Магадан.

Эти рассказы В. Т. Шаламова мы получили из СССР без ведома и согласия автора. За напечатание их мы приносим В. Т. наше извинение. РЕД.

Кипреев был инженер-физик из того самого Харьковского физического института, где раньше всего в Советском Союзе подошли к ядерной реакции. Там работал и Курчатов. Харьковский институт не избежал «чистки». Одной из первых жертв в атомной нашей науке был инженер Кипреев.

Кипреев знал себе цену. А его начальники цену Кипрееву не знали. Притом оказалось, что нравственная стойкость мало связана с талантом, с научным опытом, даже с научной страстью. Это были разные вещи. Зная о побоях на следствии Кипреев подготовлял себя очень просто — он будет защищаться как зверь, отвечать ударом на удар, не разбирая, кто исполнитель метода номер три. Но Кипреев «подписал». И ему было безмерно стыдно за эту слабость, за то что при встрече с грубой силой он, интеллигент Кипреев, — уступил. Тогда же, в тюрьме, Кипреев дал себе клятву на всю жизнь: никогда не повторить позорного своего поступка. Впрочем, только Кипрееву его действие и казалось позорным. Рядом с ним на нарах лежали такие же подписавшие, оклеветавшие. У позора нет границ — вернее, границы позора всегда очень личны — и требования к самому себе у каждого жителя следственной камеры иные.

С пятилетним сроком Кипреев пришел на Колыму, уверенный, что найдет путь к досрочному освобождению, сумеет вырваться на волю, на материк. Конечно, инженера оценят. И инженер заработает зачеты рабочих дней, освобождение, скидку срока. Кипреев с презрением относился к лагерному физическому труду — он понял, что ничего, кроме смерти в конце этого пути нет. Он хотел работать там, где можно было применить хоть тень специальных знаний, которые были у Кипреева — тогда он выйдет на волю. И квалификацию не теряет.

Опыт работы на прииске, сломанные пальцы, попавшие в скрепер — физическая слабость — все это привело Кипреева в больницу, а после больницы на пересылку.

Беда была еще и в том, что инженер не мог не изобретать, не искать научных технических решений в том хаосе лагерного быта, в котором инженер жил. Лагерь же, лагерное начальство

смотрело на Кипреева, как на раба. Энергия Кипреева, за которую он сам себя клял тысячу раз, искала выхода. Только ставка в этой игре должна быть достойна инженера, ученого. Эта ставка — свобода.

Колыма не только потому «чудная планета», что там «девать месяцев в году» зима. Там в войну сто рублей платили за яблоко, а ошибка в распределении свежих помидоров, привезенных с материка, приводила к кровавым расправам. Все это — и яблоки, и помидоры — разумеется, для вольного, вольнонаемного мира, к которому заключенный Кипреев не принадлежал. «Чудная планета» не только потому, что там «закон — тайга». Не потому, что Колыма — сталинский спецлагерь уничтожения, что там «дефицит» — махорка, чифирь — чай, — что это валюта колымская, истинное ее золото, за которое приобретается все.

И все же «дефицитней» всего было стекло — стеклянные изделия, лабораторная посуда, инструменты. Хрупкость стекла усиливали морозы, а норму «боя» не увеличивали. Простой медицинский градусник стоил рублей триста и подпольных базаров на градусники не существовало. Врачу надо заявить уполномоченному райотдела о предложении, ибо медицинский градусник прятать труднее, чем Джиоконду. Но врач никаких заявлений не подавал. Он просто платил триста рублей и приносил градусник из дому мерить температуру тяжелым больным.

На Колыме консервная банка — поэма. Жестяная консервная банка — это мерка, удобная мерка всегда под рукой. Это мерка воды, крупы, муки, киселя, супа, чая. Это кружка для «чифиря», в ней так удобно «подварить чифирку». Кружка эта стерильна — она очищена огнем. Чай, суп разогревают, кипятят в печке, на огне костра.

Большая трехлитровая банка — это классический котелок «доходяг», с проволочной ручкой, которая удобно прикреплена к поясу. А кто на Колыме не был или не стал доходягой?

Стеклянная банка — это свет в раме деревянного переплета. Это прозрачная банка, в которой так удобно хранить медикаменты в амбулатории. Полулитровая банка — посуда для

третьего блюда лагерной столовой. Но не термометры, не лабораторная посуда, не консервные банки — главный стеклянный дефицит на Колыме.

Главный дефицит — это электролампа.

На Колыме — сотни приисков, рудников, тысячи участков, разрезов, шахт, десятки тысяч золотых, урановых, оловянных, вольфрамовых забоев, тысячи лагерных командировок, вольнонаемных поселков, «лагерных» зон и бараков для отрядов охраны, и всюду нужен свет, свет, свет. Колыма девять месяцев живет без солнца, без света. Бурный, незакатный солнечный свет не спасает, не дает ничего.

Промприборы, бутари, забои требуют света. Подсвеченные юпитерами забои удлиняют ночную смену, делают производительней труд. Везде нужны электролампы. Их возят с материка — трехсотки, пятисотки и в тысячу свечей — готовые осветить барак и забой. Неровный свет движков обрекает лампы на преждевременный износ.

Электролампа — это государственная проблема на Колыме.

Не только забой должен быть «подсвечен». Должна быть подсвечена «зона», колючая проволока с караульными вышками по норме, которую Дальний Север увеличивает, а не уменьшает.

Отряду охраны должен быть обеспечен свет. Простой активровкой (как в приисковом забое) тут не обойдешься, тут люди, которые могут бежать, и хотя ясно, что бежать зимой некуда и никто на Колыме зимой никуда не бежал, — закон остается законом и если нет света или нет ламп, разносят горящие факелы вокруг зоны и оставляют их на снегу до утра, до света. Факел — это тряпка в мазуте или бензине.

Электролампы перегорают быстро. И восстановить их нельзя. Кипреев написал докладную записку, удивившую начальника Дальстроя. Начальник уже почувствовал орден на своем кителе, на кителе, именно, а не на френче, и не на пиджаке.

Восстановить лампы можно — лишь бы было цело стекло. И вот по Колыме полетели грозные приказы. Все перего-

ревшие лампочки бережно доставлялись в Магадан. На промкомбинате, на 47 километре был построен завод. Завод восстановления электрического света.

Инженер Кипреев был назначен начальником цеха завода.

Весь остальной персонал, штатная ведомость, выросшая вокруг ремонта электроламп — был только вольнонаемным. Удача была пущена в надежные, вольнонаемные руки. Но Кипреев не обращал на это внимания. Его-то создатели завода не могут не заметить.

Результат был блестящим. Конечно, после ремонта лампы долго не работали. Но сколько-то часов, сколько-то суток золотых Кипреев сберег Колыме. Этих суток было очень много. Государство получило огромную выгоду, военную выгоду, золотую выгоду.

Директор Дальстроя был награжден орденом Ленина. Все начальники, имевшие отношение к ремонту электроламп, получили ордена. Однако, ни Москва, ни Магадан даже не подумали отметить заключенного Кипреева. Для них Кипреев был раб, умный раб и ничего больше.

Все же директор Дальстроя не считал возможным вовсе забыть своего таежного корреспондента на великом колымском празднике, отмеченным Москвой, — в узком кругу, на торжественном вечере в честь — чью честь? — директора Дальстроя иль каждого из получивших ордена и благодарности, ведь кроме правительственного указа директор Дальстроя издал свой приказ о благодарностях, награждениях, поощрениях. Всем участвовавшим в ремонте электроламп, всем руководителям завода, где был цех по восстановлению света были, кроме орденов и благодарностей, еще заготовлены американские посылки военного времени. Эти посылки, входившие в поставку по лендлизу, состояли из костюма, галстука, рубашки и ботинок. Костюм, кажется, пропал при перевозке, зато ботинки — краснокожие американские ботинки на толстой подошве были мечтой каждого начальника.

Директор Дальстроя посоветовался с помощником — и все решили, что о лучшем счастье, о лучшем подарке инженер ээка не может и мечтать.

О сокращении срока инженеру, о полном его освобождении директор Дальстроя и не предполагал просить Москву в это политически-тревожное время. Раб должен быть доволен и старыми ботинками хозяина и костюмом с хозяйского плеча. Американский костюм, ботинки на толстой подошве — это нечто вроде путешествия на луну, полет в иной мир. Об этих подарках говорил весь Магадан, вся Колыма.

Настал торжественный вечер, блестящие картонные коробки с костюмами громоздились на столе, затянутом красным сукном.

Директор Дальстроя прочел приказ, где, конечно, имя Кипреева не было упомянуто, не могло быть упомянуто.

Начальник политуправления прочел «список на подарки». Последней была названа фамилия Кипреева. Инженер вышел к столу, ярко освещенному лампами — его лампами — и взял коробку из рук директора Дальстроя.

Кипреев выговорил раздельно и громко: — «американских обносков я носить не буду» — и положил коробку на стол.

Тут же Кипреев был арестован и получил восемь лет дополнительного срока — по статье — какой я не знаю, да это и не имеет значения на Колыме, это никого не интересует. Впрочем — какая же статья за отказ от американских подарков? Не только, не только от них. В заключении следователя по новому делу Кипреева сказано: говорил, что Колыма — это Освенцим без печей.

Этот второй срок Кипреев встретил спокойно. Он понимал на что идет, отказываясь от американских подарков. Но кое-какие меры личной безопасности инженер Кипреев принял. Меры были вот какие. Кипреев попросил знакомого написать письмо жене на материк, что он, Кипреев, умер. И перестал сам писать письма.

С завода инженер был удален на прииск, на общие работы. Вскоре война кончилась, лагерная система сделалась еще сложнее — Кипреева как сугубого рецидивиста ждал номерной лагерь.

Инженер заболел и попал в центральную больницу для заключенных. Здесь в работе Кипреева была большая нужда

— надо было собрать и пустить рентгеновский аппарат, собрать из старья, из деталей-инвалидов. Начальник больницы, доктор, обещал освобождение, скидку срока. Инженер Кипреев мало верил в такие обещания, он «числился больным» — а зачеты дают только штатным работникам больницы. Но в обещание начальника хотелось верить, рентгенокабинет — не прииск, не золотой забой.

Здесь мы встретили Хиросиму.

— Это она — бомба, это то, чем мы занимались в Харькове, — сказал Кипреев.

Самоубийство Форрестол. Поток издевательских телеграмм.

— Ты знаешь, в чем дело? Для западного интеллигента принимать решение сбросить атомную бомбу очень сложно, очень тяжело. Депрессия психическая, сумасшествие, самоубийство — вот цена какой платит за такие решения западный интеллигент. Наш Форрестол не сошел бы с ума.

— Сколько встречал ты хороших людей в жизни? Настоящих, которым хотелось бы подражать, служить?

— Сейчас вспомню: инженер-вредитель Миллер и еще человек пять.

— Это очень много.

Ассамблея подписала протокол о геноциде.

— Геноцид? С чем его едят?

Мы подписали конвенцию. Конечно — тридцать седьмой год это не геноцид. Это истребление врагов народа.

Зеркала не хранят воспоминаний. Но то, что у меня спрятано в чемодане, трудно даже назвать зеркалом — обломок стекла — как будто поверхность воды замутилась и река осталась мутной и грязной навсегда. Зеркало замутилось и уж не отражает ничего. Но когда-то зеркало было зеркалом, было подарком, пронесенным мною через два десятилетия — лагеря, воли, похожей на лагерь, и всего, что было после двадцатого съезда партии. Зеркало, подаренное мне, не было коммерцией инженера Кипреева — это был опыт, научный опыт, след этого опыта во тьме рентгеновского кабинета. Я сделал к этому зер-

кальному куску деревянную оправу. Не сделал — заказал. Оправа до сих пор цела, ее делал какой-то столяр из латышей, выздоравливающий больной — за пайку хлеба. Я уже мог тогда дать пайку за такой сугубо личный, сугубо легкомысленный заказ.

Я смотрю на эту оправу — грубую, покрашенную масляной краской, какой красят полы: — в больнице шел ремонт и столяр выпросил «чуток» краски. Потом раму лакировал — лак давно стерся. В зеркало ничего не видно, а когда-то я брился перед ним в Оймяконе и все вольняшки завидовали мне. Завидовали до 1953 года, когда в поселок кто-то вольный, кто-то мудрый прислал посылку из зеркал, дешевых зеркал. И эти крошечные копеечные зеркала — круглые и квадратные продавались по ценам, напоминающим цены на электролампы. Но все снимали с книжки деньги и покупали. Зеркала были распроданы в один день, в один час.

Тогда мое самодельное зеркало уже не вызывало зависти моих гостей.

Зеркало со мной. Это — не амулет. Приносит ли это зеркало мне счастье — не знаю. Может быть зеркало привлекает лучи зла, отражает лучи зла, не дает мне раствориться в человеческом потоке — где никто, кроме меня, не знает Колымы и не знает инженера Кипреева.

Кипрееву было все равно. Какой-то уголовник, почти блатной, рецидивист пограмотней, приглашенный начальником для обучения, блатарь, постигающий тайну рентгенокабинета, включающий и выключающий рычаги, блатарь, что шел по фамилии Рогов, учился у Кипреева делу рентгенотехники.

Тут у начальства были намерения немалые, и меньше всего начальство думало о Рогове, блатаре. Нет, но Рогов поселялся с Кипреевым в рентгенокабинете, стало-быть контролировал, следил, доносил, участвовал в государственной работе, как друг народа. Постоянно информировал, предупреждал всякие беседы, визиты. И если не мешал, то доносил, блюл.

Это была главная цель начальства. А кроме того — Кипреев готовил самому себе смену — из бытовиков.

Как только Рогов научился бы делу — это была профес-

сия на всю жизнь — Кипреева послали бы в берлаг, номерной лагерь для рецидивистов. Все это Кипреев понимал и не собирался противоречить судьбе. Он учил Рогова, не думая о себе.

Удача Кипреева была в том, что Рогов плохо учился. Как всякий бытовик, понимающий главное — что начальство не забудет бытовиков ни при каких обстоятельствах, Рогов учился невнимательно. Но пришел час. Рогов сказал, что он может работать и Кипреева отправили в номерной лагерь. Но в рентгеноагрегате что-то разладилось и через врачей Кипреева снова прислали в больницу. Рентгенокабинет заработал.

К этому времени относится опыт Кипреева с блендой. Словарь иностранных слов 1964 года так объясняет слово «бленда»: диафрагма (заслонка с произвольно изменяемым отверстием), применяемая в фотографии, микроскопии и рентгеноскопии. Двадцать лет назад в словаре иностранных слов «бленды» не было. Это новинка военного времени — попутное изобретение, связанное с электронным микроскопом.

В руки Кипреева попала оборванная страница технического журнала и «бленда» была применена в рентгенокабинете в больнице для заключенных на «Левом берегу» Колымы.

«Бленда» была гордостью инженера Кипреева — его надеждой, слабой надеждой, впрочем. О «бленде» было доложено на врачебной конференции, послан доклад в Магадан, в Москву. Никакого ответа.

А зеркало ты можешь сделать?

Конечно.

Большое. Вроде трюмо?

Любое. Было бы серебро.

А ложки серебряные?

Годятся.

Толстое стекло для столов в кабинетах начальников было выписано со склада и перевезено в рентгенокабинет. Первый опыт был неудачен и Кипреев в бешенстве расколол молотком зеркало. Один из этих осколков — мое зеркало, кипреевский подарок. Второй раз все прошло удачно и начальство получило из рук Кипреева свою мечту — «трюмо».

Начальник даже и не думал чем-нибудь отблагодарить

Кипреева. К чему? Грамотный раб и так должен быть благодарен, что его держат в больнице на койке. Если бы «бленда» удостоилась внимания начальства, получена была бы благодарность — не больше. Вот трюмо — это реальность, а «бленда» — миф, туман.... Кипреев был вполне согласен с начальником.

Но по ночам, засыпая на топчане в углу рентгенокабинета, дождавшись ухода очередной бабы от своего помощника, ученика и осведомителя, Кипреев не хотел верить ни Колыме, ни самому себе. Ведь «бленда» же не шутка. Это технический подвиг. Нет, ни Москве, ни Магадану не было дела до «бленды» инженера Кипреева.

В лагере не отвечают на письма и напоминать не любят. Приходится только ждать случая или какой-то важной встречи. Все это трепало нервы.

Надежда для арестанта — всегда кандалы. Надежда всегда несвобода. Человек, надеящийся на что-то, меняет свое поведение, чаще кривит душой, чем человек без надежды. Пока инженер ждал решения об этой проклятой «бленде», он прикусил язык, пропускал мимо ушей все шуточки нужные и не нужные, которыми развлекалось его ближайшее начальство, не говоря уж о помощнике, который ждал дня и часа своего, когда он будет хзяином. Рогов и зеркала уж научился делать — прибыль, «навар» обеспечен.

О «бленде» знали все. Шутили над Кипреевым все — в том числе секретарь парторганизации больницы аптекарь Кругляк. Мордастый аптекарь был неплохой парень, но горяч, а главное — его учили, что заключенный это червь. А этот Кипреев... Аптекарь приехал в больницу недавно, об истории восстановления электрических лампочек никогда не слышал. Никогда не подумал о том, чего стоило собрать рентгеновский кабинет в глубокой тайге на Дальнем Севере.

«Бленда» казалась Кругляку ловкой выдумкой Кипреева, желанием «раскинуть темноту», «зарядить туфту» — этим-то словом аптекарь уже научился.

В процедурной хирургического отделения Кругляк обругал Кипреева. Инженер схватил табуретку и замахнулся на се-

кретаря парторганизации. Тут же табуретку у Кипреева вырвали и увели в палату.

Кипрееву грозил расстрел. Или отправка на штрафной прииск, в «спецзону», что хуже расстрела. У Кипреева в больнице было много друзей и не по зеркалам только. История с электролампочками была хорошо известна, свежа. Ему помогали. Но тут — пятьдесят восемь и пункт восемь — террор.

Пошли к начальнику больницы. Это сделали женщины-врачи. Начальник больницы Винокуров не любил Кругляка. Винокуров ценил инженера, ждал результатов на запрос о «бленде», а главное, был не злой человек. Это был начальник, который не использовал своей власти для зла. Самоснабженец, карьерист Винокуров не делал людям добра, но и зла никому не хотел.

— Хорошо, я не передам материал уполномоченному для начала дела против Кипреева только в одном случае, — сказал Винокуров. — Если не будет рапорта Кругляка, самого пострадавшего. Если будет рапорт — дело начнется. Штрафной прииск это минимум.

— Спасибо.

С Кругляком говорили мужчины, говорили его друзья.

— Неужели ты не понимаешь, что человека расстреляют. Ведь он бесправен. Это не я и не ты.

— Но он руку поднял...

— Руку он не поднял, этого никто не видал. А вот если бы я ругался с тобой, то по второму слову дал бы тебе по роже — потому что ты во все лезешь, ко всем цепляешься.

Кругляк, добрый малый по существу, совсем непригодный для колымских начальников, — сдался на уговоры. Кругляк не подал рапорта.

Кипреев остался в больнице. Прошел еще месяц и в больницу приехал генерал-майор Деревянко, заместитель директора Дальстроя по лагерю — самый высший начальник для заключенных.

В больнице начальство любило останавливаться. Там было, где остановиться большому северному начальству, было, где выпить и закусить, было, где отдохнуть.

Генерал-майор, Деревянко, облачившись в белый халат, ходил из отделения в отделение, разминаясь перед обедом. Настроение генерал-майора было радужным и Винокуров решил рискнуть.

— Вот у меня есть заключенный, сделавший важную для государства работу.

— Что за работа?

Начальник больницы кое-как объяснил генерал-майору, что такое «бленда».

— Я хочу на досрочное представить этого заключенного.

Генерал-майор поинтересовался анкетными данными и получив ответ, помычал:

— Вот что я тебе скажу, начальник, — сказал генерал-майор, — там бленда блендой, а ты лучше отправь этого инженера... Корнеева...

— Кипреева, товарищ начальник.

— Вот-вот, Кипреева. Отправь его туда, где ему положено быть по анкетным данным.

— Слушаюсь, товарищ начальник.

Через неделю Кипреева отправили, а еще через неделю опять разладился рентген и Кипреева опять вызвали в больницу.

Теперь уже было не до шуток — Винокуров боялся, чтоб гнев генерал-майора не вылился на него. Начальник управления не поверит, что рентген разладился. Кипреев был назначен в этап, но заболел и остался.

Теперь не могло быть и речи о работе в рентгенкабинете. Кипреев это понял хорошо.

У Кипреева был мастоидит — простуженная голова на лагерьной приисковой койке. Но никто не хотел верить ни температуре, ни докладам врачей. Винокуров бушевал, требуя скорейшей операции.

Лучшие хирурги больницы собирались делать Кипрееву операцию. Хирург Браудэ был чуть ли не специалист по мастоидитам. На Колыме простуд больше, чем надо, и Браудэ был очень опытен, сделал сотни таких операций. Но Браудэ должен был только ассистировать. Операцию должна была де-

лась доктор Новикова, крупный специалист, ученица Волчека, много лет проработавшего в Дальстрое. Новикова никогда не была в заключении, но уже много лет работала только на северных окраинах. И не потому, что длинный рубль. А потому, что на Дальнем Севере Новиковой многое прощалось. Новикова была алкоголичка, запойная. После смерти мужа талантливая ушница, красавица, скиталась годами по Дальнему Северу. Начинала блестяще, а потом срывалась на долгие недели.

Новиковой было лет пятьдесят. Хирурга выше ее не было по квалификации. Сейчас ушница была в запое, запой кончался и начальник больницы разрешил задержать Кипреева на несколько дней.

В эти несколько дней Новикова поднялась. Руки у нее перестали трястись и ушница блестяще сделала операцию Кипрееву — прощальный, вполне медицинский подарок своему рентгенотехнику. Ассистировал ей Брауде и Кипреев лег в больницу.

Кипреев понял, что надеяться больше не на что, в больнице он больше оставлен не будет ни на один лишний час. Ждал его номерной лагерь, где на работу ходили строем по пять, локти в локти, где по тридцать собак окружали колонну людей, когда их гнали.

В этой последней безнадежности Кипреев не изменил себе. Когда заведующий отделением выписал больному с операцией мастоидита, серьезной операцией, заключенному-инженеру — спецзаказ, то-есть диетическое питание, улучшенное питание, Кипреев отказался, заявив, что в отделении на триста человек есть больные тяжелее его, с бóльшим правом на «спецзаказ».

И Кипреева увезли.

Пятнадцать лет я искал инженера Кипреева. Посвятил его памяти пьесу — это решительное средство для вмешательства человека в загробный мир.

Мало было написать о Кипрееве пьесу, посвятить его памяти. Надо было еще, чтоб на центральной улице Москвы в

коммунальной квартире, где живет моя давняя знакомая — сменилась ее соседка. По объявлению, по обмену.

Новая соседка, знакомясь с жильцами вошла и увидела пьесу, посвященную Кипрееву, на столе; повертела пьесу в руках. «Совпадают буквы инициалов с моим знакомым. Только он не на Колыме, а совсем в другом месте». Моя знакомая позвонила мне. Я отказался продолжать разговор. Сказал, что это — ошибка. К тому же по пьесе герой — врач, а Кипреев — инженер-физик.

— Вот именно, инженер-физик.

Я оделся и поехал к новой жилище коммунальной квартиры.

Очень хитрые узоры плетет судьба. А почему? Почему понадобилось столько совпадений, чтобы воля судьбы сказала так убедительно. Мы мало ищем друг друга и судьба часто берет наши жизни в свои руки.

Инженер Кипреев остался в живых и живет на Севере. Освободился еще десять лет назад. Был увезен в Москву и работал в закрытых лагерях. После освобождения вернулся на Север. Хочет работать на Севере до пенсии.

Я повидался с инженером Кипреевым.

— Ученым я уже не буду. Рядовой инженер — так. Вернуться бесправным, отставшим — все мои сослуживцы, соскурники — давно лауреаты.

— Что за чушь?...

— Нет, не чушь. Мне легче дышится на Севере. До пенсии будет легче дышаться...

ХЛЕБ

Это был чужой хлеб, хлеб моего товарища. Товарищ верил только мне, он ушел работать в дневную смену, а хлеб остался у меня в маленьком русском деревянном баульчике. Сейчас таких баульчиков не делают, а в двадцатых годах москвички щеголяли ими — такими спортивными чемоданчиками «крокодиловой» кожи из термантина. В баульчике был хлеб, пайка хлеба. Если встряхнуть коробку, хлеб перевалится внутри ее. Баул лежал у меня под головой. Я долго не спал. Голодный

человек плохо спит. Но я не спал именно потому, что в головах у меня был хлеб, чужой хлеб, хлеб моего товарища. Я сел на койке... Мне казалось, что все смотрят на меня, что все знают, что я собираюсь сделать. Но дневальный у окна ставил заплату на что-то. Другой человек, чьей фамилии я не знал, тоже, как и я, работал в ночной смене и лежал сейчас на чужом месте в середине барака, ногами к теплой железной печке. Ко мне это тепло не доходило. Человек этот лежал на спине, вверх лицом. Я подошел к нему — глаза его были закрыты. Я взглянул на верхние нары — там в углу барака кто-то спал, укрывшись ворохом тряпья. Я снова лег на свое место, решив твердо заснуть. Я досчитал до тысячи и снова встал. Я открыл баул и вынул хлеб. Это была пайка «трехсотка», холодная, как кусок дерева. Я поднес ее к носу и ноздри уловили чуть заметный запах хлеба. Я положил кусок обратно в баул и снова его вынул. Я перевернул коробку и высыпал на ладонь несколько хлебных крошек. Я слизнул их языком, сейчас же рот наполнился слюной и крошки растаяли. Я больше не колебался. Я отщипнул три маленьких кусочка хлеба, с ноготь мизинца, положил хлеб в баул и лег. Я отщипывал и сосал крошки хлеба. И я заснул, гордый тем, что не украл хлеба.

ЛИТУРГИЯ

Две белки небесного цвета, черномордые, чернохвостые, увлеченно вглядывались в то, что творилось за серебряными лиственницами. Я подошел к дереву, на ветвях которого они сидели, почти вплотную, и только тогда белки заметили меня. Беличьи когти зашуршали по коре дерева, синие тела зверьков метнулись вверх и где-то высоко-высоко затихли. Крошки коры перестали сыпаться на снег. Я увидел то, что разглядывали белки.

На лесной полянке молился человек. Матерчатая шапка-ушанка комочком лежала у его ног, иней успел уже выбелить стриженую голову. На лице его было выражение удивительное — то самое, что бывает на лицах людей, вспоминающих детство или что-то дорогое. Человек крестился размашисто и бы-

стро, тремя сложенными пальцами руки он будто тянул вниз свою собственную голову. Я не сразу узнал его — так много нового было в чертах его лица. Это был заключенный Замятин — священник из одного барака со мной.

Все еще не видя меня, он выговаривал негромко и торжественно немеющими от холода губами привычные, запомненные мной с детства слова. Это были славянские слова литургийной службы — Замятин служил обедню в серебряном лесу.

Он медленно перекрестился, выпрямился — и увидел меня. Торжественность и умиленность исчезли с его лица, и привычные складки на переносице сблизили брови. Замятин не любил насмешек. Он поднял шапку, встряхнул и надел ее.

— Вы служите литургию?

— Нет, нет, — сказал Замятин, улыбаясь моей невежественности. — Как я могу служить обедню? У меня ведь нет ни даров, ни епитрахили. Это — казенное полотенце.

И он поправил грязную «вафельную» тряпку, висевшую у него на шее и в самом деле напоминавшую епитрахиль. Мороз покрыл полотенце снежным хрусталем, хрусталь сверкал на солнце, как расшитая церковная ткань.

— А кроме того, мне стыдно — я не знаю, где восток. Солнце сейчас встает на два часа и заходит за ту же гору, из-за которой выходило. Где же восток?

— Разве это так важно — восток?

— Нет, конечно, не уходите. Говорю же вам, что я не служу и не могу служить. Я просто повторяю, вспоминаю воскресную службу. И я не знаю, воскресенье ли сегодня?

— Четверг, — сказал я. — Надзиратель утром говорил.

— Вот видите, четверг. Нет, нет, я не служу. Мне просто легче так. И меньше есть хочется, — улыбнулся Замятин.

Я знаю, что у каждого человека здесь было свое **самое последнее**, самое важное — то, что помогало жить, цепляться за жизнь, которую так настойчиво у нас отнимали. Если у Замятина этим последним была литургия Иоанна Златоуста, то моим спасительным «последним» были стихи — чужие любимые стихи, которые удивительным образом помнились там, где все остальное было забыто, выброшено, изгнано из памяти.

Единственное, что еще не было подавлено усталостью, морозом, голодом и бесконечными унижениями.

Солнце зашло. Стремительная мгла зимнего раннего вечера уже заполняла пространство между деревьями. Я побрел в барак, где мы жили — низенькую продолговатую избушку с маленькими окнами, похожую на крошечную конюшню. Ухватясь обеими руками за тяжелую, обледенелую дверь, я услышал шорох в соседней избушке. Там была «инструменталка» — кладовая, где хранился инструмент — пилы, лопаты, топоры, ломы, кайла горнорабочих. По выходным дням «инструменталка» была на замке, но сейчас замка не было. Я шагнул через порог «инструменталки», и тяжелая дверь чуть не прихлопнула меня. Щелей в кладовой было столько, что глаза быстро привыкли к полумраку.

Два блатаря щекотали большого щенка-овчарку месяцев четырех. Щенок лежал на спине, повизгивая и болтал всеми четырьмя лапами. Блатарь постарше придерживал щенка за ошейник. Мой приход не смутил блатарей — мы были из одной бригады.

Эй, ты, на улице кто есть ?

Никого нету, — ответил я.

Ну, давай, — сказал блатарь постарше.

Подожди, дай я поиграюсь еще маленько, — ответил молодой.

— Ишь, как бьется. — Он ощупал теплый щенячий бок близ сердца и пощекотал щенка.

Щенок радостно взвизгнул и лизнул человеческую руку.

— А, ты лизаться... Так не будешь лизаться. Сеня...

Семен левой рукой, удерживая щенка за ошейник, правой вытащил из-за спины топор и быстрым коротким взмахом опустил его на голову собаки. Щенок рванулся, кровь брызнула на ледяной пол.

— Держи его крепче, — закричал Сеня, поднимая топор вторично.

Чего держать, не петух, — сказал молодой.

Шкуру-то сними пока теплая, — учил Семен. — И зайрой ее в снег.

Вечером запах мясного супа не давал никому в бараке спать, пока все не было съедено блатарями. Но блатарей у нас было мало в бараке. В котелке еще оставалось мясо.

Семен пальцем поманил меня.

Забери.

— Не хочу, — сказал я.

— Ну, тогда, — Семен обвел нары глазами. — Тогда попу отдадим. — Эй, батя, вот прими от нас баранинки. Только котелок вымой...

Замятин вышел из темноты на желтый свет коптилки-бензинки, взял котелок и исчез. Через пять минут он вернулся с вымытым котелком.

— Уже? — спросил Сеня с интересом. — Быстро ты глотаешь... Как чайка. Это, батя, не баранинка, а псина была. Собачка тут к тебе ходила — «Норд» называется.

Замятин молча глядел на Семена. Потом повернулся и вышел. Вслед за ним вышел и я. Замятин стоял за дверями на снегу. Его рвало. Лицо его в лунном свете казалось свинцовым. Липкая слюна свисала с губ. Он вытерся рукавом и сердито посмотрел на меня.

В. Шаламов

Лилась виолончель, как милость или чудо,
Но отравили звук усталость и простуда.

Я Пушкина читал, но голова болела,
И сладость нежная не победила тела.

Был океан, закат, но... ныла поясница,
И не могла душа сияньем насладиться.

О, тело смертное. Но больше не прикажет
Мне ничего оно в наджизненном пейзаже,

Где слухом неземным и зрением нездешним
Я буду жизнь ловить... в молчании кромешном.

2

Скоро сгорит печаль.
Ветер альпийский развеет
пепел печали.

Может случиться,
тогда ты захочешь
написать прекрасное слово печаль
на светлом летнем песке,
на крыле стрекозы,
на смутном течении речки,
по тонкому краю заката,
на безмолвии ночи,
на невидимом Млечном Пути.

3

Он Иванов, Петров или Семенов.
В туманный вечер он бежит в аптеку.
Но кто он? Общежитие молекул,
Колония протонов и нейтронов.

Он темная компания энергий,
Сообщество бесплотных волн и вихрей.
Но он следил, как облака померкли,
Как липы зашумели и затихли.

Он из воды, каких-то минеральных
Солей. Он местожительство микробов.
И он идет, задумчивый, печальный,
Почти эфирный, о, почти астральный,
Бессмертный дух... С таблеткой от озноба.

4

Может быть, оба мы будем в аду.
Чертик, зеленый, как какаду,
Скажет: “Вы курите? Кукареку.
А где ваши куррикулум вите? Угу.
Садитесь оба на сковороду.
Не беспокоит? Кра-кра, ку-ку”.

Жариться жарко в жиру и в жару.
Чертик-кузнечик, черт-кенгуру,
Не смейте прыгать на сковороду.
Мы хотим одни играть в чехарду.
“Ква-ква, кви про кво, киш-миш, в дыру”.

Кикиморы, шисиморы, бросьте смешки,
Шшш! Не шуршите вы про наши грешки.
В шипящем котле сидит Кикапу,
А мы — мы обманем эту толпу,
Этих чертей, зверей, упырей,
Мы полетим над синью морей,
Мы будем вдвоем играть в снежки —

О, снег для твоей обгорелой руки!

Игорь Чиннов

ЭВЕЛИНА И ЕЕ ДРУЗЬЯ*

Я провел день, как обычно, — был на море, купался, потом обедал, после обеда читал у себя в комнате. В пять часов дня явился Мервиль, приехавший ко мне с аэродрома. На нем лица не было.

Ты не заезжал на виллу? — спросил я.

Нет, я прямо приехал к тебе.

Хорошо сделал.

Почему?

Потому что за твоей виллой следят.

Следят? Что с тобой?

Садись и слушай, — сказал я. И я подробно рассказал ему обо всем, начиная с того, как я слышал разговор г-жи Сильвестр с американским туристом и кончая тем, что было утром.

— Я должен установить, — сказал я, — что г-жа Сильвестр, — будем ее называть так, хотя ты знаешь теперь, что это не ее настоящая фамилия, — повидимому, с самого начала почувствовала мое недоверие к ней, — именно почувствовала, а не поняла. В этом случае интуиция ее не обманула.

Ты хочешь сказать, что ты к ней относишься враждебно?

Нет, никакой враждебности у меня не было и нет.

Он внимательно на меня посмотрел.

— Подожди, дай мне подумать, — сказал он, — у меня голова идет кругом. Считаешь ли ты, что на основании некоторых фактов, даже если эти факты действительно были, можно себе составить совершенно правильное представление о ком-либо?

— Далеко не всегда, мне кажется. Это зависит от того, какие факты. Если это донос, шантаж или анонимные письма,

* См. кн. «Н. Ж.» 92, 94, 95, 96, 97.

тогда ты знаешь, что имеешь дело с мерзавцем. Но в других случаях... Вот тебе два примера, два человека. Один из них был вор, другой убийца. Не смотри на меня с таким удивлением. Первый находился одно время в крайне бедственном положении, ему нечего было есть. У него была жена и двухлетняя девочка — и он воровал для них картошку в продовольственных магазинах до тех пор, пока не получил наконец работу. Второй был мой товарищ, которого я знал всю жизнь. Во время гражданской войны в России, его отряд — он был в кавалерии — занял небольшое село, где жили главным образом евреи. Он увидел, что один солдат, который вообще был профессиональным бандитом, насиловал еврейскую девочку лет десяти-двенадцати. У нее было посиневшее лицо и она даже не могла кричать. Мой товарищ слез с лошади и из револьвера убил этого солдата. Потом он оттолкнул ногой его труп, взял девочку на руки и внес ее в ближайший дом. И ты знаешь, что он мне сказал? — Если бы я должен был еще раз это сделать, я бы не колеблясь, убил его, как собаку и это один из поступков, о которых я никогда не жалел. Вот тебе, мой милый, совершенно неопровержимые факты: воровство и убийство. Какой прокурор мог бы осудить этих людей?

— Мне иногда кажется, что ты похож на машину, которая регистрирует события и потом из них получаются какие-то архивы воспоминаний, — сказал Мервиль. — Но вернемся к г-же Сильвестр. Я отказываюсь верить в подозрения американской полиции. Я знаю ее лучше, чем кто-либо другой, я знаю, что она неспособна на убийство. Надо сделать все, чтобы оградить ее от опасности, которая ей угрожает.

— Откуда ты знаешь, на что она способна или неспособна? — сказал я, — как ты можешь об этом судить? Ты мог подумать, что она американка?

— Нет, но это неважно.

— Я не говорю, что это имеет какое-нибудь значение, я только говорю, что ты не можешь судить о некоторых вещах. Я знаю о ней немного, но то, что я знаю, позволяет все-таки сделать известные выводы.

— Ах, опять твои выводы!

— Но, милый мой, согласишься, что если ты хочешь что-либо понять, то выводы необходимы.

— Самое смешное, это то, что если я найду г-жу Сильвестр и попрошу тебя помочь ее спрятать, то я уверен, что ты это сделаешь, несмотря на всю твою логику.

— Одно другого не исключает, — сказал я. — Она производит впечатление очень холодной и сдержанной женщины, несмотря на свой южный тип. Но это впечатление обманчиво, мне кажется — ее поведение во время первой встречи с тобой доказывает, что ни холодности, ни сдержанности в известных обстоятельствах у нее нет. Я не берусь судить о ее нравственном облике. Но что при некоторых условиях или, выражаясь юридически, в состоянии аффекта она способна на крайности, это, я думаю, вполне допустимое предположение.

— Но что это за история в Америке?

— Может быть, тебе дадут более обстоятельные сведения об этом, чем мне, — сказал я, — потому что тебе по всей вероятности предстоит полицейский допрос. Как только ты появишься на вилле, это сразу станет известно и тебе придется иметь дело с тем же мужчиной, который приходил ко мне сегодня утром. Не забывай, что он прекрасно знает, что вилла принадлежит тебе, и что г-жа Сильвестр жила у тебя.

— Это меня совершенно не устраивает, — сказал Мервиль, — я предпочитаю уехать в Париж, где я буду вне досягаемости.

Я думаю, что субъект, который приходил ко мне, вероятно, приехал из Парижа.

— Может быть, но в Париже его легче нейтрализовать.

— В конце концов тебе решительно ничто не угрожает, ты ни в чем не виноват.

— Я хочу быть свободен в своих действиях, ты понимаешь? В Париже я могу это устроить, здесь это сложнее — да и зачем мне оставаться здесь?

Что ты, собственно, собираешься делать?

— Разыскать ее во что бы то ни стало.

Я бы хотел тебе напомнить, что во Франции около сорока пяти миллионов жителей. И кроме того, американской и

французской полиции потребовалось два года усилий, чтобы напасть на след г-жи Сильвестр.

— Ты упускаешь из виду, что от полиции она скрывалась, а от меня скрываться не будет.

— Я знаю, что тебя бесполезно убеждать, — сказал я, — но мне кажется, было бы может быть лучше, чтобы ты забыл о ее существовании. Ты не думаешь, что Лу Дэвидсон может продолжать свой жизненный путь, — выражаясь метафорически, — без тебя? Нью Йорк, этот район — сто двадцатая, сто тридцатая, сто сороковая улицы, ты их помнишь, эти мрачные дома? Эта жизнь, с которой у тебя нет ничего общего — зачем тебе все это? Этот мир тебе совершенно чужд, ее мир, ты понимаешь?

— Во-первых, нельзя бросать людей в беде.

— Но ведь не ты ее бросил, а она тебя.

— Нет, ты прав, ты меня не убедишь. Впрочем, ты сам в этом не уверен.

— Знаю. Ты опять скажешь — лирический мир.

— На этот раз единственный и неповторимый, — сказал Мервиль. — Это мой последний шанс. Лу Дэвидсон или Маргарита Сильвестр, это для меня только фонетические сочетания, больше ничего. Нью Йорк или Ницца — какое это имеет значение? Важно то, что ни одна женщина в мире не может мне дать то, что может дать она, как бы ее ни звали. Я никогда не знал этого ощущения, — блаженного растворения, чем то напоминающего сладостную смерть, — и потом неудержимого возвращения к жизни. И ты хочешь, чтобы я обо всем этом забыл?

Он встал с кресла и подошел близко ко мне.

— Даже если она убийца, ты понимаешь? Но я в это не верю, я не могу верить, я не должен верить, этого не было и не могло быть, а если это было, то этого все равно не было, понимаешь?

— Черт его знает, может быть, ты и прав, — сказал я.

Мервиль уехал в Париж в тот же вечер, не зайдя в свою

виллу. На следующий день утром я проснулся и подумал, что следовало бы теперь забыть о том, что происходило со времени приезда Мервиля и г-жи Сильвестр и вновь погрузиться в ту жизнь, которую я вел до этого. Но мои размышления прервал телефонный звонок. Неизвестный мужской голос спросил по-английски, я ли такой-то. После моего утвердительного ответа голос сказал:

— Мне необходимо вас видеть. Приходите, пожалуйста, — он назвал одну из больших гостиниц в Каннах, — комната номер четыреста двенадцать, я буду вас ждать.

— Простите, пожалуйста, — сказал я, — кто вы такой и в чем дело?

— Я действую по поручению американских судебных властей, — сказал он, — и мне нужны ваши показания. Я вас жду сегодня утром, в одиннадцать часов. У меня рассчитано время, я уезжаю сегодня вечером, так что отложить это я не могу.

— Я очень об этом жалею, — сказал я, — но сегодня утром у меня нет времени и это свидание совершенно не входит в мои планы. Если вы непременно хотите меня видеть, то приезжайте сюда — я дал ему мой адрес — часов в пять вечера.

— Нет, это невозможно, сказал он, — я не могу ждать до этого времени, я вам уже сказал, что я должен уезжать сегодня вечером.

Тогда мне остается пожелать вам приятного путешествия.

Но мне необходимы ваши показания, вы должны приехать.

Я решительно ничего не должен, — сказал я с раздражением, — у меня нет никаких обязательств по отношению к американским судебным властям. Если вас не устраивает то, что я вам предлагаю, то я помочь вам не могу. Если вы не можете приехать сюда в пять часов, то желаю вам всего хорошего.

— Я приеду, — сказал он после короткого молчания.

В пять часов вечера он явился. Это был высокий человек редкого атлетического совершенства, с открытым лицом, ясными глазами и точными движениями. То, что его отличало от других людей, это были его уши, очень большие, с необыкновенным

количеством извилин внутри, что было похоже на какие-то своеобразные кружева из человеческой кожи. Он принес с собой портативную пишущую машинку и портфель. Я предложил ему сесть. Он начал с того, что показал мне свое удостоверение личности, где были обозначены его профессия, адрес и фамилия — Колтон. Потом он вынул из портфеля фотографию и протянул ее мне — совершенно так же, как это сделал накануне его французский коллега и фотография была та же самая: г-жа Сильвестр в купальном костюме рядом со своим тогдашним спутником.

— Я так и думал, — сказал я. — Я уже видел эту фотографию.

— Под какой фамилией вы знаете эту женщину?

— Вы хотите сказать — эту даму?

— Она не дама, она женщина, — сказал он. — Но это неважно. Какую фамилию она носила, когда вы ее встречали?

Маргарита Сильвестр.

— Вы не знаете ее другого имени?

— У вашего французского коллеги вчера со мной был такой же разговор и он мне сказал, что ее зовут Луиза Дэвидсон.

— Совершенно верно. Но вы этого не знали?

— Нет, я считал ее француженкой.

— Вы не знаете, где она находится в данный момент?

Понятия не имею.

Когда вы видели ее в последний раз?

Несколько дней тому назад.

Она вам не говорила, что собирается уезжать?

Нет.

Что она вам говорила о себе?

Решительно ничего. Я ее, впрочем, ни о чем не спрашивал.

Какое отношение она имеет к Мервилю?

Об этом надо спросить его, а не меня.

Но вы это должны знать.

Это меня не касается.

У вас есть какие-нибудь коммерческие дела с Мервилем? Вы зависите от него материально?

У меня нет никаких коммерческих дел ни с Мервилем, ни с кем бы то ни было другим, я никогда не занимался делами и не завишу материально ни от какого коммерсанта.

Каковы источники ваших доходов?

Это не имеет отношения к предмету нашего разговора.

Вы отказываетесь отвечать на этот вопрос?

Мне это было бы нетрудно сделать, но этот вопрос мне кажется праздным. Насколько я понимаю, речь идет не обо мне, а о вашей соотечественнице, Луизе Дэвидсон. Какая связь между ней и источниками моих доходов? Вы можете мне это объяснить?

— Я хотел бы иметь представление о человеке, который встречался во Франции с Луизой Дэвидсон.

Я ее едва знаю.

Где вы с ней познакомились?

Здесь, на Ривьере, я видел ее два раза.

Вы были уверены, что она действительно француз-женка?

Я вспомнил разговор г-жи Сильвестр с американским туристом. Но я не находил нужным ставить об этом в известность моего собеседника.

— У меня не было оснований в этом сомневаться и вообще задавать себе этот вопрос.

— Я должен констатировать, что вы не очень стремитесь нам помочь.

Помочь в чем?

В том, чтобы найти эту женщину.

Почему я вам должен в этом помогать?

Это ваш долг.

По отношению к кому?

Он с удивлением на меня взглянул и ответил:

— По отношению к обществу.

Я посмотрел на него внимательно. На его лице было выражение непоколебимой уверенности в том, что он действительно выполняет свой долг и что он убежден в совершенной своей непогрешимости. Он существенно отличался в этом от своих французских коллег: те делали свою работу, а он именно вы-

полнял долг. Тот факт, что и он и они действовали одинаковыми методами и задавали приблизительно одинаковые вопросы, — это было второстепенно. Мне казалось очевидным, что никаких сомнений или проблем психологического порядка у этого человека не было.

— Когда вы уезжаете? — спросил я.

— Завтра утром, — сказал он. — Я хотел ехать сегодня вечером, но выяснил, что не успею. Почему вы меня об этом спрашиваете?

— Потому что, если вы свободны сегодня вечером, я приглашаю вас ужинать.

Ужинать? — сказал он с удивлением.

— Если вы ничего не имеете против.

— Я должен признаться, что ваше предложение застало меня врасплох, я этого не ожидал.

— Я думаю, вы теперь выяснили, что я не могу вам дать тех сведений, на которые вы может быть рассчитывали. Но мы можем поговорить о разных вещах за ужином, как вам кажется?

— Да, конечно, — сказал он неуверенным голосом.

— Видите ли, — сказал я, — я надеюсь, что вы относитесь ко мне без враждебности, потому что я не имею никакого отношения к Луизе Дэвидсон, почти ничего о ней не знаю и мне нечего от вас скрывать. Я со своей стороны хотел бы поговорить с вами как человек с человеком, а не как свидетель с представителем американского министерства юстиции. Риска тут нет никакого ни для вас, ни для меня, так же, как выгоды или заинтересованности.

— Я плохо знаю Европу и европейцев, — сказал он, — но они существенно отличаются от нас.

— Может быть меньше, чем вам кажется.

— Нет, нет, здесь все по другому, — сказал он, — по крайней мере, такое у меня впечатление.

— Вы в Европе первый раз?

— Два года тому назад я был в Англии. Но во Франции я никогда не был. Мне кажется, что я попал в другой мир. Здесь все идет в замедленном темпе, никто никуда не спешит и не

боится опоздать и живет так, как будто мир неподвижен. Я был в Ницце, пришел в контору моего французского коллеги в три часа дня. Во всем здании было пусто. Знаете, когда он вернулся? В половине пятого. И пригласил меня в кафэ, где мы с ним разговаривали. Я должен сказать, что у него был рассеянный вид и Луиза Дэвидсон его не очень интересовала, хотя он знал о ней все, что ему полагалось знать. Может быть, кстати, — сказал он, взглянув на меня, — вам тоже было бы интересно иметь представление о том, кто такая в действительности женщина, которую вы знали как Маргариту Сильвестр?

— Мне сказали, что она родилась в Нью Йорке, на сто двадцать третьей улице и что она принадлежит в сущности к уголовному миру.

Вы были в Нью Йорке, вы помните эту улицу?

Я помню этот район, да.

Она родилась двадцать семь лет тому назад, ее отец был владельцем магазина готового платья. Ее мать, француженка, до замужества была артисткой мюзик холла. Женщина она была очень способная и неглупая, но отличалась исключительным темпераментом, и это вызывало постоянные драмы в семье. Выбор ее друзей, чаще всего кратковременных, носил случайный характер, и в числе их были такие, которых следовало бы избегать. Дочь свою она любила, пока та была маленькой, позже она перестала о ней заботиться. Это она научила Луизу говорить по-французски. Луиза была в школе, как все. Но она, повидимому, унаследовала от матери некоторые ее особенности — и в пятнадцать лет исчезла из дому. Ее нашли в Калифорнии через полгода, она жила с человеком, которому было тридцать шесть лет, и у которого было тяжелое уголовное прошлое. Когда к нему явилась полиция, он думал, повидимому, что это было по другому делу, он оказал полицейским вооруженное сопротивление и случайным выстрелом был убит. Все это произошло на глазах Лу. Как видите, начало ее карьеры было многообещающим. Ее вернули домой. Но там ее приняли плохо, отец сказал, что он знает ее не хочет, мать ее не защищала, — к тому же тогда она уже сильно пила и часто бывала

просто невменяемой. Через месяц Лу опять ушла из дому — и на этот раз ее даже не разыскивали. И вот начались ее странствия. Она была всюду — в Сан Франциско, в Чикаго, в Детройте, Вашингтоне, во Флориде, где хотите. Мы не знаем, где и когда она изучила стенографию, но она прекрасная секретарша и все, у кого она работала, отзывались о ней очень хорошо. Но она нигде долго не оставалась. Она была в связи с разными субъектами и уголовный мир, это тот мир, который она лучше всего знает. Надо еще сказать, что одно время она работала в цирке. Она отличается исключительной физической силой, и очень хорошо знает современные приемы борьбы и защиты. Однажды случилось так, что один из ее малопочтенных знакомых пытался заставить ее делать то, чего она не хотела. Это был очень крупный, крепкий человек, крайне жестокий вдобавок и он начал с того, что дал ей пощечину. Знаете, чем это кончилось? У него были сломаны руки и плечо, а его лицо было похоже на кровавую массу. Он провел в госпитале три месяца и вышел оттуда слепым инвалидом. Лу очень опасная женщина, это знают все, кому пришлось с ней близко познакомиться. Об этом, однако, не думал Боб Миллер, тот самый, который снят рядом с ней на фотографии. Это было то, чего он не принял во внимание и это стоило ему жизни. Потому что, — что такое огнестрельное оружие и как с ним обращаться, это Лу тоже хорошо знает. Вы понимаете теперь почему ее разыскивает американская полиция? Мы не всё знаем о ней. Кроме того, она слишком умна, гораздо умнее большинства тех, с кем она имела дело и в ее прошлом нет ни одного судебного преследования. Единственное обвинение, которое может быть ей можно будет предъявить, это убийство Боба.

— Насколько я понял, оно основано на показаниях уголовного преступника, которому трудно верить. Вы считаете, что факт этого убийства установлен и что именно она убила Боба?

— Нет, мы хотим допросить ее в качестве свидетельницы. Но мы уверены, что в результате этого ей было бы предъявлено формальное обвинение. Она это прекрасно знает и именно этим объясняется ее исчезновение. Во всяком случае скажите Мер-

вилю — он ведь ваш друг — кто такая Маргарита Сильвестр. Это действительно ваш долг.

Хорошо, — сказал я, — я это сделаю.

Но помните, что это опасно.

Этого я не думаю, — сказал я.

Мы ужинали с ним на террасе ресторана, выходявшей в море. Нам подали прекрасно приготовленную рыбу и местное вино, за кассой ресторана сидела рыжая красавица с ослепительной улыбкой и теплыми черными глазами. Где был теперь Мервиль? Где была г-жа Сильвестр? И что было самым главным в ней? Г-жа Сильвестр с ее несравненным очарованием, о котором с таким волнением говорил Мервиль или Лу Дэвидсон, подзревавшаяся в убийстве одного из своих любовников в Америке? И что было для нее более характерно? Ривьера и французский язык или Нью Йорк и американский слэнг?

— Вы не думаете, — сказал я моему собеседнику, — что есть люди, у которых только одна жизнь и одно лицо, и есть другие, у которых может быть две или три жизни?

— То, что вы задаете такой вопрос, меня не удивляет, — сказал он. — Мой французский коллега сообщил мне, что вы занимаетесь литературой.

— Какая связь между этим вопросом и моей профессией?

— Самая непосредственная. Ваша профессия предрасполагает вас к тому, чтобы представлять себе вещи сложнее, чем они есть.

— Вы считаете, что все это проще ?

— Нет, — сказал он, — но эта сложность нередко бывает чисто внешней. Даже если допустить, что у человека может быть две или три жизни, то только одна из них настоящая, это та, которая характеризуется его нравственным обликом. Убийца может быть банкиром, бандитом, портным — кем угодно. Но самое главное, это то, что он убийца. Все остальное неважно или, если хотите, менее важно.

С точки зрения интересов общества?

— С любой точки зрения.

Можно вас спросить, — сказал я, — что вас заставило выбрать именно тот вид деятельности, которым вы занимаетесь?

— Я родился и вырос в одном из самых бедных районов Нью Йорка, — сказал он, — и я с детства знал, что такое уголовный мир. Когда мне было двадцать лет, я стал проповедником. Но я убедился в том, что проповедь действует главным образом на людей, которые и без того верят в Бога. Есть другие, которые слишком испорчены, чтобы их можно было в чем либо убедить. Таких людей следует нейтрализовать — во что бы то ни стало. Напоминание о заповедях блаженства их изменить не может.

— Таким образом, вы не видите противоречия между началом вашей деятельности и тем, что произошло потом? Другими словами, вы продолжаете то же самое, но иным способом?

— Нет, это конечно не совсем точно, но в общем действительно противоречия здесь нет. Вам кажется, что это не так?

— Есть слова, которые тотчас же вспоминаются в этом случае, — сказал я. — Они поставлены как эпитафия к одному из самых замечательных романов нашей литературы. Господь говорит: «Мне отмщение и Аз воздам».

— Ваш довод на первый взгляд может показаться убедительным. Вы, однако, согласитесь со мной, если я скажу, что с вашей стороны это просто диалектический прием. Господь говорит, что Он воздаст. Но здесь вопрос идет о вечности и о последнем, страшном суде. А на земле мы выполняем волю Божью, то-есть, делаем все, чтобы человечеству не мешали жить по тем нравственным законам, которые дала нам религия и вне которых спасения нет.

— Я бы вам не возражал, если бы вы говорили о необходимости оградить нас от действий тех, кто нарушает законы и о том, что соблюдение этих законов нужно для сохранения общества в том виде, в каком оно существует — довольно неприглядном, тут, я надеюсь, вы не будете спорить. Но при чем здесь религия, в частности, христианство? Если в данном случае вы ссылаетесь на христианство, то это значит, что вы сводите его до пределов полицейской системы. Смысл христи-

анства, это всепрощение. Вспомните еще раз разбойника, распятого вместе с Христом и то, что Он обещал ему Царство Небесное.

— Он искупил свою вину, умирая на кресте, — сказал он, — и как вы хотите, чтобы Спаситель решил еще раз наказать его?

— Спаситель простил его потому, что он покался, — сказал я. — Христос понимал неизбежность несовершенства человеческого общества, оно не может быть другим. «Блаженны плачущие, яко тии утешатся» — в идеальном человеческом обществе, где все идет по предписанным свыше законам — как вы это считаете — плачущих не должно быть, во всяком случае целой категории людей, которых Господь определяет этим словом. «Блаженны нищие духом, яко тих есть Царство Небесное» — еще одна категория несчастных. В представлении христианства земное существование — это тягостное ожидание того дня, когда мы перейдем в другой мир, мир вечный, а не временный. Вот к чему нас зовет христианская религия. Государственное принуждение во всех его видах, это идея антихристианская. Где вы видели служителя церкви, преследующего преступника? Кто может себе представить епископа в составе суда, который приговаривает нарушителя нравственного закона к смерти?

Уши моего собеседника покраснели — это был единственный признак его волнения.

— Я напомним вам один из вечных вопросов, — сказал я. — Почему Господь допускает то, что происходит в мире — преступления, убийства, войны? Почему? Потому, что пути Господни неисповедимы и нашим слабым человеческим разумом мы не можем постигнуть Его божественной мудрости? Но если это так, то мы и остального понять не можем и, впрочем, Господь может быть не требует от нас понимания, зная, что оно нам не по силам? Я готов принять всякое объяснение христианства, я только продолжаю думать, что ни в каком случае оно несовместимо с уголовным преследованием.

— Я не могу себе, однако, представить, — это было бы чудовишно, — что всякое преступление может быть ненака-

зуемо потому, что христианство проповедует всепрощение. Не допускаю, что вы это думаете.

— Нет, я очень далек от этой мысли. Я несогласен только с одним: со ссылкой на этику, которой учил Христос. Пресекайте преступления, делайте все, что для этого нужно, но не говорите при этом о религии.

— Как можно было бы прекрасно жить, — сказал он, не отвечая мне, — если бы человечество состояло только из порядочных людей. Вычеркните из человеческой жизни преступления — какие необыкновенные перспективы открылись бы перед нами.

— У меня очень бедное воображение, — сказал я, — я себе это плохо представляю. Я думаю, однако, что если мы исключим из человеческого существования всякое отрицательное начало, — что на первый взгляд кажется желательным, — то через некоторое время жизнь потеряет интерес. Вы верите в дьявола?

— Конкретно — нет. Метафизически — да, то-есть в дьявола именно как олицетворение этого отрицательного начала мира.

— Но вы знаете, что для торжества христианства дьявол необходим, тот самый дьявол, который искушал Спасителя. «Отойди от Меня, Сатана!» Надо ли еще раз напоминать, что если бы его не было и не было зла, то как бы мы знали, что такое добро? Если бы не было ни страданий, ни преступлений, то не было бы, может быть, ни христианства, ни необходимости религии. Вы все это знаете так же хорошо, как и я, это азбучные истины. Но оттого, что они азбучные, они не перестают быть истинами.

— Есть еще один вопрос, — сказал он, — который я ставил себе много раз: почему жизнь так нелепа? Вам он наверное покажется по-американски наивным.

— Нет, я думаю, что это вопрос не американский и не наивный. Я полагаю, что очень немногие люди могут с уверенностью считать, что они созданы для той жизни, которую они ведут и это чаще всего люди неумные. Возьмите большинство профессий, — они носят явно искусственный характер и мне

приходит в голову такая мысль: думал ли Господь Бог, создавая мир, что рано или поздно начнут существовать кассиры, агенты страховых обществ, служащие того или иного министерства, администраторы и так далее? Все это вероятно необходимо, но все-таки люди не рождаются контролерами или бухгалтерами. Но вот, каждый человек втиснут в какие-то рамки и он действует в их пределах, независимо от того, нравится ему это или нет. И если он начинает думать об этом, — что, правда, делают далеко не все, — то он конечно понимает то, о чем вы говорите, что жизнь сложилась нелепо.

— Вы считаете, что нет вообще естественных профессий, то-есть в которых есть соответствие человеческой природе?

Есть, я думаю.

— Например?

— Воин, судья, учитель, врач, проститутка, архитектор, поэт, скульптор, художник, музыкант, ученый. Есть вероятно и другие, я говорю только о тех, мысль о которых сразу приходит в голову.

— Вот, мы говорили о христианстве, — сказал он. — Знаете, что меня больше всего поразило в истории, которая связана с христианством? Вы конечно помните это. Когда Атилла со своими войсками подошел к Риму и Рим был лишен возможности защищаться, то из ворот города, направляясь к палатке Атиллы, вышел босой старик, папа Лев Первый. Он разговаривал с Атиллой несколько часов и потом вернулся в Рим. И Атилла отдал своим войскам приказ отступить. Ничто не мешало ему взять город и разграбить его бесчисленные богатства. Что мог сказать Лев Первый этому варвару, предводителю свирепых и диких гуннов? Может быть за плечами Льва Первого стояла тень Христа? Во всяком случае это торжество непобедимого христианства.

— Да, несомненно, — сказал я. — Это мне тоже всегда казалось необъяснимым. Но не забывайте, что Атилла, вопреки обычным представлениям о нем, не был варваром в подлинном смысле слова. Он учился в Риме и в нем Лев Первый нашел вероятно достойного собеседника.

— Но все-таки это тот же Атилла, который сказал, что там, где пройдет его конь, не растет трава.

Это, я думаю, фраза апокрифическая.

Может быть, но это на него похоже.

Я по временам взглядывал на моего собеседника и убеждался, насколько мое первое представление о нем было неправильным. Выражение его глаз изменилось и он перестал быть таким, каким казался мне вначале, — человеком, не знающим сомнения и уверенным в своей юридической и этической непогрешимости. И я подумал, что может быть христианство ему было необходимо, чтобы как то сохранить свое душевное равновесие и оправдать свою жизнь и работу, это было нечто вроде стены, на которую он мог опереться. Но эту работу он вел добросовестно. Я судил об этом потому, что он мне сказал, что с Ривьеры он возвращается в Соединенные Штаты, — в то время, как я был совершенно уверен, что следующий этап его путешествия, это Париж и что следующим его собеседником должен быть Мервиль.

Мы с ним расстались у входа в его гостиницу, куда я его довез на автомобиле. Он поблагодарил меня, сказал, что не забудет этого вечера и нашего разговора, просил меня непременно дать ему знать, если я приеду в Америку, пожал мне руку, толкнул вращающуюся стеклянную дверь гостиницы — и исчез. Я вернулся к себе, разделся, лег в кровать, вспомнил еще раз удивительные узоры ушей моего случайного собеседника и заснул крепким сном.

На следующее утро я проснулся и вдруг почувствовал, — я никогда не мог понять до конца, почему именно, — что Ривьера, Канны, Средиземное море, буйабес, — все это внезапно потеряло для меня ту прелесть, которую я с такой силой ощущал еще накануне. Я позвонил в Париж Мервилю, чтобы сказать ему, что я уезжаю в Италию.

Что у тебя нового? — спросил я.

— Я ее ищу.

— Каким образом? Где?

— Я дал объявление в газетах, французских и американских. Я чувствую, что она должна откликнуться. Остается только ждать этой минуты, ты понимаешь?

Я понимаю, — сказал я, — теоретически конечно. Но я хотел тебя предупредить, что вероятно завтра к тебе явится некий Колтон, из американского министерства юстиции, который был у меня вчера и с которым я ужинал. У него, между прочим, необыкновенные уши, обрати внимание. Он будет тебя расспрашивать.

— Если он надеется...

— Я не думаю, чтобы у него были особенные иллюзии, он человек неглупый, — сказал я. — Но вопросы тебе он будет ставить.

— Что ты ему сказал, когда он с тобой разговаривал?

— Моя задача облегчалась тем, что мне действительно нечего было ему рассказывать. Ты, это дело другое.

— Ты его не предупредил, что не стоит ехать в Париж?

— Нет, потому что он мне сказал, что возвращается в Америку первым аэропланом. Я не очень убежден, что он думал, что я ему поверю, но ставить меня в известность о своих планах он конечно не мог, это понятно. Хотя бы для того, чтобы я тебя не предупредил о неизбежности его визита.

— Если все его расчеты так же правильны, как этот... Значит, ты едешь в Италию? Не забудь мне сообщить твой адрес. Я тебе позвоню и сообщу, что происходит.

Я уложил вещи, расплатился в гостинице, сел в автомобиль и поехал к итальянской границе. Я проехал через Сан Ремо, затем свернул с итальянской Ривьеры к Адриатическому побережью и, переночевав в Генуе, приехал в Венецию. Затем, поставив автомобиль на паром, я пересек лагуну и поселился на Лидо. Опять было море, освещенное солнцем, — лошади на соборе святого Марка, крылатые львы, виллы и дворцы над каналами и опять, в который раз я смотрел на этот единственный в мире город и мне снова казалось, что когда то, в давние времена, он медленно всплыл со дна моря и остановился навсегда в своем последнем движении: застыл каменный бег линий, образовавших его дома, влилось море в берега каналов и возник этот незабываемый пейзаж лагуны, мостов, площадей, колонн и церквей. И без всякого усилия с моей стороны я чувствовал это необычайное артистическое богатство, к которому я ста-

новился как будто причастным, так, точно я давно, всегда знал, на что способен человеческий гений, так, точно часть моей души была вложена в эти картины, статуи, дворцы, так, точно попадая туда, я переставал быть варваром и ощущал наконец все великолепие раз навсегда и безошибочно найденной гармонии, непостижимой для меня ни в каких других обстоятельствах. В это время года, — был конец июня, — туристов в Венеции было еще не так много и вечерами я сидел в кафе на площади Святого Марка, слушая оркестр, игравший иногда самые неожиданные вещи, вплоть до русских романсов в особой, итальянской интерпретации, скрывавшей их неизменную славянскую печаль, растворявшей в итальянском звучании эти снега русских полей и эти зимние российские пейзажи, которые как то не вмещались в южное венецианское пространство — и думал о самых разных вещах, чрезвычайно далеких от моих недавних размышлений по поводу Мервиля и мадам Сильвестр.

Я написал ему короткую открытку, в которой сообщал, что приехал на Лидо и живу в такой то гостинице. Проходили дни за днями, звонка из Парижа не было и через некоторое время я потерял представление о том, где он находился и что он делал. Это меня несколько удивляло, хотя за время моей многолетней дружбы с ним иногда случалось, что я долгие месяцы не знал, что происходит с Мервилем. Но рано или поздно это всегда кончалось одинаково: телефонный звонок или телеграмма, его появление и очередной рассказ о том, что он никогда не думал... что он не понял... что теперь он знает лучше, чем когда-либо... И мне казалось, что каждый раз, когда Мервиль вновь входил в мою квартиру, неизменно печальный, после расставания с той, которая... — он возвращался в мир, где не могло быть ни неожиданностей, ни трагедий, ни сколько-нибудь значительных изменений, мир анализа и комментариев и попыток понять по иному то, что происходило и произошло. В этом на первый взгляд была некоторая парадоксальность, так как Мервиль всегда начинал с того, что повторял истину, в бесспорности которой он был, по его словам, твердо убежден: логика и анализ, выводы и заключения неизменно оказываются несостоятельны, когда речь идет о движении человеческих чувств. Но как это ни

казалось странно, он все-таки каждый раз возвращался именно к этому. Было конечно и нечто другое — уверенность в незыблемости этого мира: нас было несколько и каждый из нас всегда был готов придти другому на помощь, в чем бы она ни заключалась. И без этой помощи, например, я не знаю, что стало бы с Артуром, который нередко оказывался без пристанища и без копейки денег и тогда он являлся к Мервилю или ко мне, зная, что все будет устроено и что его не оставят в беде. Совершенно так же поступала Эвелина — с той разницей, что у нее был такой вид, будто она нам делает одолжение и мы должны ценить то, что она обращалась к нам, а не к кому-нибудь другому. У Мервиля было иное положение, он был богат, но моральная поддержка была ему не менее необходима, чем материальная помощь была — Артуру или Эвелине. Ему было нужно что-то, что не может измениться, на что можно рассчитывать всегда. Конечно, об этом никогда не было речи, конечно об этом никто никогда не думал, но это было именно так. И когда, после долгого отсутствия и путешествий — Америка, Канада, Испания — Мервиль входил в мою квартиру и садился в кресло, он говорил:

— Есть что-то утешительное в этом, ты знаешь? Все те же книги на тех же полках, тот же диван, тот же стол, ничто не меняется. Удивительно, как ты можешь жить в этой неподвижности?

— У тебя, в твоём парижском доме, обстановка тоже не меняется.

— Нет, я говорю — психологически, ты понимаешь?

— Обстановка психологически меняться не может, это то, что в физике называется твердыми телами.

— Нет, я хочу сказать фон, на котором ты возникаешь. Да, я знаю, это неподвижность, так сказать, бытовая и даже не географическая, потому что ты все-таки не всегда живешь в Париже. Но каждый раз, когда я возвращаюсь в эту квартиру и сажусь против тебя, мне кажется, что мы только вчера расстались и что все может продолжаться попрежнему. Ничего не может быть обманчивее этого впечатления, но оно именно такое. И я невольно задаю себе вопрос: где подлинная реаль-

ность? В этом обманчивом ощущении или в том, что ему предшествовало?

— Вероятно и там и здесь, — сказал я, — но только это реальность разная. Я уверен в одном: во всех твоих эмоциональных катастрофах ты виноват только в той степени, в какой твое воображение и твое чувство не дают тебе возможности применять те суждения и тот анализ, значение которых ты так упорно отрицаешь. Ты ищешь эмоционального богатства и находишь душевную бедность, ждешь бескорыстного чувства и наталкиваешься на расчет, и это все отличается обидной простотой. А здесь, у нас, тебе не нужны никакие усилия воображения, ты знаешь заранее все. Ты возвращаешься домой, если хочешь. Ты очень хорошо знаешь, что если после долгого отсутствия ты явишься к нам, потеряв все свое состояние, усталый и отчаявшийся во всем, — мы тебе все устроим и ты будешь спокойно жить, не нуждаясь в самом необходимом и ожидая наступления лучших времен. Потому что нам не нужны ни твои деньги, ни твое положение, и если завтра ты станешь нищим или миллиардером, то ни то, ни другое не изменит нашего отношения к тебе.

Была еще одна причина того, что Мервиль неизменно возвращался к нам. После каждой его неудачи, которую он переживал, как катастрофу, ему казалось, что все погибло и что он, в сущности, конченный человек. Это представление, явно ошибочное, казалось ему, несмотря на его несомненный ум, соответствующим истине. И вот, когда он вновь появлялся у нас, в этом неподвижном, как он говорил, мире, где за это время ничто не изменилось, он начинал думать, что может быть, в конце концов, не все так безнадежно, как он думал. Это бывало началом его медленного и постепенного возвращения к самому себе — такому, каким он был всегда и каким мы его знали. Потом он опять исчезал и Андрей насмешливо называл это *Perpetuum mobile*.

Где был Мервиль? В Париже, в Нью Йорке, в Италии, в Калифорнии? Возвращаясь время от времени к этому вопросу, на который не могло быть ответа до тех пор, пока не раздастся его телефонный звонок, я продолжал жить на Лидо в бездум-

ном и блаженном ничегонеделании, как я жил на Ривьере до приезда Лу. С некоторого времени я чаще всего вспоминал это односложное имя — может быть потому, что в моем представлении возникала теперь вместо Маргариты Сильвестр, француженки из Ниццы, американская авантюристка Луиза Дэвидсон, просто Лу — и в этом одном слоге было заключено больше событий и было больше содержания, чем во французской звуковой фальсификации — мадам Маргерит Сильвестр. Я был, к тому же уверен, что Лу, такая, какой она была в Америке, была непохожа на мадам Сильвестр — не по чертам лица, росту и фигуре, а по общему выражению. Я помнил удивительное изменение ее голоса, когда она говорила резким тоном с американским туристом в Каннах. Вероятно в Америке у нее было другое выражение глаз и лица, может быть, даже другая походка и несомненно, другая манера себя держать. В этом смысле ее перевоплощение во Франции могло бы наверное ввести в заблуждение тех, кто знал ее в Америке. Самым странным, однако, мне казалось то, что она меньше всего была похожа на женщину, у которой была такая бурная жизнь. Неизменно холодное выражение ее лица никак не предрасполагало к желанию завязать с ней знакомство и уверенности, что эта попытка увенчается успехом. Конечно, это было впечатление обманчивое и судя по тому, что рассказал мне мой американский собеседник, Лу можно было упрекнуть в чем угодно, но не в холодности, если речь шла о возможности сближения с ней. Но чем больше я думал о ней, тем больше мне казалось, что американская полиция далека от истины — не в вопросе о том, кто убил Боба Миллера, а в своем представлении о Лу Дэвидсон, вполне определенном и крайне несложном: опасная женщина, которая провела свою жизнь в уголовной среде и которая способна на всякое преступление. Это было далеко не так просто и если в этом была часть истины, то этим все не исчерпывалось и может быть вторая часть истины была совершенно другой и именно она была самой важной.

Но все это были чисто теоретические догадки; это могло быть так и могло быть иначе. Тем более, что Лу, повидимому, обладала такой способностью исчезать, когда она это считала

необходимым, которая не уступала ее удивительному дару перевоплощения.

Из каких глубин моего сознания возникла во мне эта любовь к Венеции? Почему, когда я первый раз попал в этот город, у меня было впечатление, что я наконец вернулся туда, хотя я там никогда до этого не был? У меня не было такого ощущения ни в Генуе, ни в Вероне, ни в Риме, ни во Флоренции, ни в других городах и странах. Мне казалось, что я всегда знал эти повороты каналов, эти площади и мосты, этот незабываемый воздух летних венецианских вечеров, это море, эту лагуну. Это был пейзаж, который поглощал и растворял в себе все, что ему предшествовало в пространстве и времени, в нем тонули все воспоминания о других местах, все города разных стран — громады Нью Йорка, улицы Парижа, озера, реки, моря, все, что я знал раньше. И вот, возникая из всего этого в неудержимом движении, освещенная солнцем, окруженная морем, передо мной была Венеция, самое гармоническое из всех моих видений.

Мервиль знал Венецию лучше, чем я. В числе его увлечений тем или иным периодом истории или культуры на одном из первых мест была итальянская живопись, о которой он мог говорить часами, и я помнил, как при мне он спорил с Артуром, который показывал нам свое последнее приобретение, историю искусства в трех томах с прекрасными репродукциями. Мервиль утверждал, что книги историков искусства, это чаще всего та или иная система классификации, к которой прибавлено несколько суждений общего порядка, неопровержимых, но лишенных глубины личного восприятия и попытки проникновения в тот исчезнувший мир, где возникало непостижимое вдохновение Тинторетто или Карпаччио.

Почему ни одна из тех женщин, которые в разное время пересекали жизнь Мервиля, не могла стать его спутницей в этих его постоянных уходах то в эллинскую философию, то в английскую поэзию, то в итальянский Ренессанс? Единственным исключением могла бы быть Эвелина, которая при всей своей раздражающей вздорности, отличалась непогрешимым эстети-

ческим вкусом. Но она всегда была настолько занята своей личной жизнью и созданием того абсурдного мира, которого она была смещающимся центром, что у нее, казалось, не оставалось времени ни на что другое. И вдруг мы с изумлением узнавали, что она помнила наизусть стихи Китса или Леопарди и те обстоятельства, в которых писал свои картины Джотто или Беллини.

Но Эвелина никогда не играла в жизни Мервиля роли его спутницы. Те женщины, которые играли эту роль, все до одной, отличались неспособностью что-либо понять в области отвлеченных представлений, философских систем и эстетических концепций, которая была неотделима от существования Мервиля. Те из них, которые были умнее, делали вид, что они следуют за ним в его рассуждениях и тирадах, но это не могло даже его привести к сколько-нибудь длительному заблуждению по поводу их возможности что-то действительно понять в этих его увлечениях, которые им казались в одинаковой степени пустыми и непостижимыми.

Что в этом смысле могла дать ему Лу? Если мой американский собеседник более или менее правильно описал ее жизнь, если она действительно провела ее среди уголовных субъектов, то там конечно она не могла почерпнуть какие бы то ни было сведения о философии или искусстве. И в этом случае трудно было себе представить, как Мервиль мог бы найти с ней общий язык.

Он попрежнему не давал о себе знать. Его надежда разыскать Лу казалась мне неосуществимой — и в конце концов может быть было бы лучше, чтобы она действительно исчезла без следа. Но, конечно, убедить его в этом было бы невозможно.

Была уже вторая половина июля и мне казалось, что я живу здесь так давно, что Париж, мои друзья, моя работа — все это бесконечно далеко от меня. У меня было впечатление, что я все больше и больше ухожу от себя самого — такого, каким я видел себя обычно. Больше как будто не оставалось неразрешимых вопросов, не было ни моих любимых книг, ни моих

любимых авторов — и только один раз в Венеции, в ресторане, где подавал к столу неприятного вида официант, у которого на лице было смешанное выражение лакейской угодливости и наглости, я вдруг вспомнил беспощадные слова Сен-Симона о Людовике XIV-ом, — то место в его воспоминаниях, где он говорит, что Людовик XIV-ый очень хорошо обращался со своими лакеями и что именно в их обществе он чувствовал себя лучше всего. Но это было несколько строк, которые вдруг всплыли перед моими глазами — и больше ничего. Мне казалось, что все, что было лишним и тягостным в моей жизни точно растворялось в этом адриатическом воздухе, что я теряю самого себя и потом вновь возникаю из неизвестности и небытия, так, точно этому ничто не предшествовало. В этом ощущении было избавление от той бытовой тяжести, которая сопровождала меня всю жизнь — национальность, возраст, биография. Все это теряло всякое значение.

Так прошло больше полутора месяцев и мне надо было сделать усилие над собой, чтобы вспомнить о Париже, куда мне все-таки предстояло вернуться в ближайшем будущем и наконец наступил день, когда я уехал из Венеции. Я ехал на автомобиле не спеша, через Бреннер, Мюнхен, Штутгарт и Страсбург, останавливаясь несколько раз по дороге и через четыре дня я въезжал в Париж, пустынный и тихий в эти августовские дни. Я вернулся в свою квартиру, где нашел все в идеальном порядке — на этот раз Эвелины там не было. Ее кабаре было закрыто на летние месяцы и должно было открыться только двадцатого сентября. В Париже не было никого из моих друзей, мой телефон безмолвствовал и писем тоже не было. И как только я вернулся в свою квартиру, у меня опять возникло то чувство, которое я так давно знал, — что все идет не так, как должно было бы идти, и что в этом есть что-то непоправимое. Я никогда не мог вспомнить, где, когда и почему это чувство появилось и осталось во мне, как я думал, навсегда.

Я несколько раз звонил по телефону Мервилу, но на звонок никто не отвечал. То, что его не было в Париже в августе месяце, было естественно, но события последнего времени в его жизни развивались так, что трудно было себе представить, где

он мог быть и что он делал. Через несколько дней я узнал, что Мервиль был в Париже еще в конце июня и уехал в начале июля.

Я узнал об этом совершенно случайно, так как через неделю после моего приезда ко мне явился Артур со своим таксом, Томом, — Артур растерянный, взъерошенный и несчастный. Он рассказал мне о том, как он жил некоторое время на Ривьере со своим другом, — он привел при этом чрезвычайно звучную испанскую фамилию, которую я тотчас же забыл, я помнил только, что она состояла из последовательности трех собственных имен, перемежавшихся приставками.

— Ты конечно слышал о нем? — спросил Артур. — Нет, — сказал я, — чем он известен? — Как, ты не знаешь? Он ставит теперь «Лебединое озеро» в Рио де Жанейро. — «Лебединое озеро» в Бразилии? — Что в этом странного? Он уже поставил там «Жизель», потом он намерен... — Но какое отношение все это имеет к тебе? — Мы были вместе с ним на юге, но несколько дней тому назад он получил телеграмму, он должен был все бросить и немедленно возвращаться в Рио де Жанейро, и мы остались с Томом, ты понимаешь, одни. Из гостиницы пришлось уехать, денег на дорогу в Париж не было, мы ехали в разных автомобилях, которые мы останавливали то там, то здесь и так наконец добрались сюда. Сейчас, ты понимаешь, создалось такое положение... — Понимаю, — сказал я, — можешь располагаться здесь, потом посмотрим.

Артур пошел принимать ванну, потом лег спать — было около семи часов вечера — и проспал до следующего утра, оставив на мое попечение Тома, которого я кормил и выводил гулять.

На следующее утро мы сидели с Артуром в столовой, пили кофе и разговаривали. Он был хорошим собеседником, у него были обширные познания в области искусства, и, как это нередко бывает у таких людей, как он, — он был не высокий, худощавый человек со слабыми, как у женщины, руками, — у него было тяготение к таким художникам, как Тициан или Рубенс, ко всякому проявлению силы. Он сам был неплохим рисоваль-

щиком и альбомы, в которых он делал свои наброски карандашом, были полны изображений греческих богов и мифологических героев с выпуклыми мускулами. Когда он начинал говорить о балете, он не мог остановиться и иногда создавалось впечатление, что весь мир представляется ему, как ряд ритмических движений и бег линий, сплетающихся в каких-то метафорических и неубедительных — для его собеседников — соединениях. Предельным выражением совершенства казался ему “*Le spectre de la Rose*” — напоминание о полете Икара, где было одновременно торжество человеческой воли и тот неизбежный трагический конец, без которого каждое искусство... Он часто не кончал своих фраз и интонация заменяла ему тот период, который он должен был произнести и который оставался произнесенным. Но смысл его, в представлении Артура, не мог ускользнуть от его собеседника и когда ему приходилось иметь дело с людьми, для которых то, что он говорил, казалось слишком сложным, он терялся и умолкал и в такие минуты его становилось жаль. Он был на редкость беспомощен в жизни, но многочисленные и жестокие испытания, которые выпадали на его долю, — он нередко оказывался без крова, без средств, не знал, что с ним будет завтра, — он переносил совершенно стойчески, никогда не жалуясь и считая это неизбежным как дождь осенью или снег зимой. Было в нем что-то необыкновенно привлекательное, в чем он, казалось, не отдавал себе отчета. Ни кому из нас не приходило в голову спросить Артура, почему он не думает о том, что ждет его завтра, на что он рассчитывает и отчего, например, в его жизни ни о какой службе не может быть речи. Он всецело зависел от других и странным образом это казалось настолько естественно, что никогда не стесняло ни его, ни тех, от кого он зависел.

Мы говорили с ним о разных вещах, в частности, о Венеции. Потом он меня спросил:

Ты видел летом Мервиля?

— Очень короткое время, — сказал я, — на Ривьере.

Ты знаешь, что произошло потом ?

— Я знаю, что он вернулся в Париж. Что с ним случилось

позже, понятия не имею. Я очень давно о нем ничего не знаю.

— Ты помнишь эту историю с мадам Сильвестр?

Помню.

— Ты знаешь, что она исчезла и что он ее разыскивал?

— Я знаю, что он хотел ее найти во что бы то ни стало. Но мне с самого начала казалось, что из этих розысков ничего не выйдет.

— Ты ошибаешься, — сказал Артур, взглянув на меня как-то сбоку. — Он ее нашел. Вернее, не он ее нашел, а она его нашла. Она пришла к нему, позвонила, он открыл ей дверь, она едва держалась на ногах и упала без сил, он только успел ее подхватить. Я был у него на следующий день после этого, а еще через день он уехал вместе с ней.

Куда же он уехал, ты не знаешь?

Не знаю, кажется за границу, — сказал Артур.

(Продолжение следует)

Гайто Газданов



Строится где-то, строится где-то
Дом для меня, дом для меня.
Там за углом, за углом света,
Там за углом, за углом дня.

Помню я дерево у плетня
В самом центре тихого лета.
Дерево это, дерево это
Там за углом, за углом света,
Там за углом, за углом дня.

Был когда-то друг у меня,
Где он — спроси у ветра ответа.
Свидимся где-то, обнимемся где-то
Там за углом, за углом света,
Там за углом, за углом дня.

Праздность моя, звездность моя,
Жизнь без расчета, жизнь без запрета —
В небе ты канула словно комета
Там за углом, за углом света,
Там за углом, за углом дня.

Только зубы покрепче стисни —
Выстроим дом, выстроим дом
Там за углом, за углом жизни,
Там за углом, там за углом.



Море упрашивало: “Паша, Паша...”
Но Паша должно-быть ушла домой,
И море, целую ночь не спавшее,
Разрыдалось белой-белой каймой.

А в море, у берега, жили
Камни большие-большие.

Там чайки хаживали
И купальщики.
Девочки пляжные,
Пляжные мальчики.

И по буграм каменистым
Звякало море монистом.

Когда гроза ломала шпаги
На сцене грозно-показной,
Я ставил птичку на бумаге.
Бог ставил чайку над волной.



В тяжелых звездах ночь идет,
И город в новый снег наряжен,
И вот уже минувший год,
Как нож по рукоятку всажен!

Встречаю годы, как ножи!
Да здоровствует семидесятый!
На звездах ночь поворожи
И с новым лезвием сосватай!

Уже к ножу питаю нежность,
Уже собой не дорожа,
Я пью за остроту и свежесть,
За дружбу розы и ножа.

Иван Елагин

ЗОЙКИНА КВАРТИРА

ПЬЕСА В 4-х ДЕЙСТВИЯХ

ТРЕТИЙ АКТ*

*Осенний вечер в квартире Зои. Цветы в вазах.
(Аметистов во фраке. Аллилуя таинственно шепчет).*

АМЕТИСТОВ: Какая же ехидна тебе говорила?

АЛЛИЛУЯ: Да что ж ехидна! Люди болтают. Народ, говорят, ходит в квартиру...

АМЕТИСТОВ: Уважаемый лорд мэр, как же им не ходить, когда у нас мастерская.

АЛЛИЛУЯ: Фокстроты по ночам...

АМЕТИСТОВ: Фокстроты. Вы слышите, товарищи? Фокстроты? Призываю вас в свидетели, вы видели когда-нибудь фокстрот в этой квартире? Удивляюсь! Люди не умеют отличать сонаты Бетховена от фокстрота, а тоже лезут с рассуждениями.

АЛЛИЛУЯ: Сонаты или не сонаты, но ведь и в мое положение нужно входить.

АМЕТИСТОВ: Кстати, о положении... Зоя Денисовна, кажется, осталась должна за электричество два червонца?

* Первые два акта мы напечатали в кн. 97 «Н. Ж.». Там мы ошибочно указали, что «Зойкина квартира» была поставлена в Малом Театре. Она была поставлена в октябре 1926 г. в Театре им. Вахтангова. Режиссером был Алексей Попов, Аметистова играл Р. Симонов, Зойку — Мансурова. Успех был большой. Но Главрепертком вскоре же запретил пьесу. Уже 26 октября 1926 г. А. Попов в «Вечерней Москве» был вынужден признать, что «общественно-политические вопросы в пьесе недостаточно четко поставлены». В начале 1927 г. «Зойкина квартира» была снята со сцены не только в Москве, но и в Киеве и в Свердловске. Кстати, говорят, что в Театре им. Вахтангова одно из действующих лиц — Гусь — был загримирован «под Луначарского». После 1927 г. «Зойкина квартира» нигде не ставилась и напечатана не была. РЕД.

АЛЛИЛУЯ: Три.

АМЕТИСТОВ: Два с половиной.

АЛЛИЛУЯ: Нет, три.

АМЕТИСТОВ: Ну, три так три. Прошу.

АЛЛИЛУЯ: Квитанцию я вам завтра пришлю.

АМЕТИСТОВ: К чему этот бюрократизм и волокита? Не беспокойтесь. Ик... А, чтоб тебя...

АЛЛИЛУЯ: Что это икается всё? Поминает вас кто-то...

АМЕТИСТОВ: Только вот не знаю, кто.

АЛЛИЛУЯ: Так вы уж, пожалуйста, Александр Тарасович, потише с фокстротами, а то долго ли до беды. У вас что ж, сегодня гости опять будут?

АМЕТИСТОВ: Да легенькие именины.

АЛЛИЛУЯ: Ну, прощенья просим.

АМЕТИСТОВ: Рукопожатия отменяются. Хи-хи-с... Шу-чу-с. О ревуар. *(Аллилуя уходит)*. Видал я вымогателей на своем веку, но этот Аллилуя прямо экстраординарное явление в нашей жизни. Ик... А, чорт тебя возьми. Селедки я что ли переложил за обедом...

(Обольянинов входит во фраке, как тень скучный).

АМЕТИСТОВ: Ик... Пардон. *(Звонит телефон)*. Херувим, телефон.

ХЕРУВИМ *(по телефону)*: Слушаю. Да, да. Тебе Гусь зовет.

АМЕТИСТОВ *(по телефону)*: Товарищ Гусь! Здравья желаем, Борис Семенович. В добром ли здоровье? В делах, в делах все... Как же, обязательно, сегодня ждем. День, можно сказать, такой выдающийся. Часикам... Ик... Пардон... к 10... Вспоминали вас, вспоминали. Когда же, говорит, я увижу этот ассирийский профиль. Хи-хи... Секрет, секрет. Сюрприз есть. Ждем, ждем. Честь имею кланяться... Ик...

ОБОЛЪЯНИНОВ: Удивительно вульгарный человек этот Гусь. Вы не находите?

АМЕТИСТОВ: Да, не нахожу. Человек, получающий 200 червонцев в месяц, не может быть вульгарен. Ик... Какому чорту я понадобился! Уважаю Гуся. Кто пешком по Москве таскается? Вы,

ОБОЛЪЯНИНОВ: Простите, мсье Аметистов, я не таскаюсь, а хожу.

АМЕТИСТОВ: Да не обижайтесь вы, вот человек. Ну, ходите. Вы ходите, а он в машине ездит. Вы в одной комнате сидите. Пардон, пардон, может выражение “сидите” неприлично в высшем обществе, так восседаете, а Гусь в семи. Вы в месяц наколотите, пардон, — наиграете, на вашем фортепиано 10 червонцев, а Гусь — две сотни. Кто играет? Вы, а Гусь танцует.

ОБОЛЪЯНИНОВ: Потому что эта власть создала такие условия жизни, при которых порядочному человеку существовать невозможно.

АМЕТИСТОВ: Пардон-пардон. Порядочному человеку при всех условиях существовать возможно. Я порядочный человек, однако ж, существую. Я, извините за выражение, в Москву без штанов приехал. У вас же, папаша, пришлось брючки позаимствовать. Помните, май, солнце, а теперь я во фраке.

ОБОЛЪЯНИНОВ: Простите, но какой же я вам “папаша”?

АМЕТИСТОВ: Да не будьте вы таким недотрогой. Что за пустяки между дворянами? Ик!

ОБОЛЪЯНИНОВ: Простите меня, вы, действительно, дворянин?

АМЕТИСТОВ: Мне нравится этот вопрос! Да вы сами не видите что ли?

ОБОЛЪЯНИНОВ: Ваша фамилия мне, видите ли, никогда не встречалась.

АМЕТИСТОВ: Мало ли что не встречалась! Известная пензенская фамилия. Эх, синьор, да если бы вы знали, что я вынес от большевиков, у вас бы волосы стали дыбом. Имение разграбили, дом сожгли!

ОБОЛЪЯНИНОВ: У вас в каком уезде было имение?

АМЕТИСТОВ: У меня-то? Вы говорите, у меня, которое...

ОБОЛЪЯНИНОВ: Ну, да, которое сожгли.

АМЕТИСТОВ: Ах, это... В этом... Не хочу даже вспоминать, потому что мне тяжело. Белые колонны, как сейчас помню... Эх, де, труа, фир, фюнф, зехс... Семь колонн, одна красивее другой. Эх, да что говорить! А племенной скот! А кирпичный завод!

ОБОЛЪЯНИНОВ: У моей тетки был превосходный конский, у Варвары Николаевны Бяратниковой.

АМЕТИСТОВ: Что Бяратникова, тетка! У меня лично был, да какой! Да что вы приуныли так? Приободритесь, отец.

ОБОЛЪЯНИНОВ: Многое вспомнилось. У меня была лошадь "Фараон". Я вам очень сочувствую.

АМЕТИСТОВ: Да как же не сочувствовать! Злодей и тот посочувствует.

ОБОЛЪЯНИНОВ: У меня тоска.

АМЕТИСТОВ: Вообразите, у меня тоже. Почему — неизвестно. Предчувствия какие-то. От тоски карты помогают хорошо.

ОБОЛЪЯНИНОВ: Я не люблю карт, я люблю лошадей. Фараон. Он в тринадцатом году в Петербурге взял гран-при. Напоминают мне они...

ГОЛОС (*глухо поет*): "Напоминают мне они"...

ОБОЛЪЯНИНОВ: Камзол красный, рукава желтые, черная перевязь — Фараон.

АМЕТИСТОВ: Я любил заложить Фараон. Пойдет партнер углами внутрь, вы, батюшка, холодным потом обольетесь, но уж как срежете ему карточку на полном ходу и ляжет она как подкошенная. Хлоп, как серпом. Аллилуйя, что ли меня расстроил. Эх, убраться бы из Москвы поскорей!

ОБОЛЪЯНИНОВ: Да, да, поскорей. Я не могу здесь больше жить.

АМЕТИСТОВ: Бросьте раскисать, братишка. Три месяца и мы уедем в Ниццу. Вы бывали в Ницце, граф?

ОБОЛЪЯНИНОВ: Бывал, много раз.

АМЕТИСТОВ: А я тоже, конечно, бывал, но только в глубоком детстве. Моя покойная матушка, помещица, возила меня. Две гувернантки с нами ездили, нянька. Я, знаете ли, с кудрями. Интересно, бывают ли шулера в Монте-Карло?

ОБОЛЪЯНИНОВ: Я не знаю. (*В тоске*). Ах, я не знаю! (*В тоске*).

АМЕТИСТОВ: Схватило. Вот, чорт. Экзотическое растение. Граф, коллега, знаете что? Времени у нас вагон до гостей, до

прихода Зоечки — прошвырнемся в Баварию. Пиво при тоске прямо врачами прописано.

ОБОЛЪЯНИНОВ: О, мой Бог! Вы меня совершенно ошеломяете вашими словами. В пивных — грязь и гадость.

АМЕТИСТОВ: Вы, стало быть, не видели раков, которых вчера привезли в Баварию. Хорошенькая гадость... Каждый рак величиной... ну, с чем бы сравнить, чтобы не соврать... с гитару... Ползем, папаян.

ОБОЛЪЯНИНОВ: Хорошо, пойдем.

АМЕТИСТОВ: Вот это правильно. Херувим!

ХЕРУВИМ: Сто?

АМЕТИСТОВ: Если Зоя Денисовна вернется раньше нас, скажи, чтобы не беспокоилась. Скоро придем. Скажи, что на минуту на выставку революционного искусства пошли. Понял?

ХЕРУВИМ: Понял.

АМЕТИСТОВ: По глазам вижу, что ничего не понял. Одним словом, через 20 минут придем. Первое — шампанское поставить в ледник и водку тоже, а красное вино, наоборот, в теплое место в кухню. Второе... Одним словом, дорогой мажордом желтой расы, поручаю тебе квартиру и ответственность возлагаю. Граф, алле-ву-зан. Во раки! *(Выходит с Обольяниновым)*.

ХЕРУВИМ: Мануска... Усли.

МАНЮШКА *(выбегает, целует Херувима)*: Чем ты мне понравился? В толк не возьму. Желтый ты, как апельсин, но вот понравился. Вы, китайцы, лютеране?

ХЕРУВИМ: Лютеране, белье мал-мало стираем. Стой, Мануска. Я тебя сейчас важный дела говорить буду. Ми скоро ехать будем, будем, Мануска. Я тебе беру Санхай.

МАНЮШКА: В Санхай? Не поеду я.

ХЕРУВИМ: Поедиси.

МАНЮШКА: Да не поеду я.

ХЕРУВИМ: Поедиси. Казу — едиси.

МАНЮШКА: Фу ты, какой. Ишь! Что ты командуешь? Что я тебе жена, что ли!

ХЕРУВИМ: Я тебе зеню, Мануска. Санхай, красивый Санхай.

МАНЮШКА: Меня нужно спросить, пойду я за тебя или нет. Что я тебе, контракт подписывала, что ли? Косой!

ХЕРУВИМ: А! Ты Газолини зенить хочеси.

МАНЮШКА: А хотя бы и Газолина. Я девушка свободная. Ты если ухаживаешь, ухаживай вежливо, чтоб я согласилась. Ишь, буркулы китайские выпятил. Крикун, я тебя не боюсь.

ХЕРУВИМ: Газолини...

МАНЮШКА: Ничего, ничего...

ХЕРУВИМ (*становится страшным*): Газолини...

МАНЮШКА: Что ты, что ты...

ХЕРУВИМ: А! (*Берет Манюшку за глотку*). Я тебе сейчас резить буду.

МАНЮШКА (*задыхается*).

ХЕРУВИМ: Ты кази: Газолини цировала?

МАНЮШКА: У...у...пусти глотку, ангелок.

ХЕРУВИМ (*выхватил нож*): Газолини цировала?

МАНЮШКА: Судьбинушка моя горькая! Помяни, Господи, рабу твою Марию во царствии Твоем.

ХЕРУВИМ: Цировала?

МАНЮШКА: Херувимчик, хрустальный... Один разок. Не режь сиротинку, пожалей мою юную жизнь!

ХЕРУВИМ (*спрятал нож*): Зенить будешь на Газолини?

МАНЮШКА: Нет, нет, нет.

ХЕРУВИМ: Кем будешь жить мал-мало?

МАНЮШКА: Зарекусь, ни с кем не буду.

ХЕРУВИМ: Со мной зить будеси.

МАНЮШКА: Нет, нет... буду, буду. Что ж это такое, то-варщи, он делает?

ХЕРУВИМ: Я тебе пледложение делал.

МАНЮШКА: Вот так предложение! Вот так предложение! Ай, предложение шанхайское! Ай, женишек с ножичком!

ХЕРУВИМ: Я тебе зеню, крепко зеню. Здесь в комиссариае распису, а там в Санхае нас Бог тобою зенит.

МАНЮШКА: Херувимчик, миленький, я при лютеранском идоле венчаться не буду.

ХЕРУВИМ: Будеси.

МАНЮШКА: Попала я, девонька, в лапочки!

ХЕРУВИМ: Я тебя люблен. Осень люблен. Мы с тобой дело имеит Санхае, китайский зивет веселый.

МАНЮШКА: Ты меня бить будешь.

ХЕРУВИМ: Ниет, ниет. Никто бить. Я тебе, если цировать с чужой китайси будесь, горло только буду резать.

МАНЮШКА: Спасибо. Ай, женилась! Ты ж разбойник, Херувимчик мой.

ХЕРУВИМ: Я не разбойник. Я был пецальный, каздый гоняит, тюрьму хчит садить китайси за кокаин. Газолин мене тиранил мал-мало, белье стирает целую ночь. Сам деньги берет, мине сорок копеек давал. Я страдал. Холодный Москва. Китайси не мозет зить холодный. Китайси Санхай должен зить.

ГОЛОС (*глухо поет*): “Покинем, покинем край, где мы так долго страдали...”

МАНЮШКА: Страстный ты. За то я тебя и люблю... Только ты, кажется, бандит, Херувимчик... Змею покажи.

(Херувим показывает татуировку на груди, становится странен и страшен).

МАНЮШКА: Ой, до чего же страшная!

ХЕРУВИМ: Мы тебе змею налисует на животе... Сальце кусаит.

МАНЮШКА: Что ты, я не хочу.

ХЕРУВИМ: Хотеси, хотеси, Мануска, ты типель собирайся. Все собирай. Мы скоро ехать будем. Я передумал много, червонци достану.

МАНЮШКА: Ой, Херувим, боюсь я тебя.

ХЕРУВИМ: Молци. (*Звонок*).

МАНЮШКА: Катись в кухню. (*Херувим исчезает. Манюшка открывает дверь*). Ой, Господи Боже мой...

ГАЗОЛИН: Здасте, Мануска.

МАНЮШКА: Ой, уйди, Газолин!

ГАЗОЛИН: Нет, я зачем уйти? Я не уйти. Ты одна, Мануска? Я к тебе пришел предложение делать.

МАНЮШКА: Что, предложение?

ГАЗОЛИН: Воскресенье прачешный закрыт.

МАНЮШКА: Газолиночка, куда ты лезешь? Уйди, уйди.

ГАЗОЛИН: Нет, зачем уйти? А, Мануска, ты мне сто говорила? А? Говорила любиси Газолина.

МАНЮШКА: Что врешь? Ничего я тебе не говорила. Уходи, сейчас же уходи! Что ты нахальничаешь? Вот я кликну Зою Денисовну.

ГАЗОЛИН: Ты врешь. Никого дома нет. Ты, Мануска, много врешь. Каждый день мал-мало врешь, я тебе люблю.

МАНЮШКА: Ты с ножом? Ты говори, если ты с ножом, я прямо буду караул кричать.

ГАЗОЛИН: Я с ножом. Предложение делать.

ХЕРУВИМ (*появляясь*): Кто предложение?

ГАЗОЛИН: А-а-а... Вот он, помосники, а помосники. Ах, ты, сукин сын!

ХЕРУВИМ: Ты иди с квартиры, иди. Это моя квартира, Зойкина, моя.

МАНЮШКА: Ой, что это будет!

ГАЗОЛИН: Твоя? Бандит! Захватил квартиру Зойкину. Я тебе подоблад, ты как собака был, а ты... Не месай. Я предложение делать буду Мануске.

ХЕРУВИМ: Я уже делал. Она моя жена. Со мной живет.

ГАЗОЛИН: Врешь, со мной живет.

МАНЮШКА: Врет, врет, врет, Херувим, голубчик, бриллиантовый, раз поцеловались.

ХЕРУВИМ: Врешь, уходи из моей квартиры.

ГАЗОЛИН: Ты уходи. Я милиции все расскажу, какой ты китайский тип.

ХЕРУВИМ: Милиции расскажи.

МАНЮШКА: Зайчики, миленькие, только не режьтесь, дьяволы. (*Херувим и Газолин шипят*).

МАНЮШКА: Караул! Караул! Караул!

ГАЗОЛИН: Караул! (*Бросается в зеркальный шкаф*).

(*Херувим бросается на шкаф с ножом. Вдруг звонок*).

МАНЮШКА: Слава тебе, Господи! Брось ножик, чорт окаанный. На каторгу тебя заберут. Позвонили, дурак. Беги в кухню.

ХЕРУВИМ: Я его потом дорежу. (*Закрывает шкаф на ключ, прячет ключ в карман. Исчезает*).

МАНЮШКА: Ох ты, Господи! Господи! (*Бежит в переднюю*). Вам кого, товарищ? (*Входят Пеструхин, Толстяк, Ванечка*).

ТОЛСТЯК: Это не у вас, товарищ, караул кричали?

МАНЮШКА: Что вы, что вы! Какой караул! Это я пела.

ТОЛСТЯК: Хороший голос у вас, товарищ.

МАНЮШКА: А вам кого, товарищ?

ПЕСТРУХИН: Мы, товарищ, комиссия из Наркомпроса. Покажите-ка мастерскую.

МАНЮШКА: Заведующей сейчас нет. Сегодня воскресенье — занятые нет.

ТОЛСТЯК: А вы кто ж такая сами будете?

МАНЮШКА: Я ученица-модельщица.

ПЕСТРУХИН: Ну, вот, вы и покажете, а то нам времени нет.

МАНЮШКА: Ну, тогда пожалуйста.

ТОЛСТЯК: Здесь что же помещается?

МАНЮШКА: А это примерочная.

ТОЛСТЯК: Хорошая комнатка. Это что ж, на них и примеривают? (*Указывает на манекен*).

МАНЮШКА: Как же, на манекенах.

ТОЛСТЯК: А модельщица для чего?

МАНЮШКА: А это когда на шагу платье примеривают, на подходящую по фигуре на ученицу и надевают.

ТОЛСТЯК: Вы что ж, только на дам пьете?

МАНЮШКА: Зачем только на дам? И на женщин шьем, прозодежду для пролетариата.

ПЕСТРУХИН: Покажите-ка нам прозодежду.

МАНЮШКА: Пожалте. (*Отдергивает занавеску. Среди юбок сидит Херувим*).

ТОЛСТЯК: Вот так прозодежда! Китаец!

МАНЮШКА: Это из прачечной к нам ходит юбки гладить.

ПЕСТРУХИН: А, юбки.

ТОЛСТЯК: Что ж, ходя, сдельно получаешь?

ХЕРУВИМ: Сидальни.

ТОЛСТЯК: Ну, гладь, гладь, мы тебе не будем мешать. (*Задергивает занавеску*).

ПЕСТРУХИН: Тэк-с, бре-ке-ке-кес. Здесь кто живет при самой мастерской?

МАНЮШКА: Пельц, заведующая, потом администратор Александр Тарасович Аметистов.

ТОЛСТЯК: Красивая фамилия. А еще кто?

МАНЮШКА: А еще я.

ПЕСТРУХИН: А вы сами кто будете, товарищ, по происхождению?

МАНЮШКА: Мой папаша крестьянин были.

ТОЛСТЯК: А теперь они кто?

МАНЮШКА: Померли.

ТОЛСТЯК: Какая жалость! А мамаша?

МАНЮШКА: Они в Тамбове на базаре ларек имеют.

ТОЛСТЯК: Молодец ваша мамаша. Ну, товарищ дорогой, покажите-ка нам остальное помещение.

МАНЮШКА: Пожалуйста. Вот малая примерочная. *(Уходит с толстяком)*.

ВАНЕЧКА *(шепотом)*: Товарищ Пеструхин, так невозможно. Хорошо на горничную напали, на дуру, а будь Аметистов здесь, ведь это безобразие. Я ему говорю: давай, говорю Наркомпросовскую бородку клинышком, чтоб под Главполитпросвет была сделана, а он сует спецовскую экономическую жизнь, лопаткой. *(Снимает бородку)*. Натереть ему морду этой бородой. Он последнее время суетится: халтурщик. Гнать надо таких парикмахеров.

ПЕСТРУХИН: Не гудите, Ванечка, не гудите. Некогда. Приступайте.

(Ванечка надевает бороду, оживает как ртуть, вынимает отмычки, осматривает столы, отдергивает занавески, обнаруживает картину обнаженной женщины).

ПОСТРУХИН: Го-го-го... Сюжетец.

ВАНЕЧКА: Абсолютно. Говорил я, товарищ Пеструхин, квартирка.

ПЕСТРУХИН: Не гудите, Ванечка, действуйте.

ВАНЕЧКА *(открывает шкаф с Газолином)*.

ГАЗОЛИН *(глухо)*: Караул.

ПЕСТРУХИН: Что это такое? Куда не плюнешь — везде китаец!

ВАНЕЧКА: Абсолютно.

ПЕСТРУХИН: Сидишь?

ГАЗОЛИН: Сидю.

ПЕСТРУХИН: Ты что здесь делаешь?

ГАЗОЛИН: Я мал-мало пятился. Мене сейчас Херувимка бандити резать будет.

ПЕСТРУХИН: Как резать будет?

ГАЗОЛИН: Он тут, бандит Херувимка Сеп-Дзинь-По.

ПЕСТРУХИН: Этот тот, который рядом сидел?

ГАЗОЛИН: Да, да, мене мал-мало спасите.

ПЕСТРУХИН: Спасем, спасем, что ты, не расстраивайся.

ВАНЕЧКА: Абсолютно.

ПЕСТРУХИН (*шепотом*): А зачем же Херувимчик в квартире бывает?

ГАЗОЛИН: Он, мерзавец, бандит. Сюда опиум таскает. Здесь опиум в квартире курят. Танцуют все, танцуют в квартире. Он разбойник. Я милицию беги, беги. Вы меня спасите.

ПЕСТРУХИН: Тэк-с, тэк-с, бре-ке-ке-кс. Ну, вот что, дорогой мой, ты, я вижу, малый проворный. Ты сам кто будешь?

ГАЗОЛИН: Я — Ган-дза-Лин, цесный китаец, я горничной предложение делал, он мене цуть не зарезал мал-мало.

ВАНЕЧКА: Где живешь?

ГАЗОЛИН: У мене працесная на Садовой.

ПЕСТРУХИН: Ну вот что, дружок. Выкатывайся из шкафа, лети к себе домой и там жди. Мы к тебе сейчас будем. Только ты, уважаемый, ходу не вздумай дать. Мы тебя на дне моря найдем.

ВАНЕЧКА: Абсолютно.

ГАЗОЛИН: Я не убегу. Только вы Херувима заберите, он бандит, он узе одного человека зарезал, его милиция ищет.

ПЕСТРУХИН: Будь благонадежен. Ну, прыгай, прыгай домой.

(*Газолин исчезает. Ванечка закрывает за ним дверь*).

ПЕСТРУХИН: Ну, дела!

ВАНЕЧКА (*закрывает шкаф на ключ*).

ТОЛСТЯК (*входя с Манюшкой*): Прекрасно! Отлично устроено помещение, товарищ Пеструхин.

ПЕСТРУХИН: Да, это верно. А скажите, дорогой товарищ, тут в шкафу, что у вас?

МАНЮШКА: Тут, тут... тряпки разные, да у меня ключа нету, ключ-то у заведующей.

ПЕСТРУХИН: Ну, не беспокойтесь тогда. В другой раз как-нибудь посмотрим. Ну, вот что, товарищ модельщица. Передайте заведующей, что была комиссия из Наркомпроса, осмотрела все, нашла мастерскую в образцовом порядке. Мы им бумагу пришлем официальную.

ТОЛСТЯК: Кланяйтесь.

ВАНЕЧКА: Абсолютно.

ПЕСТРУХИН: До свидания. (*Выходят. Манюшка закрывает за ними дверь и возвращается*).

ХЕРУВИМ (*вылетает, как буря, с ножом*): Усли. Милиция рассказы. Я тебе расскажу. (*Бросается к шкафу*).

МАНЮШКА: Дьявол, караул! Дьявол, караул!

(*Херувим открывает шкаф, в нем пусто*).

МАНЮШКА: Что же это такое делается! (*Вытучив глаза смотрит на Херувима. Херувим на нее. Сцена гаснет. Тьма*).

З а н а в е с.

ЧЕТВЕРТЫЙ АКТ

Ночь. Квартира ярко освещена. Шампанское. Цветы. Во всех комнатах идет пир. При открытии занавеса звенит гитара, звенят бокалы. Мужчины-юсти в смокигах.

ЛИЗАНЬКА (*стоя на столе, поет под аккомпанимент Аметистова на гитаре*): "Отчего, да почему, да по какому случаю коммуниста я люблю, а беспартийных мучаю".

АМЕТИСТОВ: Эх, раз, еще раз...

РОБЕР и ПОЭТ: Bravo, Лизанька, еще раз!

АМЕТИСТОВ (*кричит хроматической гаммой*): Делай, ах-тах-тах-тах! (*Бурный взрыв хохота за сценой, звон битого стекла*).

ЗОЯ (*появляется в ослепительном вечернем туалете*): Господа, кому угодно шампанского? Александр Тарасович, не забывайте гостей.

АМЕТИСТОВ: Ни в каком случае я их забыть не могу. Клиент нашей фирмы должен чувствовать себя, как на лоне природы. Херувим! (*Распахивает занавес, показывается ниша, превращенная в курильню с китайским фонарем. Виден курильщик в качалке*).

КУРИЛЬЩИК (*стонет*): Нариванна. (*Зоя исчезает*).

ХЕРУВИМ (*появляется из ниши. Он странен, великолепен*): Сто?

АМЕТИСТОВ: Шампанского! (*Херувим исчезает*).

ЛИЗАНЬКА: Я ли милую мою из могилы вырою,
Вырою, обмою...

АМЕТИСТОВ (*с пафосом*): И опять зарю.

РОБЕР и ПОЭТ: Эх, еще раз, Лизанька, браво! Браво!
(*Аплодируют*).

(*Херувим подает шампанское, исчезает в нишу, задерживает курильщика. Взрыв хохота за сценой. Слышен глухой вопль Мертвого Тела. Хохот Мымы, хохот Ивановой*).

ЗОЯ (*за сценой*): Господа, что вы...

ПОЭТ: Лизанька, Лизанька! Нет, у меня нет слов выразить вам мой, мой... что я хотел сказать... восторг. Вот книжка моих стихов. Простите. Вы поймете, что у меня вселенская душа.

АМЕТИСТОВ: Браво, браво...

ЛИЗАНЬКА (*принимая книжку стихов*): Мерси. (*Засовывает книжку за чулок*).

РОБЕР: Лизанька, поцелуйте меня.

ПОЭТ: Нет, меня.

РОБЕР: Виноват, виноват, молодой человек, виноват.

ПОЭТ: Лизанька, неужели мои стихи не стоят поцелуя?

АМЕТИСТОВ: Пардон-пардон. Кто же в этом сомневается?

РОБЕР: Лизанька, долой поэта. Молодой человек, что вы прилипли?

ПОЭТ: Простите, я имею такое же право, как и вы. (*Явно пьян*).

АМЕТИСТОВ: Виноват, миль пардон. Лизанька, поцелуй такого сорта, что спор неизбежен. Если бы я вам рассказал, какие люди добивались ее поцелуя!

ЛИЗАНЬКА (*пьяна*): И добились...

АМЕТИСТОВ: Пардон-пардон. (*За сценой начинается фокстрот под рояль, слышно, как шаркают ногами, танцуют*). Пардонъ-пардон. Я Лизаньку поцеловал однажды и после этого рыдал два месяца... Ой, пардон...

РОБЕР: Лизанька, я жду.

ЛИЗАНЬКА: А я? Да разве я черствая дура в пенсне...

РОБЕР: Молодой человек, полегче...

АМЕТИСТОВ (*вскакивает на стол, зажимает над Лизанькой ланту, придает Лизаньке позу*): Рынок невольниц в Алжире или Тунисе. По желанию почтенной публики, поцелуй Лизаньки продается с аукциона. Основная цена... пять рублей.

РОБЕР: Шесть.

АМЕТИСТОВ: Я принимаю вашу цену. Шесть — раз.

ЛИЗАНЬКА (*с гитарой*): Еще — раз.

АМЕТИСТОВ: Шесть — два. (*Стучит молотком*).

ПОЭТ: Семь рублей.

АМЕТИСТОВ: У пьянино — семь рублей. Благодарю вас, семь — раз.

ЛИЗАНЬКА: Еще много, много раз.

РОБЕР: Восемь.

ПОЭТ: Девять.

АМЕТИСТОВ: Благодарю вас. Девять. (*Распахивается занавеска и из ниши выходит Курильщик*).

КУРИЛЬЩИК: Одиннадцать.

АМЕТИСТОВ: Вы восхищаете меня. Одиннадцать — раз. Одиннадцать — два.

РОБЕР: Держу.

ЗОЯ (*внезапно*): Поцелуй Лизаньки — одиннадцать рублей! Я стыжусь, господа. Тогда я даю пятнадцать.

АМЕТИСТОВ: Гран мерси. Фирма бьет, фирма не уступит. Пятнадцать — раз, пятнадцать — два. (*Зоя исчезает, все время звучит фокстрот за сценой*).

РОБЕР: Держу.

КУРИЛЬЩИК: Шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать...

ЛИЗАНЬКА: Еще много, много раз...

АМЕТИСТОВ: Наша везет. В нише двадцать. В нише два червонца — раз, два.

ПОЭТ: Лизанька, я вас теряю. Лиза, прочти книгу моих стихов.

АМЕТИСТОВ: Двадцать — три. Я поздравляю вас, счастливцев.

(Курильщик достает бумажник).

(Зоя появляется, как из-под земли, принимает два червонца. Один из них протягивает Лизаньке, та прячет его в чулок).

КУРИЛЬЩИК *(поднимается на стол, разочарованно)*: Ах, я думал, что это мальчик.

РОБЕР *(саркастически)*: Пропали ваши два червонца, молодой человек.

ЛИЗАНЬКА: Это нахальство.

(Зоя исчезает).

АМЕТИСТОВ: Пардон-пардон. Желание клиента в этом доме — непреложный закон. За неисполнение — расстрел. *(Интимно курильщику)*. В следующий раз будет громадная партия мальчиков.

КУРИЛЬЩИК: Да, да. *(Уходит медленно, бормочет)*: Мой златокудрый Апполон. *(Скрывается в нише)*. Дарю.

ПОЭТ: Я понимаю этого человека, Лизанька: он подарил вам поцелуй мне.

РОБЕР: Объедочками питаетесь, молодой человек. *(Уходит)*.

(Поэт целует Лизаньку, обнимает ее и в фокстроте уносится с ней).

АМЕТИСТОВ *(философски)*: Почему всегда долгогривые шарамыги бывают. *(Исчезает. Фокстрот за сценой принимает несколько адский характер. Взрывы хохота. Опять глухой вопль мертвого тела. Не разберешь, что он кричит. В фокстроте влетает Иванова с фокстротчиком).*

ФОКСТРОТЧИК: Вы танцуете совершенно исключительно. *(Напевает)*. Пам-пам-пам.

ИВАНОВА: В вашем профиле есть что-то греческое.

(*Лизанька проносится в фокстроте с поэтом*).

ПОЭТ: Лизанька, в этом фокстроте звучит что-то inferнальное, в нем нарастающее мучение без конца.

ЛИЗАНЬКА: Лам-ца-дрица-ца-ца-ца. (*Улетает*).

МЫМРА (*проносится в фокстроте с Робером*): Вы, вероятно, страшно страстный. Ах, я страшно люблю мужчин в пэнснэ!

РОБЕР: Благодарю вас. (*Уносятся*).

МЕРТВОЕ ТЕЛО (*выплывает с хриплым пением*): Из-за острова на стрежень, на простор речной волны. Басы полетче. Выплывают расписные Стеньки Разина челны.

ХЕРУВИМ (*выходит из ниши*).

МЕРТВОЕ ТЕЛО: Позвольте вас просить, мадам.

ХЕРУВИМ: Я не мадам есте.

МЕРТВОЕ ТЕЛО: Что за чорт! К кому не тянешься — все не мадам, да не мадам... А сулили девочек.

ХЕРУВИМ (*исчезает*).

МЕРТВОЕ ТЕЛО: И за борт ее бросает в набежавшую волну. (*Подходит к манекену*). Ага, наконец-то дама. Мадам, один тур. Улыбайтесь, улыбайтесь, улыбайтесь. Только смотрите, чтобы вам потом плакать не пришлось. Вы, может быть, думаете, что я пьян? Жестоко ошибаетесь. (*За сценой ликует фокстрот. Обнимает манекен за талию и танцует с ним*). Сколько вам лет, милочка? Неужели? Никогда бы не дал. Никогда в жизни не держал в руках такой талии... (*Танцует, рыдая. Кричит тоскливо*): Долой присяжного поверенного Робера, захватившего всех дам! Уйди, подлец! (*Бросает манекен на диван*). Глаза б мои на тебя не глядели.

АМЕТИСТОВ (*внезапно*): Пардон, пардон. Чего же вы расстроились, почтенный Иван Васильевич? Что вы, что вы! Чего вам не хватает в жизни?

МЕРТВОЕ ТЕЛО: Погоди, погоди! Вот придут наши, я вас всех перевешаю. (*Поет уныло*). Пароход идет прямо к пристани, будем рыб мы кормить коммунистами...

АМЕТИСТОВ: Неудобно, неудобно, Иван Васильевич. Позвольте я вам нашатырного спирта накапаю.

МЕРТВОЕ ТЕЛО: Так, так. Новое оскорбление. Все лакают шампанское, а мне нашатырного спирту.

АМЕТИСТОВ: Пардон, пардон, Иван Васильевич. Вы переутомились.

РОБЕР: Боже мой, Иван Васильевич, ну как тебе не стыдно! Где ты? Ну ты подумай, как тебе не совестно! Где ты? В "Новой Баварии" что ли? Ты посмотри, какие женщины!

МЕРТВОЕ ТЕЛО: Да, спасибо. *(Указывает на манекен)*.

РОБЕР: Иван Васильевич, постыдись!

МЫМРА *(появляется)*: Иван Васильевич, миленький, что с вами?

АМЕТИСТОВ: Иван Васильевич, пожалуйста в столовую, вам необходимо подкрепиться.

МЫМРА: Негодный, я буду вашим спутником, хотя вы этого не заслужили.

МЕРТВОЕ ТЕЛО: Пойди от меня к чертям. Ты предатель.

МЫМРА: Вы не узнаете меня? Я сидела рядом с вами за ужином.

МЕРТВОЕ ТЕЛО: Ну что же, что сидела. И она сидела. *(Указывает на Аметистова)*. А какой толк?

РОБЕР: Опозорил ты меня навеки, Иван Васильевич. Наталия Николаевна, примите мое глубокое извинение. Ну, хотите я на колени встану?

МЫМРА: Ах, что вы, что вы.

РОБЕР *(на коленях)*: Не сердитесь на него. У него, в сущности, золотое сердце. Он из Ростова-на-Дону, домовладелец, симпатичнейшая личность. Но, понимаете, вот...

МЕРТВОЕ ТЕЛО: Унижайся, унижайся, как насекомое.

АМЕТИСТОВ *(Мымре)*: Наталия Николаевна, берите-ка его под ручку. Иван Васильевич, пожалуйста, пожалуйста.

МЕРТВОЕ ТЕЛО: Спасибо тебе. Один ты порядочный человек. Володя, поцелуемся. Я тебя знаю, подлец, ты из Воронежа.

АМЕТИСТОВ: Мерси, Жоржик. Наталия Николаевна, действуйте, а то что же, в самом деле, Иван Васильевич, как беспризорный.

(Мымра увлекает Мертвое Тело. Аметистов устремляется за ними).

ЗОЯ (*вырастает из-под земли*): Справились?

РОБЕР: Зоя Денисовна, примите мои глубочайшие извинения от имени Ивана Васильевича тоже.

ЗОЯ: Ну, какие пустяки! Бывает, бывает.

РОБЕР: У него острое малокровие. Он из Ростова-на-Дону, шампанское бросилось в голову. На коленях молю у вас.

ЗОЯ: Ах, что вы, что вы! Ну какие пустяки! Бывает. Только... я не знаю, как я с ним распрощаюсь... Он плохо отдает себе отчет в происходящем.

РОБЕР: Помилуйте, Зоя Денисовна, я сию же секунду улажу этот вопрос. Сколько я вам должен?

ЗОЯ: 210 рублей.

РОБЕР: Слушаю-с. Иван Васильевич тоже?

ЗОЯ: Да.

РОБЕР: Слушаю-с. (*Достает деньги*). 210 и 210 — это 400...

ЗОЯ: 20.

РОБЕР: Точно так. Какие у вас математические способности, Зоя Денисовна. Мерси, мерси. От имени Ивана Васильевича тоже... Вечер у вас поразителен. (*За сценой гремит фокстрот*). Зоя Денисовна, окажите мне честь. Один тур.

ЗОЯ: Ах, я стара.

РОБЕР: Зоя Денисовна, вы не имеете права говорить такие вещи. Это звучит кощунственно.

(*Устремляется в танце с Зоей*).

МЕРТВОЕ ТЕЛО (*выскакивает с криком*): Берегись, сказал Казбеку седовласый Шат...

РОБЕР: Это кошмар, Иван Васильевич.

АМЕТИСТОВ (*выскакивая*): Иван Васильевич.

ЗОЯ: Александр Тарасович, успокойте. (*Исчезает*).

АМЕТИСТОВ: Коньяк и шампанское лил. Ах, ты, Господи. Жестокая шутка... Иван Васильевич... Херувим...

ХЕРУВИМ (*вышел*).

МЕРТВОЕ ТЕЛО: Убрать китайцев и латышей. (*Аметистов и Робер увлекают Мертвое Тело. Херувим в позе китайского божка остается в нише. В его алмазных глазах забота*).

МАНЮШКА (*выскакивает в русском костюме с пустым*

подносом): Ты что же, дурачок, такой скучный сидишь?

ХЕРУВИМ: Я, Мануска, мал-мало думаю, куда Газолин пропал.

МАНЮШКА: Ну, куда пропал! Ключ в кармане был, отпер да выскочил.

ХЕРУВИМ: Нет, Мануска, мы мал-мало скоро беги будем.

МАНЮШКА: Куда там беги! Ну, давай, давай, дурачок, пока никого нету. *(Обхватывает Херувима)*.

ХЕРУВИМ: Я китайски танцевать умею. Московски пар-сиви не умею.

МАНЮШКА: Дурачок, фокстрот лучше. У-увалень. На ноги не наступай.

АМЕТИСТОВ *(появляется)*. Это трогательно.

(Манюшка упорхнула).

АМЕТИСТОВ: Херувим, сейчас должна придти Алла Вадимовна. Понял? Задержи ее в передней и вызови меня или Зою Денисовну. Понял?

ХЕРУВИМ: Понял.

(Аметистов исчезает. Херувим уходит за занавеску).

(За сценой буйно и весело под рояль поют "Светит месяц").

ГУСЬ *(пьян)*: Гусь, ты пьян. До чего ты пьян коммерческий директор тугоплавких металлов. Не может изъяснить язык. Ты один только знаешь, почему ты пьян, но никому не скажешь, ибо мы, Гуси, гордые. Вокруг тебя Фрины и Аспазии вертятся, как легкие серфиды и все увеселяют тебя, директора. Но ты не весел. Душа твоя мрачна. Почему? Ответь мне. *(Манекену)*. Тебе одному, манекен французской школы, я доверю свою тайну. Я...

ЗОЯ *(внезапно)*: Влюблен.

ГУСЬ: А, Зояка! Вот так мастерская! Ай да пошивочная! Ну, ничего, ничего. Ты гениальная женщина. Хочешь, я выдам тебе удостоверение: предъявительница сего есть, действительно, есть действительно гениальная предъявительница. Иди, я тебя расцелую в твои щеки французской школы. Но никому, никому и никогда. Зоя, змея обвила мое сердце и я догадываюсь, что она дрянь.

ЗОЯ: Гусь, стоит ли мучиться, ты найдешь другую.

ГУСЬ: Ах, нет, не найду. Но все равно. Зоя, покажи мне когонибудь, чтобы я хоть на время забыл про нее и вытеснил ее из своего сердца, потому что иначе в Москве произойдет катастрофа: Гусь разрушит на Садовой свою семейную жизнь с двумя малютками и уважаемой женой... двумя малютками, похожими на него, как червонец на червонец.

ЗОЯ: О, мой Гусь, мой старый приятель! Подожди только несколько минут и ты увидишь такую женщину, что забудешь все на свете. И она будет твоя, потому что кто ж с тобой, Гусем, может тягаться.

ГУСЬ: Спасибо тебе, Зойка, за такие слова. Зойка, я хочу тебя наградить. Сколько я тебе должен?

ЗОЯ: Такие вечера мы устраиваем вскладчину, но вы мой друг и гость. Я с вас ничего не возьму.

ГУСЬ: Ах, ты не хочешь брать! Ну, а я хочу давать. Гусь широк, как Волга, когда пылает его душа. Зоя, бери триста рублей.

ЗОЯ: Мерси.

ГУСЬ: И зови их всех. Сзывай, сзывай сюда всех. (*Играет на губах кавалерийский сигнал*). Я буду всех награждать.

АМЕТИСТОВ (*вырос из-под земли*): Всякий труд достоин награды. Пардон, пардон.

ГУСЬ: Администратор, ты устроил на Садовой улице в Москве Париж, в котором отдохнула моя измученная душа. Прими.

АМЕТИСТОВ: Данке зер. (*Манит пальцем кого-то из-за занавески*).

(*Лизанька и Иванова появляются*).

ГУСЬ: Вы прямо весталки. (*Дает деньги*).

ЛИЗАНЬКА: Радые стараться, ваше превосходительство.

ГУСЬ (*целует Иванова*): Нет, не то.

ИВАНОВА: В вас есть что-то азиатское.

ГУСЬ: Эх, азиатское! (*Целует Лизаньку*). Нет, не то.

ЛИЗАНЬКА: Директор, какие у вас мозги! Просто она душиется другими душами.

ГУСЬ: Нет.

(*Херувим входит*).

ГУСЬ: А, китаец! Получай, Херувим! Кому бы мне еще дать? Покажите мне кого-нибудь еще, чтоб я мог его озолотить.

ЗОЯ: Не надо, Борис Семенович. Ваша щедрость не по советским временам.

ГУСЬ: Не бойся, Зоя. Трудно Гуся выставить из денег.

(Манюшка появилась).

ГУСЬ: Светит месяц, говоришь? Ну, свети, свети. *(Дает деньги).*

МАНЮШКА: Мерси.

ПОЭТ *(выскакивает с криком)*: Лизанька, где же вы?!

ГУСЬ: На.

ПОЭТ: Что вы, уважаемый Борис Семенович!

ГУСЬ: Не возражать!

ПОЭТ: Тогда разрешите, уважаемый Борис Семенович, поднести вам книжку моих стихов.

ГУСЬ: Не разрешаю, обратитесь к моему секретарю.

ПОЭТ: Ничего не понимаю.

АМЕТИСТОВ *(отдернул занавеску, выводит Оболянинова)*: Мсье Оболянинов.

ГУСЬ *(Оболянинову)*: На...

ОБОЛЯНИНОВ: Мерси. Когда изменятся времена, я вам пришлю моих секундантов.

ГУСЬ: Дам, дам, и им дам.

(За сценой взрыв мужского хохота).

ГУСЬ *(манекену)*: На...

АМЕТИСТОВ: Маэстро, марш в честь Бориса Семеновича.

(Оболянинов играет на пианино марш, под него все торжественно выходят).

(Аллилуя появился внезапно из передней. Изумлен).

ЗОЯ: Что это значит, любезнейший? Чему обязана этим ночным визитом? Как вы пробрались без звонка?

АЛЛИЛУЯ: Извиняюсь, Зоя Денисовна, у меня ключи от всех квартир. Ай да Зоя Денисовна, ай да показательная! Ну, таперича понятно. Открыли вы, Зоя Денисовна...

ЗОЯ: Аллилуя, вы наглец. *(Дает ему деньги).* Молчать. *(Шепотом).* Когда все разойдутся, приходите, мы потолкуем. Уладим, Аллилуя, не волнуйтесь.

АЛЛИЛУЯ: Это другой разговор. *(Исчезает)*.

АМЕТИСТОВ *(появляется)*: Маэстро, прошу в залу к роялю. Гости просят уан степ.

ОБОЛЪЯНИНОВ: Хорошо.

ЗОЯ: Павлик, ничего, потерпите, потерпите.

ОБОЛЪЯНИНОВ: Я терплю. "Напоминают мне они". *(Зоя, Аметистов и Обольянинов уходят. Тихий звонок)*.

(Херувим пробегает в переднюю, потом таинственно обратно).

ЗОЯ *(пробегает в переднюю. В это время Херувим задерживает занавеску и закрывает двери)*. Ну, скорее проходите сюда, я вас сейчас, Аллочка, выпущу сюрпризом для них.

АЛЛА *(в вуали)*: Сюда?

ЗОЯ: Сюда. *(Проходят)*.

(За сценой говор, гул).

АМЕТИСТОВ: Пардон, пардон. Прошу, господа. *(За Аметистовым выходят: Поэт, Лизанька, Мымра, Иванова, Фокстротчик, Зоя, Робер под руку с Мертвым Телом, Гусь)*. Пожалуйста. *(Отдергивает занавеску, выходит Курильщик, все усаживаются)*.

РОБЕР: Вы прямо фея, Зоя Денисовна. Гениально!

МЕРТВОЕ ТЕЛО: Как не гениально! Нашатырным спиртом! В Ростове за такие вещи в морду бьют.

РОБЕР: Это ужасно! Зоя Денисовна, простите.

ЗОЯ *(Гусю)*: Сюда, Борис Семенович, пожалуйста. *(Усаживаются)*.

АМЕТИСТОВ *(у занавеса)*: Сиреневый туалет. Демонстрирован на вечере у Президента Французской Республики. Цена — 6.000 франков. Ателье! *(Херувим отдергивает занавес. На эстраде сирень)*. Маэстро, прошу.

(Обольянинов начинает страстный вальс. Алла на эстраде выступает под музыку).

ВСЕ: Браво, браво!

ГУСЬ: Что такое? Что такое? Очень хорошо!

ПОЭТ: Очень хорошо!

ВСЕ: Браво, очень хорошо!

АЛЛА: Ах!

ГУСЬ: Ах! Как вам нравится этот “ах”. Очень хорошо! Замечательно, Алла Вадимовна!

(Все аплодируют).

ГУСЬ: Нет, это мой сосед!

АЛЛА: Как вы попали сюда?

ГУСЬ: Как вам это нравится! А? Она спрашивает, как я сюда попал, в то время как я должен спросить ее, как она сюда попала!

РОБЕР: Вот так штука!

АЛЛА: Я поступила модельщицей.

ГУСЬ: Модельщицей! Женщина, которую я люблю, женщина, на которой я, Борис Гусь-Ремонтный, собираюсь жениться, бросив супругу и пару малюток, очаровательных ангельчиков, — она поступает в модельщицы! Да ты знаешь ли, несчастная, да, именно несчастная, куда ты попала?

АЛЛА: Конечно, знаю! В ателье!

ГУСЬ: Ну, да, оно пишется “Ателье”, а выговаривается “Веселый Дом”...

(Оболянинов прервал вальс).

ВСЕ: Что такое? Что такое? Что такое?

ГУСЬ: Видали вы, дорогие товарищи, такое ателье, где костюмы показывают под музыку?

МЕРТВОЕ ТЕЛО: Правильно! Бей их!

АМЕТИСТОВ: Пардон, пардон.

ПОЭТ: Что такое произошло?

ЗОЯ: Ага! Теперь понятно! *(Передразнивая)*: “У меня никого нет, Зоя Денисовна, с тех пор, как умер мой муж...” Ах, вы дрянь, ах, вы ломака! Ведь я же вас спрашивала, предупреждала! Спасибо, Аллочка, за скандал.

ПОЭТ: В чем дело?

РОБЕР: Понятно, в чем дело. Хи-хи!

ПОЭТ: Уважаемый Борис Семенович...

ГУСЬ: Вон! Спасибо вам, Зоя Денисовна, спасибо, спасибо! Вы мне в качестве модельщицы выставили мою невесту! Мерси!

МЕРТВОЕ ТЕЛО: Слава тебе Господи! Развеселились!

АЛЛА: Я не невеста вам.

ГУСЬ: Я с нею живу, между нами.

МЕРТВОЕ ТЕЛО: Ура...

АМЕТИСТОВ: Пардон, пардон, Иван Васильевич...

РОБЕР: Интереснейшая история!

ГУСЬ: Зоя, убери их всех. Убери эту рвань.

ФОКСТРОТЧИК: Позвольте!

РОБЕР: Ну, уж вы будьте добры, полегче, Борис Семенович.

ПОЭТ: Это задевает достоинство.

ЛИЗАНЬКА: Урок: не бери со стороны. Сюрприз, сюрприз!

ГУСЬ: Вон все!

ОБОЛЪЯНИНОВ: Что такое?

ЗОЯ: Господа, господа! Мне крайне неприятно... Маленькое недоразумение, оно сейчас разъяснится. Господа, я очень прошу всех в зал. Будьте добры, пожалуйста. Прошу вас, Лизанька, Александр Тарасович, уладьте.

АМЕТИСТОВ: Пардон, пардон, прошу, господа, пожалуйста. Маэстро, в зал. Господа, такие происшествия нередки в высшем свете. Прошу.

ЗОЯ: Павлик, фокстрот немедленно в зале. Мадам Иванова: ИВАНОВА (*Фокстротчику*): Идемте. (*Обхватывает его*). (*Оболянинов за сценой начинает фокстрот*).

ГУСЬ: Ты, ты...

АМЕТИСТОВ: Пожалуйста, пожалуйста. Маленькое объяснение и общий грандиозный фокстрот. (*Выталкивает всех*).

РОБЕР (*Мыре*): Ну, что же, мадемуазель, прошу вас. (*Все исчезают, кроме Зои и Курильщика*).

ЗОЯ: Сашка, уладь, уладь, уладь. (*Исчезает. Закрывает за собою дверь*).

КУРИЛЬЩИК: Я не люблю шуму. Я не люблю шуму. Пожалуйста, поблагодарите мадам Пельц и передайте ей...

АМЕТИСТОВ: Мерси, пардон. (*Принимает деньги*). Херувим, выпусти.

(*Курильщик уходит с Херувимом. На сцене остаются Алла и Гусь, через некоторое время появляется Амелистов и во все время объяснения выльдывает из-за занавески. За сценой начинается фокстрот, слышно, как танцуют*).

ГУСЬ: Ателье...

АЛЛА: А как же вы попали в это ателье?

ГУСЬ: Кто? Я? Я? Я — мужчина. Я хожу в брюках, а не в платье, на котором разрез до самой шеи. Я хожу сюда потому, что ты выпила из меня всю кровь. А ты? А ты зачем?

АЛЛА: За деньгами.

ГУСЬ: Ты это сделала сознательно?

АЛЛА: Совершенно сознательно.

ГУСЬ: Так-с. Видали вы, граждане, сознательную женщину, сознательные поступки? Нечего сказать! Зачем тебе деньги?

АЛЛА: Я уеду за границу.

ГУСЬ: Не дам. Опять эта чертова граница! Не дам!

АЛЛА: Вот я и хотела здесь взять.

ГУСЬ: У тебя было бы все. Даже птичье молоко. Я семь раз делал тебе предложение. За границу! Как же, границей уже все дожидаются. Отчего это Алла Вадимовна не едет? Президент в Париже волнуется.

АЛЛА: Да, волнуется. Только не президент, а мой жених.

АМЕТИСТОВ: Скажи, пожалуйста!

ГУСЬ: Кто, кто, кто? Жених? Ну, знаешь, если у тебя есть жених, тогда ты знаешь, кто ты? Ты — дрянь.

АЛЛА: Нет, не дрянь. Не смейте оскорблять меня. Я поступила нехорошо тем, что скрыла это, но ведь я никак не предполагала, что вы влюбитесь в меня. Я хотела взять у вас деньги на границу и удрать.

ГУСЬ: Бери, бери, но только оставайся.

АЛЛА: Ни за что! Где угодно достану и уеду.

ГУСЬ: А, теперь, когда она в моих кольцах, так она и в другом месте достанет! Ты посмотри на свои пальцы.

АЛЛА: Натё, нате! *(Бросает кольца)*.

ГУСЬ: К чорту кольца! Отвечай, сколько времени ты здесь?

АЛЛА: В первый раз сегодня.

ГУСЬ: Лжешь, кобра!

АЛЛА: И не думаю лгать. Мне так надоело лгать.

ГУСЬ: Ну, хорошо. Сию минуту слезай с этого помоста. Ты пойдешь со мной или нет?

АЛЛА: Нет, не пойду!

ГУСЬ: Нет? Считаю до трех: раз, два. Ты отвечай! Считаю до десяти.

АЛЛА: Бросьте это, Борис Семенович. И до сорока не пойду. Не люблю.

ГУСЬ: Ты проститутка.

(Алла плюет на Гуся).

ГУСЬ (в исступлении): Попрошу не плевать!

АМЕТИСТОВ: Пардон, пардон и не курить. Разменом денег не затруднять, через площадку не входить, Борис Семенович.

ГУСЬ: Виноват. Попрошу вас выйти отсюда.

АМЕТИСТОВ: Пардон, пардон.

ГУСЬ: Я вам говорю, виноват.

ЗОЯ (как фурия): Спасибо, спасибо, великосветская дрянь. Спасибо за именинный вечер.

АЛЛА: Не смейте оскорблять меня, Зоя Денисовна. Мне в голову не пришло, что Борис Семенович может посещать мастерскую. Туалет я вам верну.

ЗОЯ: Я вам его дарю. За глупость. Идиотка.

АЛЛА: Боже мой... Боже мой.

ЗОЯ (Аметистову): Выпускай ее.

АМЕТИСТОВ: Алла Вадимовна, Алла Вадимовна.

ГУСЬ: Стой! Куда? Заграницу?

АЛЛА: Издохну, но сбегу.

ГУСЬ: Ну, так вот: не будь я Гусь-Ремонтный, если вы не получите пиш вместо заграницы. Увидите вы визу!

АЛЛА: Без визы удеру. (Мертвое Тело в дверях).

МЕРТВОЕ ТЕЛО: Позвольте, самое интересное без меня.

РОБЕР: Иван Васильевич. (Увлекает его назад. За сценой фокстрот).

ГУСЬ: Без визы? Не удастся. (За сценой шум, фокстрот оборвался).

ОБОЛЬЯНИНОВ (в дверях): Я прошу не оскорблять женщину.

ГУСЬ: Пианист, уйди.

ОБОЛЬЯНИНОВ: Простите, я не пианист.

ЗОЯ: Павлик, сейчас же играйте. Что вы делаете?

(Обольянинов исчезает).

ГУСЬ: Будете вы вещи на Смоленском продавать. Вы попадете в больницу и посмотрю я, как вы в вашем сиреневом туа-

лете... Ах, ах... (*Фокстрот то обрывается, то вспыхивает вновь*).

ЗОЯ: Манюшка, Манюшка!

(*Манюшка появилась. Аметистов выпускает Аллу Вадимовну, Алла убегает с Манюшкой*).

ГУСЬ: Алла! Люблю! Алла, вернись! Я тебе визу достану, визу! (*Ложится на ковре ничком*).

ЗОЯ: Успокаивай, успокаивай. (*Исчезает*).

(*Манюшка пробегает через сцену и исчезает*).

АМЕТИСТОВ: Коврик грязный. Все устроится. Одна она что ли на свете? Плюньте! Она даже и некрасива. Так — ординер.

ГУСЬ: Скройся! Оставь меня одного. Я буду тосковать.

АМЕТИСТОВ: Отлично, потоскуйте. Я возле вас здесь ликерчик поставлю и папироски. Потоскуйте. (*Исчезает, закрыв двери. Глухо фокстрот*).

ГУСЬ: Гусь тоскует. Ах, до чего Гусь тоскует! Отчего ты, Гусь тоскуешь? Оттого, что потерпел непоправимую драму. Ах, я бедный Борис! Всего ты, Борис, достиг, чего можно и даже больше этого. И вот ядовитая любовь сразила Бориса и он лежит как труп в пустыне — и где? На ковре публичного дома. Я — коммерческий директор! Алла, вернись!

АМЕТИСТОВ: Пардон, пардон. Тихонечко, а то внизу пролетариат слышит. (*Скрывается*).

ГУСЬ: Ах, я несчастный! Алла, вернись!

(*Херувим крадучись*).

ГУСЬ: Уйди, я тоскую.

ХЕРУВИМ: Тоскуеси? Зацем тоскуеси? Ты очень важный. Цего тоскуеси мал-мало?

ГУСЬ: Не могу видеть ни одного человеческого лица, только ты один симпатичный, Херувим, китайский человек. Печаль меня терзает и от этого я нахожусь на ковре.

ХЕРУВИМ: Пецаль. Я тоже пецаль.

ГУСЬ: Ах, китаец! Чего тебе печалиться? У тебя все еще впереди. Ты еще в профсоюз можешь поступить, Алла...

ХЕРУВИМ: Мадам обманула. Все мадам sibko нехоросие

мал-мало. Ну, ну, сто? Другую мадаму забираетесь. Много мадама в Москве.

ГУСЬ: Нет, не могу я себе достать другую мадаму.

ХЕРУВИМ: Тебе деньги нет?

ГУСЬ: Ах, ты симпатичный китаец! Разве может быть такой случай на свете, чтоб Гусь не имел денег! Но вот одного не может голова придумать, как эти деньги превратить в любовь. Ах, китаец мой, на, смотри!

ХЕРУВИМ: Сколько много цирвонцев!

ГУСЬ: Утром получил пять тысяч, а вечером такой удар, от которого я свалился. Я лежу на большой дороге и пусть каждый на побежденного Гуся плюет, как Гусь плюет на червонцы. Тьфу, тьфу!

ХЕРУВИМ: Плюешь деньги. Смесной. У тебя денга есть, мадама нету. У мене мадама есть, диенги нет... Дай погладить червонцы.

ГУСЬ: Гладь.

ХЕРУВИМ: А, червончики, червончики, миленькие.

ГУСЬ: Как мне забыться? Алла!

(Херувим ударяет Гуся под лопатку ножом. Гусь умирает).

ХЕРУВИМ: Червонци. Теплый Санхай. *(Усаживает Гуся в нише в качалку и дает в руки трубку).*

АМЕТИСТОВ *(взянув)*: Где он?

ХЕРУВИМ: Тс... я ему дал курить. Никто не ходи. Он очень сапаконный.

АМЕТИСТОВ: Молодец, ходя. *(Исчезает).*

ХЕРУВИМ: Мануска, Мануска!

МАНЮШКА: Чего тебе?

ХЕРУВИМ: Тс... Мануска. Сидас — Санхай бежи. Бежи вокзал.

МАНЮШКА: Что ты, что ты, очумел? *(За сценой Мымра поет: "Покинем, покинем край, иде мы так страдали..." (Аплодисменты)).*

ХЕРУВИМ: Сидас мокла беда будет. Цирвонци имеем.

МАНЮШКА: Ты что такое сделал, чорт?

ХЕРУВИМ: Гусь резал.

МАНЮШКА: А-а-а, дьявол! Господи Иисусе, Царица небесная!

ХЕРУВИМ: Беги, тебе резать будем.

МАНЮШКА: Господи... *(Исчезает с Херувимом в переднюю)*.

АМЕТИСТОВ: Борис Семенович, я на минуточку, проверить. Херувим! Борис Семенович, пардон, пардон, лежите? Ну, лежите, лежите. Только как же это он вас одного оставил? Вы с непривычки можете перекурить. Ну, вот, и ручка холодная. А-а! Что?! Сукин кот! Бандит! Мокрое дело! Этого в программе не было. Как же теперь быть? Все засыпались, разом крышка, гроб. Херувим, Херувим! Ну, конечно: ограбил и ходу дал. Батюшки, кормильцы! А я-то идиот! Что теперь делать, дорогие товарищи... Деньги на текущем. Завтра его хватятся. Вот тебе и Ницца, вот тебе и заграница. Аминь! *(Подходит к пианино, машинально наигрывает: "Вечер был, сверкали звезды")*. Что же это я сижу? А, ходу! *(Вбегает в спальню, взламывает стол, забирает деньги, сбрасывает фрак, надевает френч и кепку)*. Верный мой товарищ, чемодан. Опять с тобой вдвоем. Но куда... Объясните мне теперь, куда податься? Судьба ты моя, судьба. Звезда ты моя горемычная. Прикупил к пятерке дамбле. Ходу! Ну, Зочка, прощай! Прощай Зойкина квартира!

ЗОЯ: Александр Тарасович, Александр Тарасович! Борис Семенович? Один? Вы не сердитесь на меня, правда? Чем же я виновата? Я совершенно не понимаю Аллу Вадимовну. *(Глухо вскрикивает)*. Что это такое? Что это такое? *(Видит брошенный фрак)*. Да неужели это он? Негодяй! Судьба моя! Манюшка, Манюшка, Манюшка! *(Мечется)*. И они! Это немисливо. *(Открывает дверь, зовет)*: Павел Федорович, на минутку. Господа, простите.

ОБОЛЪЯНИНОВ: Что такое, Зочка?

ЗОЯ: Павлик, стряслась беда. Эти негодяи — китаец с Амелистовым — убили Гуся. Ужас! И Манюшка с ними участвовала, и пока мы там сидели — бежали.

ОБОЛЪЯНИНОВ: Как вы странно шутите, Зоя.

ЗОЯ: Опомнитесь, Павлик, в калачке труп. Он в крови. Я чуть с ума не сошла. Мы пропали!

ОБОЛЪЯНИНОВ: Позвольте, но ведь это ужасно! Нас же никто не может обвинить в убийстве. Если эти мерзавцы... При чем же мы здесь, я не постигаю.

ЗОЯ: Не только не могут, но наверное обвинят. Павлуша, нельзя терять ни одной минуты. Документы есть. Деньги в спальне. *(Бросается в спальню. За сценой глухая музыка, изредка аплодисменты).*

(Оболяянинов бросается вслед за Зоей. Пауза. Из передней появляются: Пеструхин, Ванечка, Толстяк, Газолин. Все, кроме Газолина, в смокингах и пальто).

ПЕСТРУХИН: Тек-с бре-ке-ке-кс.

ГАЗОЛИН: Херувим всегда ножом ходит. Херувимку надо брать первого.

ТОЛСТЯК: Тише ты, не расстраивайся.

ПЕСТРУХИН *(указывая на Гуся)*: Это что ж, накурился?

ВАНЕЧКА: Да, фатерка.

ПЕСТРУХИН: Тише. *(Прячутся в передней за занавеской).*

ЗОЯ *(выбегает со взломанной шкатулкой)*: Так. Нет денег. Прохвост, прохвост! Сашкина работа. Путниковский. Вор и убийца.

ОБОЛЪЯНИНОВ: Зоя, я ничего не постигаю, что происходит у нас в квартире?

ЗОЯ: Некогда постигать.

ОБОЛЪЯНИНОВ: А эти гости?

ЗОЯ: Павлуша, чорт с ними. Некогда постигать. Бежим, бежим! *(Бросается к передней).*

ПЕСТРУХИН: Виноват. Попрошу не спешить, гражданочка.

ЗОЯ: Ах...

ПЕСТРУХИН: Мадам Пельц?

ВАНЕЧКА: Абсолютно. Она.

ЗОЯ: Кто это? Кто это? Кто вы? Павлуша, это бандиты. Они зарезали Гуся.

ТОЛСТЯК: Спокойно, спокойно, мадам. Никого не режем. Мы с мандатиком. К порядку. Ванечка!

(Ванечка закрывает дверь на ключ, за дверями попрежнему музыка).

ЗОЯ: Кто вы такие? А... Позвольте... Поняла...

ОБОЛЪЯНИНОВ: Зоя, что происходит у вас в квартире?

Режут кого-то, потом сейчас же выходят в бальных костюмах!

ЗОЯ: Павлик, успокойтесь. Я поняла. Это уголовный розыск.

ПЕСТРУХИН: Вы угадали, мадам Пельц.

ВАНЕЧКА: Абсолютно, дамблэ.

ЗОЯ: Ага! Я не понимаю, как вы успели? Но вот что! я и Оболянинов никакого отношения к убийству не имеем. Это китаец, он приходил гладить юбки в мастерскую, я даже не знаю, как его зовут, и негодай Аметистов, которого я приютила. Они убили и бежали.

ПЕСТРУХИН: Кого убили?

ЗОЯ: Гуся. *(Все бросаются к трупу Гуся).*

ГАЗОЛИН: Херувим бежал...

ПЕСТРУХИН: Эге-ге, Ванечка, эх, вы! Говорил я, надо было брать Херувимку.

ГАЗОЛИН: Ванецка... Херувимку выпусти... Ванецка...

ТОЛСТЯК: Тише, тише, тише, тише, не расстраивайся. *(Суета).*

ПЕСТРУХИН: Кто за дверями?

ЗОЯ: Гости. У меня именины.

ПЕСТРУХИН: Ага, так.

ЗОЯ: Это никакого отношения к убийству не имеет.

ПЕСТРУХИН: Ванечка!

ВАНЕЧКА *(открывает двери)*: Ваши документы, граждане! *(За сценой сразу обрывается фокстрот).*

ТОЛСТЯК *(по телефону)*: Шесть, шестнадцать, два нуля, добавочный двенадцать. Товарищ Каланчев, я говорю. Я. Ну, я, я. Следователя и доктора. Садовая 105, квартира 104. На все вокзалы. Аметистов и Сен-дзинь-По — по кличке Херувим. *(Из внутренних дверей высыпают гости).* Всё.

ЗОЯ: Мария Горбатова.

ТОЛСТЯК: Знаем, мадам.

РОБЕР: Виноват, тут недоразумение. Я совершенно случайно попал.

ПОЭТ: Боже мой... Боже мой...

ЛИЗАНЬКА *(Мымре)*: Наташка, засыпались.

ИВАНОВА: Вот так номер.

ПЕСТРУХИН: Пожалуйста, пожалуйста, документики, гражданочки. (*Суета. Фокстротчик попытался улизнуть*).

ТОЛСТЯК: Виноват, виноват, куда же так спешить?

ФОКСТРОТЧИК: Я только танцевал, видите ли.

РОБЕР: Простите, в чем дело? Я не совсем понимаю... Семейные именины... Я...

ТОЛСТЯК: Как ваша фамилия, гражданин?

РОБЕР: Виноват, зачем же вам моя фамилия, когда семейные именины? Это законом не предусмотрено. Я сам юрист.

ТОЛСТЯК: В квартире убийство, гражданин юрист.

РОБЕР: Что-о?! Виноват...

ВСЕ: Что, что такое? Господа, позвольте!

МЫМРА: Гуся убили! (*Падает в обморок*).

РОБЕР: Помилуйте! Это чудовищно! Я совершенно не представляю, в чем дело!

ПОЭТ: Господи Иисусе! (*Крестится. Суета*).

ИВАНОВА: Муж! Что же мне делать?

ЛИЗАНЬКА: Сидеть будем без конца, лам-ца-дрица, ца-ца-ца.

МЕРТВОЕ ТЕЛО (*выплывает*): Слава тебе Господи... Наконец-то. Сулили барышень, то, другое... Скука дьявольская. Ни танцев, ни пения — ничего. Раздевайтесь, братцы, раздевайтесь, братишки. Мы сейчас такой тара-рам устроим.

РОБЕР: Заткнись, идиот. В квартире убийство. (*Суета*).

ПЕСТРУХИН: Ванечка, осмотрите, нет ли кого еще.

ВАНЕЧКА (*в дверях*): Никого нету, сухо, товарищ Пеструхин.

ГАЗОЛИН: Выпустили Херувимку, выпустили Херувимку.

ЗОЯ: Ах, вот что! Понимаю. Донос. Вот судьба! В самом деле, вы, ловкачи в смокингах, кого ж вы берете?

МЕРТВОЕ ТЕЛО: Кого берете, товарищи? А? Раздевайтесь.

ЗОЯ: Вполне приличного человека и гостей, а убийцы бежали, бежали.

ТОЛСТЯК: Что вы, мадам! Куда они убегут? По СССР бегать не полагается. Каждый должен находиться на своем месте.

ВАНЕЧКА: Абсолютно. (*Звонок*).

ПЕСТРУХИН: Тише. Ванечка, впустить. Граждане, ника-

ких разговоров о происшествии, за это строго ответите. Прошу соблюдать прежнее настроение. *(Звонок повторяется)*.

МЕРТВОЕ ТЕЛО: Совершенно правильно. Никаких разговоров. Шампанского, человек! *(Ванечка выпускает Аллилуя)*.

АЛЛИЛУЯ: Здравствуйте, граждане. Что, Зоя Денисовна, вечерок еще не кончился? Поздновато. Соседи обижаются. Ну, да, впрочем, дело именинное.

ТОЛСТЯК: Вы кто такой, гражданин?

АЛЛИЛУЯ: Довольно странно. Это я вас, председатель домкома, могу спросить, кто вы такой?

МЕРТВОЕ ТЕЛО: Верно. Я знаю, кто каналья из Воронежа.

АЛЛИЛУЯ: Довольно грубо, господин гость.

ТОЛСТЯК: Гуся знаешь?

АЛЛИЛУЯ: Да что это вы в самом деле? Я к Зое Денисовне, пропустите, пожалуйста.

ВАНЕЧКА: Отвечай, гражданин, на вопрос.

АЛЛИЛУЯ: Э! А вы кто же сами будете? А, Гуся! Как же, как же, знаю. Они в нашем доме проживают. Я, товарищи дорогие, давно начал замечать... Подозрительная квартирка. Все как-будто тихо и мирно. А вот не нравится, сосет у меня сердце и сосет. Я и сейчас, дорогие товарищи, для наблюдения прибыл. Подозрительная квартирка.

ЗОЯ *(внезапно)*: Для наблюдения! Ах, ты мерзавец! Слушайте, вы. Ну, если на то пошло — прекрасно он всё знал, что в квартире делается. Я ему деньги жлатила. У него и сейчас в кармане десятичервоная бумажка и я знаю номер.

(Аллилуя засунул в рот червонцы).

ТОЛСТЯК: Ты что же это, дефективный, червонцы грызешь?

АЛЛИЛУЯ: Я, товарищи, человек малосознательный, от станка. Испугался.

ТОЛСТЯК: Испугался. У тебя под носом Гуся режут, а ты червонцами закусываешь, председатель свинячий.

АЛЛИЛУЯ: Господи Иисусе! *(Падает на колени)*. Товарищи, принимая во внимание темноту и невежество, как наследие царского режима, равно также... считать приговор условным... что такое говорю и сам не знаю и не понимаю.

ТОЛСТЯК: Подымайся.

АЛЛИЛУЯ: Товарищ!

РОБЕР: Нельзя ли мне по телефону позвонить?

ТОЛСТЯК: Нет. Телефон — это отпадает.

ПЕСТРУХИН: Ванечка, забирайте. Граждане, пожалуйста.

ВАНЕЧКА: Пожалуйста ехать. *(Суета)*.

ЗОЯ: Это мой муж. Он очень тяжело болен, не может жить без морфия. Я заберу с собой лекарство. Уж вы, пожалуйста, не обижайте его.

ТОЛСТЯК: Пока, пока, — там его в лазарет поместят.

ОБОЛЪЯНИНОВ: Понимаю. Теперь у меня прояснилось в голове... вас подослали. Но скажите, почему вы в смокингах?

ВАНЕЧКА: Полагали в числе гостей побывать.

ОБОЛЪЯНИНОВ: К смокингу не надевают желтых ботинок.

ВАНЕЧКА: Ах, халтурщик, говорил я ему...

ПЕСТРУХИН: На лестнице, господа, никаких разговоров. За это ответите.

РОБЕР: Какие тут разговоры, — разве что о погоде.

ИВАНОВА: Лизанька, что мне делать, Лизанька?... Муж... муж...

МЕРТВОЕ ТЕЛО: Ура! Правильно! Ехать, так ехать, как сказал попугай. А то тут сдохнуть можно, в этой квартире, от скуки. *(Валится к пианино и играет бравурный марш)*.

ТОЛСТЯК: Переложили, гражданин.

ПЕСТРУХИН: Забрать его. *(Начинается выход всех. Все бормочут)*.

ВСЕ: Боже мой, Боже мой, что же это такое!

АЛЛИЛУЯ: Зойка, Зойка — первопричина всякого зла целиком и полностью, дорогие товарищи.

ПЕСТРУХИН *(Толстяку)*: Уберите последнего. Наружное наблюдение сюда в квартиру и по телефону на все вокзалы.

ГАЗОЛИН: Херувимку ловить, ловить.

ОБОЛЪЯНИНОВ: Зоя, неужели нас ведут в тюрьму? Зоя, вот видите!

ЗОЯ: Павлуша, будьте мужчиной. Я вас не брошу в тюрьме. Прощай, прощай, моя квартира.

З а н а в е с .

КОНЕЦ

М. Булгаков

БЕЛЫМ ПО БЕЛОМУ

Зима пришла в суровости,
А принесла снежновости.

Все поле снегом замело,
Белым-бело, мелым-мело,
На поле снеголым-голо,
И над укрытой тропкою,
Над стежкой неприметною,
Снегладкою, сугробкою,
Почти что беспредметною,
Туды-сюды, сюды-туды
Бегут снегалочки следы,
Как зимниероглифы,
Снегипетские мифы.

В лесу дубы немногие,
Снеголые, снежные.
Висят на каждой елочке
Снеговоздики, снегопочки.
И снеговая сосна
Стоит прямее дротика.
Сугробовая тишина.
Снеграфика. Снеготика.

ВЕСЕННЯЯ ШАРАДА

Повторяющимся чудом
Кажется круговорот:
Погребенное под спудом
Воскресает, что ни год.

Оживают в формах прежних
Корни трав и корни слов.
Глянь-ка: живо-кость, под-снежник,
Водо-сбор, боли-голов.

Чаро-действом перво-бытным
Занимается заря:
Небо стало оче-видным
Тлению благо-даря.

ЛИРИДЫ

От напора и задора
Небо яростно искрит:
Это мчатся метеоры
Из содружества Лирид.

Есть примета иль преданье:
Коль звезда летит в ночи,
Загадай скорей желанье,
А промедлишь — не взыщи.

Я гадал не по примете,
Я по-своему гадал,
Что несут мне звезды эти
Без концов и без начал.

Первая — алмазы в ней, но...
...рая — горстью серебра...
...тья — со всей прямолинейно...
...вёртая — дугообра...
...тая, без золы сгорая...
...стая строчек беззабо...
...мая ритмы и нечая...
....мая звездный разнобо...

А затем, как вдохновенье
(Мельк... ищи-свищи его!),
Озаренье, точка зренья,
Колдовство и мастерство:

Кратковременное чудо,
Длиннохвостая звезда,
Что пришла из ниоткуда
И умчалась в никуда.

Николай Моршен

МИСТИЦИЗМ ЧЕХОВА

Истинная тайна мироздания в видимом,
а не в невидимом.

О. Уайльд.

Знаете ли вы, что может быть глубочайшая глубь метафизики найдется где-нибудь в химии?

В. С. Печерин.

Существует ли для современного читателя более неожиданное сочетание слов? Чеховедам, вроде Балухатого и Нусинова, оно, во всяком случае, не приходило в голову. Между тем, редко у кого из великих прозаиков второй половины XIX века не звучит так ясно мистическая струна, как у Чехова. Еще когда он был Антошей Чехонте и печатался в «Осколках» и в «Будильнике», он написал «Драму на охоте» — произведение в духе уголовно-полицейского романа, распространенного в те дни. Вероятно, по этой причине оно выпало из поля зрения критики и исследователей не снизошедших до его рассмотрения. Упоминаем его здесь потому, что на нем, кроме детективного романа, лежит печать другого жанра захватившего русскую литературу еще в начале XIX века — «романа ужасов», с привидениями, с мертвецами встающими из могил, со всем, что высмеял когда-то кн. А. А. Шаховской:

«И полночь, и петух, и звон костей в гробах».

Чехову прекрасно известен был этот жанр. В 1880 г. он написал «Тысячу и одну страсть» — пародию на романы В. Гюго, от которых волосы у читателей вставали дыбом. Впоследствии он не раз вышучивал спиритические сеансы, столотверчение, замогильные страхи.

Тем загадочнее видеть признание этой устаревшей литературной моды в «Драме на охоте». Привидений и духов там, конечно, нет, но там много зловещих примет. Попугай в доме следователя, главного героя повести, неустанно кричит: «муж

убил свою жену!» Это и случается. Жена, правда, чужая, но герой нарек ее своей. Место действия, усадьба графа Карнеева, рисуется настоящим логовом греха и порока. Следовательно дорого дал бы, чтобы не ездить туда, но его влечет непонятная сила.

По пути надо обогнуть озеро, волнующееся и ревущее как чудовище. При въезде в усадьбу спотыкается конь. — «Худой знак, барин», — замечает стоявший поблизости мужик. В каменной беседке на краю парка, где герой встретил ту, которую потом убил, лежала свернувшаяся змея. По усадьбе бродит девятиностолетняя старуха «Сычиха», похожая на ведьму. У нее нет никакой роли в рассказе, автор выпустил ее с единственной целью усилить зловещий пейзаж и обстановку.

Змея, попугай, Сычиха и прочие «аксессуары» — это уже не пародия, но знамения недобрых сил стоящих за событиями приведшими к убийству. Допустим, что ранний Чехов мог «автоматически» пользоваться распространенными литературными штампами, но чем объяснить их наличие в зрелом периоде творчества? Они проходят через всю его писательскую жизнь. Поданы они так тонко и осторожно, что не сразу и заметишь. В «Иванове» драму предвещает сова. Она кричит по ночам, особенно, когда герой уезжает в роковое для него имение Лебедевых. В «Трех сестрах» Солёный все время твердит, что руки его «пахнут трупом». В последнем акте он убивает Тузенбаха. В «Вишневом саду» введен «отдаленный звук, точно с неба, звук лопнувшей струны, замирающий, печальный». Дважды повторяющийся, сюжетно необоснованный, реально необъяснимый, он, создает мистическую тональность пьесы. Ремарка — «точно с неба» — направляет мысль на неземное его происхождение.

Вправе ли мы пройти, как это делали критики и исследователи, мимо этой настойчиво звучащей ноты? И чем ее объяснить, кроме как заложенным в натуре писателя чувством таинственного, непонятного?

Обстоятельно разработанной биографии Чехова еще не написано. Когда она появится, откроется, может быть, что Антон Павлович был мистик по природе.



Любопытна творческая история одного из его рассказов,

о котором Л. Н. Толстой отзывался: «Какая прелесть!» Это — «Черный монах».

Молодой ученый Коврин, отдохавший в поместьи своего бывшего опекуна, услышал раз, как в гостиную разучивали серенаду Брага. В ней говорилось о девушке, слышавшей ночью в саду таинственные звуки до того прекрасные, что они показались «гармонией священной, которая нам, смертным, непонятна и потому обратно улетает в небеса». После пения и музыки Коврин признается, что его с самого утра занимает легенда неизвестно от кого слышанная, «ни с чем не сообразная». «Тысячу лет назад, какой-то монах, одетый в черное, шел по пустыне где-то в Сирии или Аравии... За несколько миль от того места, где он шел, рыбаки видели другого монаха, который медленно двигался по поверхности озера. Этот второй монах был мираж...

От миража получился другой мираж, потом от другого третий, так что образ черного монаха стал без конца передаваться из одного слоя атмосферы в другой. Его видели то в Африке, то в Испании, то в Индии, то на дальнем Севере. Наконец, он вышел из пределов земной атмосферы и теперь блуждает по всей вселенной, все никак не попадая в те условия, при которых он мог бы померкнуть. Быть может, его видят теперь на Марсе или на какой-нибудь звезде Южного Креста. Но... самый гвоздь легенды заключается в том, что ровно через тысячу лет после того, как монах шел по пустыне, мираж опять попадет в земную атмосферу и покажется людям. И будто бы эта тысяча лет уже на исходе... По смыслу легенды, черного монаха мы должны ждать не сегодня-завтра».

Сразу же после этого разговора Коврин выходит в парк, оттуда в поле и там видит высокий черный столб на горизонте, подобный смерчу. По мере приближения он уменьшался, прояснялся, пока не принял образ черного монаха, вихрем промчавшегося мимо него. — «Значит, в легенде правда». Вечером ему пришло в голову, что если странного монаха видел только он один, то значит он болен и дошел до галлюцинаций.

После этого монах стал ему являться, вести с ним беседы на отвлеченные темы и убеждать его, что он — гений. Женившись, герой рассказа не избавился от визитов монаха. Однажды ночью, он привел в ужас жену, проснувшуюся и увидевшую мужа сидящим и разговаривающим с кем-то невидимым. Стало

ясно, что он болен. Началось лечение не примесшее ничего, кроме раздражительности, порчи характера, ссоры с женой и с ее отцом. Старик доведен был до удара и умер; с женой — разошлись.

Страдающий чахоткой, Коврин, умирает через два года в Севастополе, в гостинице. В одну из ночей он вспоминает все с ним случившееся и с опаской поглядывает на дверь, боясь, «чтобы не вошла в номер и не распорядилась им опять та неведомая сила, которая в какие-нибудь два года произвела столько разрушений в его жизни и в жизни близких». Выйдя на балкон, он услышал скрипку и два женских голоса несшиеся с нижнего этажа. Исполняли серенаду Брага. И опять, как некогда, высокий черный столб смерча поднялся на том берегу бухты и в раскрытую балконную дверь влетел монах. Он опять стал твердить о его гениальности. Но у Коврина текла уже кровь изо рта и заливала грудь.

По словам Михаила Павловича Чехова, идея повести зародилась у его брата в Мелихове, когда там гостили Потапенко и Лика Мизинова. Она садилась за рояль, он играл на скрипке и они часто пели «Валахскую легенду» Брага о больной девушке, слышавшей небесное пение. «Антон Павлович находил в этом романсе что-то мистическое, полное красивого романтизма». Романс этот, по мнению Михаила Павловича, дал первый толчок к созданию «Черного монаха». Творческим зерном его было мистическое переживание. Станным образом, небесное пение переплелось и поставлено в связь с появлением черного монаха. Суворину, заподозрившему автобиографический мотив в рассказе, Антон Павлович писал: «Просто пришла охота изобразить манию величия. Монах же, несущийся через поле, приснился мне, и я, проснувшись утром, рассказал о нем Мише». Факт такого сна Михаил Павлович подтверждает, но относит его не к утру, а к послеобеденному отдыху. «Сию я, как-то после обеда у самого дома на лавочке, и вдруг выбегает брат Антон, как-то странно начинает ходить и тереть себе лоб и глаза». Вся семья знала, что во сне он иногда испытывал потрясения всего тела, которые называли «дерганьем». «Что, опять дернуло?» «Нет. Я видел сейчас страшный сон. Мне приснился черный монах». По свидетельству Михаила Павловича, сон до того потряс брата, что он не мог успокоиться пока не написал рассказа о черном монахе. Такая авторская взволнованность мало вяжется со взглядом, высказанным А. М. Ска-

бичевским, будто перед нами — «психиатрический этюд», вышедший из-под пера писателя-медика.

Чехов был слишком артистической натурой, чтобы увлечься простой клинической картиной бреда параноика и взять ее сюжетом для рассказа. Вряд ли сильна была и «охота изобразить манию величия». Для этого лучше подошла бы другая фабула не осложненная мотивом безумия и бреда. Здесь же, грандомания заслонена фантастической «неведомой силой» произведшей столько разрушений в жизни героя. Чехов искусно сочетал болезнь и мистику. В одной из своих бесед с черным монахом, Коврин назвал его миражем. — «Значит, ты не существуешь?» — «Думай, как хочешь, — ответил монах, — я существую в твоём воображении, а воображение твоё есть часть природы, значит, я существую и в природе».



Тут — некая дверь в лабораторию сокровенной мысли.

Есть целый букет чеховских рассказов, где почти дословно повторяется одна и та же фраза: «В природе очень много сверхъестественного». «В природе очень много загадочного и темного». Смысл этих слов: реальная действительность таит в себе какую-то метафизику.

В маленьком рассказе «Шампанское» человек изнывает от скуки, будучи заброшен судьбой в глухую степь, где он служит начальником железнодорожного полустанка. Встречая с женой Новый Год, они хотят распить бутылку шампанского. Но при откупоривании бутылка выскальзывает из рук и падает на пол. Жена в ужасе. «Нехорошая примета. Это значит, что в этом году с нами случится что-нибудь недоброе». В тот же вечер к ним приезжает какая-то «тетя» — дядина жена, о существовании которой они не подозревали — «женщина известного темперамента». И вот «все полетело к черту верхним концом вниз». Герой рассказа помнил лишь «страшный бешеный вихрь, который закружил его как перышко. Кружил он долго и стер с лица земли и жену, и самую тетю, и его силу». Будь Чехов «позитивистом», «сенсуалистом», каким его иногда рисуют, трудно было бы понять причину его увлечения столь никчемным сюжетом, ибо вычеркните мистику из рассказа и он станет поистине никчемным. Соль этой маленькой истории — в зловещей примете, которая сбывается.

Суеверие противоречит научному и религиозному миро-

пониманию, но поэзия никогда не возносила хулы на суеверие. Приметы, гадания, предсказания были когда-то религией. Не той, обросшей догмами и необозримой литературой, а древней глубоко народной религией учуянной сердцем, подслушанной, как тайна мироздания. Недаром человечество до сих пор негласно исповедует ее. И кто докажет, что в ней меньше истины, чем в Исламе или в Христианстве?

«Христианство в произведениях Чехова почти умолчано», — говорит Д. С. Мережковский. — «Мир внутреннего мистического опыта, который Достоевскому так близок, почти незнаком Чехову». Это верно. Несмотря на то, что Антон Павлович пел в Таганроге в церковном хоре и знал православную службу наизусть, ничего кроме обрядовой красоты в христианстве он не находил. «Я давно растерял свою веру и только с недоумением поглядываю на всякого интеллигентного верующего», — писал он С. П. Дягилеву в 1903 году. В другом письме, полгодом раньше, он свое неверие ставит в один ряд с неверием всей русской интеллигенции. По его словам, «она ушла от религии и уходит от нее все дальше и дальше, что бы там ни говорили и какие бы философско-религиозные общества ни собирались».

Интеллигентское религиозное движение для него — «пережиток, уже почти конец того, что отжило или отживает». Христианство умерло. Но это не значит, что Бог не может быть познан другим путем, напр., путем знания, путем науки. Усилия в этом направлении будут продолжаться, может быть, десятки тысяч лет, «чтобы хотя в далеком будущем человечество познало истину настоящего Бога — то-есть не угадывало бы, не искало бы в Достоевском, а познало ясно, как познало, что дважды два есть четыре». «Жить и не знать для чего журавли летят, для чего дети рождаются, для чего звезды на небе... Или знать для чего живешь, или же все пустяки, трын-трава». Так говорит Маша — одно из действующих лиц «Трех сестер». Она полагает, что «человек должен быть верующим или должен искать веры, иначе жизнь его пуста, пуста». Увлеченный своим учительством, Мережковский приводит эти слова в назидание неверующему Чехову,¹ не замечая, что сказаны то они самим Чеховым, передумавшим и перечувствовавшим их до Мережков-

¹ Мережковский — «Чехов и Горький». 1906.

ского, во всяком случае, независимо от него. Жизнь для него — пуста. Но ни Достоевский, ни Мережковский, с их верой, не в силах объяснить для чего журавли летят, для чего дети рождаются. Всякий призыв к вере, в этом случае, имеет лишь утилитарный смысл, как спасение от душевной стужи. — Блажен, кто верует, тепло ему на свете.

Натура Чехова не принимала тепла, ради которого надо было жертвовать правдой. Он едва ли не единственный в русской литературе беспощадный искатель истины, способный не остановиться перед тем, чтобы из уютного домика верующего открыть дверь прямо в мировой холод. Если христианство сказало неправду и кроме иконописного Бога ничего у него нет, то остается великая тайна мироздания. Быть может, она очень страшная, «быть может, вся наша вселенная помещается в зубе чудовища». Пусть так. Если это истина — тем хуже для нас. Истина есть истина.



Есть у Чехова рассказ совершенно исключительной важности с точки зрения поднятой здесь темы. Герой его, помещик Димитрий Петрович Силин, полон неодолимого страха перед тем, что называется «реальной действительностью». «Скажите мне, дорогой мой, — спрашивает он приятеля, — почему это, когда мы хотим рассказать что-нибудь страшное, таинственное и фантастическое, то черпаем материал не из жизни, а непременно из мира привидений и загробных теней?» — «Страшно то, что непонятно». — «А разве жизнь вам понятна? Скажите: разве жизнь вы понимаете больше, чем загробный мир?... Кто боится привидений, тот должен бояться и меня и этих огней и неба, так как все это, если вдуматься хорошенько, непостижимо и фантастично не менее, чем выходцы с того света». Указывая на стоявшего поблизости мужика, по прозвищу «Сорок мучеников», он заметил: — «Извольте вы понять вот этого субъекта! Вдумайтесь».

В самом деле, в тот же вечер, с появлением «Сорока мучеников» в усадьбе Димитрия Петровича, там случилась драма. Главным действующим лицом был гостивший у него приятель, которому Димитрий Петрович поверял свои страхи. В комнату к нему пришла давно влюбленная в него жена Димитрия Петровича и, муж забывший в этой комнате фуражку и явившийся

за нею рано утром, застал жену выходившей от гостя. Бедный помещик сражен был не столько изменой, сколько фактом подтверждения тайн и ужасов наполняющих жизнь. «У меня темно в глазах», — бормотал он уходя. Страх Дмитрия Петровича передался и гостю. Уезжая тот думал о случившемся и ничего не понимал. «Почему это вышло так, а не иначе? Кому и для чего нужно было, чтоб она любила меня серьезно и чтоб он явился в комнату за фуражкой? При чем тут фуражка?» Он смотрел на грачей и ему было странно и страшно, что они летают.

Одним из самых любопытных признаний Дмитрия Петровича было: «Мне страшна, главным образом, обыденщина, от которой никто из нас не может спрятаться».

«Обыденщину» русская критика понимала всегда, как скуку, застойную жизнь без ярких событий, без борьбы, Чехов и был объявлен певцом такой обыденщины. Давно назрела потребность стереть с его имени эту нелепую этикетку. От такой обыденщины мог бы легко «спрятаться» каждый кто захотел. Писатель имел в виду другое, от чего, действительно, нельзя уйти. Мережковский употребляет мало подходящее выражение «быт». Чехов, по его словам, «великий, может быть, даже в русской литературе величайший бытописатель»...

Но стоит припомнить русских бытописателей от первых образцов физиологического очерка в России до Помяловских, Маминых-Сибиряков, Мельниковых-Печерских, чтобы стало ясно, что Чехова невозможно ставить в этот ряд. «Быт» — понятие этнографическое, что-то вроде уклада, образа жизни. Как материал, он предполагает внешнее описание предмета. Между бытописателем и Чеховым такая же разница, как между натуралистом и импрессионистом в живописи. Предмет у них один и тот же, но восприятие и понимание разные. «Чеховский быт», — сказано у Мережковского, — одно настоящее без прошлого и будущего, одно неподвижно застывшее мгновение». Прекрасно сказано. Но это как раз и есть отрицание быта. Остановите на миг обычное течение жизни и она сразу утратит бытовое обличье, как финальная немая сцена в «Ревизоре», превращая комедию в драму. В «мгновенно застывшем» быте проступает **бытие**.

В этом — великое, до сих пор не понятое значение импрессионизма. И в этом — захватывающая сила Чехова. Не

быт, но бытие писал он. Писал жизнь. И жизнь у него — страшна. Тот же Димитрий Петрович признавался, как он иногда в тоскливые минуты рисовал себе свой смертный час. «Моя фантазия изобретала тысячи самых мрачных видений, и мне удавалось доводить себя до мучительной экзальтации, до кошмара, и это, уверяю вас, мне не казалось страшнее действительности. Что и говорить, страшны видения, но страшна и жизнь».



Мы до сих пор не понимаем Чехова. Это, конечно, возмездие за то, что сделали из него «юмориста», писателя «безвременья», создателя типа безвольного интеллигента. Глубокие мотивы его поэзии никем, кроме двух-трех человек не замечались. Говорю «поэзии», ибо Чехов, хоть не писал стихов, но из всех русских прозаиков ближе стоит к поэтическому творчеству, чем кто-либо другой. Бунин называл его поэтом. Его, несомненно, волновала тайна мироздания, тайна жизни и смерти — извечные мотивы поэзии. Он мучился загадкой духа и материи. Но эти сокровенные ноты звучат у него тонко.

Первый акт «Чайки» начинается спектаклем в саду имения Сорина. На подмостках дощатого балагана Треплев показывает свою пьесу. Для «Чайки», с точки зрения развития действия, этот эпизод никакой важности не представляет. Но он имеет первостепенное значение для внутренней драмы совершающейся у Чехова всегда под покровом «обыденщины». Философия «Чайки» — это трагедия творчества, и завязка ее относится к эпизоду с неудачным спектаклем в саду. Чехову он был нужен, чтобы вложить в уста Нины Заречной, исполнявшей роль Мировой Души, монолог, который сделался ее судьбой. Уничтоженная жизнью, претерпевшая все боли, является она в последнем акте в усадьбу Сорина и рассказывает Треплеву о своей погубленной молодости. Увлеченная славой, блеском, известностью, мечтавшая стать великой актрисой, она влачила долгое время жизнь неудачницы — «играла бессмысленно... не знала что делать с руками, не умела стоять на сцене, не владела голосом». Только теперь поняла, что «в нашем деле — все равно играем мы на сцене или пишем — главное не слова, не блеск, не то о чем я мечтала, а умение терпеть. Умей нести свой крест и веруй». Пройдя величайший духовный искуc, потеряв все и, как бы освободившись от всего, что мешает искусству, она

стала тем, о чем мечтала. «Теперь уж я не так... Я уже настоящая актриса, я играю с наслаждением, с восторгом, пьянею на сцене и чувствую себя прекрасной... С каждым днем растут мои душевные силы». И тут она вспоминает свой монолог из первого акта. Он произносится Мировой Душой двести тысяч лет спустя после нашего времени, когда на земле не осталось ни одного живого существа. Дьявол, отец вечной материи стоит на страже этой пустоты. Каждое мгновение он производит обмен атомов в камнях, в воде, в испарениях дабы они менялись непрерывно. «Во вселенной остается постоянным и неизменным один лишь дух». Мировая Душа безмерно страдает, но от нее не скрыто, что в «упорной жестокой борьбе с дьяволом, началом материальных сил, ей суждено победить, и после того материя и дух сольются в гармонии прекрасной и наступит царство мировой воли».

Совершенно очевидно, что сцена со спектаклем в первом акте «Чайки» задумана исключительно ради этого монолога и оборвана сразу после его произнесения. Смотреть на него мы должны, как на прием придуманный для выражения собственных мыслей Антона Павловича. Надо ли говорить, что основа их — чисто мистическая.

Мистика эта не христианская, в ней что-то от нашего атомного века, от лабораторных изысканий добравшихся до такого состояния материи, когда она становится энергией. «Никто не имеет основания отделять дух от материи, так как, быть может, самый дух есть совокупность материальных атомов», — замечает Медведенко, один из «зрителей» треплевского спектакля. Чехов упорно подводит нас к мысли: метафизику надо искать в физике. Отсюда острота и «пронзительность» с которыми он смотрит на людей, на предметы, на вселенную. «Иногда, тяжело больной, лежа в постели, рассматривает долго и пристально, как будто с любопытством, опостылевший до тошноты узор обоев на стене и видит в этом узоре такие подробности, каких ни за что не увидит здоровый». Если бы Мережковский, автор этой фразы, оборвал ее и поставил точку на том месте, на котором она поставлена здесь, он вплотную приблизил бы нас к пониманию Чехова. Но фраза заканчивается банально: «такова четкость быта у Чехова; в ней тошнота и скука бреда». Опять «быт», опять «скука» — укоренившийся штамп характеристик и оценок.

Не пора ли никакой скуки у автора «Скучной истории» не видеть? Что это за скука, когда в привычных вещах человек видит то, чего не видят другие? Это открытие. А открытия не бывают скучными. Страшными и полными трагизма — да, но скучными — никогда. И разве это «быт» созерцает тот, кому при виде грачей «странно и страшно, что они летают?» Здесь мы имеем дело с особым глазом. «Глаз Чехова, — говорит тот же Мережковский, — устроен так, что он всегда и во всем видит это **невидимое обыкновенное** и вместе с тем видит необычайность обыкновенного».

Все проповедничество Мережковского, все его обличительство в неверии, его манеру ставить литературу, как преступницу перед трибуналом религиозной философии, можно простить за это замечательное наблюдение. Тут он на более правильном пути, чем Андрей Белый, объяснявший остроту зрения Чехова условиями XX века, развивающего в людях нервную утонченность, обогащающую их видение мира. «Воспринимаемая этими людьми действительность становится прозрачной и они начинают постигать то, что скрывается за ее грубой внешностью. Не покидая окружающего нас мира, они невольно идут к тому, что за миром». К Чехову это не относится, и приобщать его к лику символистов, вряд ли уместно. Он вовсе не «идет к тому, что за миром». За миром — ничего. Отмеченная А. Белым острота его видения направлена на постижение вещей здешних. Видеть «невидимое обыкновенное» и, в то же время, «необычайность обыкновенного» — в этом тайна чеховского творчества. Отсюда его непревзойденная, повергающая в изумление простота такая, «что как будто и нет ничего и надо пристально вглядываться, чтобы увидеть в этом **почти ничего** — всё».

Рассказ «Архиерей». Тут ни оригинальных характеров, ни интриги, ни событий в том смысле, как говорит о них Мережковский: «один быт без событий». Если разумеать под «событиями» убийства, супружеские измены, ограбления банков, террористические акты то — конечно. Но если включить в это понятие всенощную службу под Вербное воскресенье, приезд матери архиерея с маленькой его племянницей, установку электрического освещения в доме богача Еракина или натирание преосвященного свечным салом по случаю недомогания, то событий окажется много и весь рассказ построен на них. Са-

мое крупное — смерть владыки, но и она показана так, что ничем не выделяется, по значению, из ряда обыденных происшествий. Жил-жил архиерей, заболел и помер. И никакой философии, никакого наставничества, как у Толстого. Показана самая банальная смерть от брюшного тифа. Так умирают дворники, сапожники, миллионы простых людей. Мать владыки, темная деревенская женщина, робевшая перед его саном, говорившая ему «вы», увидев преосвященного при кончине, упала на колени и он стал для нее не архиереем, а просто сыном: «Павлуша, голубчик, родной мой! Сыночек мой!...»

Умер он накануне Пасхи. На другой день стоял радостный звон сорока двух церквей и шести монастырей, пели птицы, светило солнце, на базарной площади играли шарманки, колыхались качели, а с полудня, на главной улице началось катанье на рысках. «Было весело, все благополучно, точно так же, как было в прошлом году, как будет, по всей вероятности, и в будущем. Через месяц был назначен новый vikарный архиерей, а о преосвященном Петре уже никто не вспоминал. А потом и совсем забыли».

Что в этом рассказе? «Почти ничего». Но почему о нем такая слава? Почему, даже у Сомерсета Моома Алданов вычитал восторженный отзыв об «Архиерее?» Неужели виной тут личность преосвященного? Вряд ли. Владыка Петр — хороший, но ничем не замечательный человек. Даже религиозностью от него не веет, ни разу его мысли не обращаются к Богу. Обаяние рассказа — в его тончайшей гармонии. Он — чудо композиционной техники соткавшей из грачей, богомольцев, колокольного звона, луны, деревьев, старого ворчуна отца Сисоя, всенощных служб, качелей на площади, шума воды в канавах и смерти архиерея — волшебную ткань, являющую образ мира, где не существует ни великого, ни малого, мира живущего самого по себе, ко всему равнодушного, как та тютчевская приroda, что:

Поочередно всех своих детей
Свершающих свой подвиг бесполезный
Она равно приветствует своей
Всепоглощающей и миротворной бездной.



Чехов — не Вл. Соловьев. Нельзя у него искать последо-

вательного законченного мировоззрения. Он никогда не «обосновывал» своих откровений и не жертвовал поэзией ради философии. Да и «философии», в смысле сколько-нибудь близком к этому слову, не было. Было исключительно острое чувство-вание мира.

В рассказе «Ионыч», человек попавший ночью при звездах, при лунном свете на кладбище, ощущает его, как царство покоя, как образ тихой прекрасной, вечной жизни. Но слышится бой часов и ему уже кажется, что «это не покой и не тишина, а глухая тоска небытия, подавленное отчаяние».

Когда читаем у Блока — «Жизнь пустынна, бездонна, бездонна», мы тут что-то принимаем на веру. Чехов без риторики, без ярлыков и обозначений **показывает** нам и пустыню и бездну. «Сторожевые и могильные курганы, которые там и сям высились над горизонтом и безграничную степью, глядели сурово и мертво; в их неподвижности и беззвучии чувствовались века и полное равнодушие к человеку; пройдет еще тысяча лет, умрут миллиарды людей, а они все еще будут стоять как стояли, нимало не сожалея об умерших, не интересуясь живыми, и ни одна душа не будет знать, зачем они стоят и какую степную тайну прячут под собой». Не «мать сыра земля», родившая и вскормившая нас, встает в этом отрывке, а планета, чудовище, космическое тело. Мы — «в зубе чудовища». И мы начинаем понимать героя рассказа «Страх»: ужас бытия не поддающегося осмыслению — сильнее, чем встреча с привидениями или выходцами с того света.

Н. Ульянов

ОДИНОЧЕСТВО

Когда теряет равновесие
Твое сомнение усталое,
Когда ступени этой лестницы
Уходят из-под ног, как палуба,
Когда плюет на человечество
Твое ночное одиночество —
Ты можешь размышлять о вечности
И сомневаться в непорочности
Идей, гипотез, восприятия произведения искусства
И даже самого зачатия Мадонной сына Иисуса.

Но лучше поклоняться данности,
С глубокими ее могилами,
Которые потом, за давностью,
Становятся такими милыми.

Но лучше поклоняться данности,
С короткими ее дорогами,
Которые потом, за давностью,
Покажутся тебе широкими,
Покажутся большими, пыльными,
Усеянными компромисами,
Покажутся большими крыльями,
Покажутся большими птицами.

Да, лучше поклоняться данности,
С убогими ее мерилами,
Которые потом, по крайности,
Послужат для тебя перилами,
Хотя и не особо прочными,
Удерживающими в равновесии
Твои хромающие истины
На этой выщербленной лестнице.

И. Бродский

ПОГЛЯДЕВ НАЗАД, О ПАСТЕРНАКЕ

Перечел я старую мою статью о нем,* больше сорока лет назад написанную, и подумал, что десятого февраля, будь он жив, исполнилось бы ему восемьдесят лет, вспомнив тем самым, что не только современник я его, но без малого и ровесник, всего на пять лет моложе; к его литературному поколению принадлежу. Статья моя (в «Совр. Зап., 1928) уже по этому одному совсем и быть не могла издана, со стороны написанной историко-литературной статьей. Что не была, это и любой читатель заключит из ее полемического (местами, по крайней мере) тона. Теперь, когда все это вдаль ушло, мне и самому не нравится этот тон. Если бы мог, с удовольствием его бы устранил, как устранил бы не скажу слишком восторженные, но слишком торжественные фразы в начале и в конце моей статьи о Ходасевиче, незадолго до того напечатанной в том же журнале.

Открою карты потомкам (а то, чего доброго, не догадуются). Не без намерения озаглавил я первую статью «Поэзия Ходасевича», а вторую «Стихи и проза Пастернака». Намек был тут, что в одном случае имеем мы дело с несомненной поэзией, а в другом — быть может — со стихами, и только (да еще с прозой, которую ставил я выше, чем стихи). Не то, чтобы Ходасевич, с которым я был дружен (а с Пастернаком вовсе не знаком), внушил мне эту статью, или эту разницу заглавий, или что бы то ни было из того, что я в этой статье сказал: он к Пастернаку относился не враждебно, а безразлично, и внушениями не занимался, статьи о себе тоже отнюдь мне не внушал; но я в те годы был и в самом деле сторонником его поэзии, и уже поэтому, хоть и не только поэтому, противником поэзии Пастернака. Через тридцать с лишним лет, перечитав после долгого перерыва мою статью, я на оттиске ее написал:

* По случаю ее переиздания по-английски в сборнике Donald Davie & Angela Livingstone. Pasternak. Modern Judgements. MacMillan. 1969.

«Верно как характеристика тогдашней его поэзии, но не как характеристика поэта».

Это было в год его смерти, десятилетие со дня которой приближается. Я писал тогда заказанные мне вступительные статьи к трем томам собрания его сочинений, изданного Мичиганским университетом. Думал я теперь — о Пастернаке в целом — совершенно иначе, чем прежде. Появился «Доктор Живаго» со стихами последней главы; прочел я и многое другое, новое для меня, из написанного им в стихах и в прозе; произошли события, в свете которых с полной ясностью определился высокий его человеческий облик. Я готов был самым решительным образом пересмотреть свои прежние суждения о его поэзии; но так как, будучи прежними, они касались и прежней его поэзии, я им тут же и совсем неожиданно, обрел союзника — в его лице. О своих стихах 1940 года он теперь отзывался куда резче, чем я, в былые времена, но порицал он в них то же, что и я; некоторые из этих отзывов я привел во вступлении к третьему тому, и там же указал на преимущества новых его стихов перед прежними. Прежние эти я перечитывал теперь усердно, хорошо понимая, что мнение автора о них ни для кого не обязательно; но счесть это мнение неважным, переменить свое отношение к ним не мог.

Единомышленников у меня было крайне мало, а те, какие были, отвергали поздние стихи Пастернака в той же мере, что и ранние. Поклонники же его равно поклонялись и тем и другим, хотя втайне, быть может, ранние и предпочитали. Мнение его об этих ранних стихах они, во всяком случае, с таким ожесточением оспаривали, как будто оно не только не было, но и не могло быть правильным. Отчего же не могло? Блок под конец жизни проявил снисходительность к юношеским своим стихам, едва ли заслуженную ими. Белый искажил многие ранние стихотворения поздними поправками. Пастернак отчаялся. Готовя к печати, в 57 году, неосуществленное (оттого, что попавшее под запрет) издание «Избранных стихотворений и поэм» он в некоторых случаях свои тексты радикально изменил, но во многих других отказался от перемен, лет за десять или двадцать до этого им произведенных (главным образом для издания 1945-го года), и вернулся, если не к первоначальным, то к более ранним редакциям. Переделывал он свои стихи и прежде; двух первых сборников, например, — весьма круто, — в 1928

году. Но тогда легче ему было это делать, а результат при этом получался все же не такой, чтобы он теперь его удовлетворил. Станем ли мы утверждать, что он ослеп, перестал понимать достоинства собственных произведений?

Что касается меня, то я и тогда не стал бы, и теперь через десять лет, все вновь перечитав, не стану этого утверждать. Достоинства, конечно, были; не отрицал я этого никогда; и Пастернак, нужно думать, в конце жизни не вовсе перестал их чувствовать. Но «побрякушки» стали ему мешать (это его собственное выражение); претить ему стало то, что всего точнее можно назвать неразборчивостью средств. Богатство этих средств (словесных, как со стороны звука, так и образа) с самого начала у него удивительно, но выбора нет, или останавливается выбор на полпути; нет настоящей пристальности к слову со стороны его значения. В прозе это чувствуется значительно меньше; думаю, что главная заслуга той давней моей статьи заключается в повышенном внимании, которое оказано в ней мало кем замечавшейся в то время прозе Пастернака. И для прозы этой, что и говорить, характерен некоторый сумбур, но тут уж скорее в плане мысли, противоречивого, например, или вернее путанного отношения, в «Докторе Живаго», как героя, так и автора, к «Октябрю», да и ко многому другому. Словесного сумбура в романе нет, и в ранней прозе было его мало; зато в стихах до конца остались его следы, а в ранних он царствует — беспрепятственно, хоть и нельзя сказать, чтобы нераздельно.

Находчивость в отношении образов, звуковых взрывов и повторов, неожиданных словосочетаний огромна, но все найденное тут же пускается в ход, без проверки — великолепное, как и более чем сомнительное. Беспримесно хороши «Карусель» и «Зверинец», стихи для детей 1924 года, отчасти потому, что автор, вняв этому «для», себя обуздал, отчасти же потому, что тут и не требовалось обуздания. Но до них, как и долгое время после них, ливень льет неудержимо, и Цветаева увлеклась когда назвала его световым. Иные капли его и впрямь сверкают самоцветно, но непроцеженные его потоки то и дело порочат или разрывают смысловую ткань стиха. «Колосс» по-русски — бумажное словцо, и Демон (лермонтовский) становится бумажным, когда его кличут этой кличкой; как и разбитой бабенкой Офелию, когда мы узнаем о ней, что ей что-то

«осточертело». Оба примера взяты из «Сестры моей жизни»; второй — из знаменитого стихотворения «Уроки английского», — почти справедливо знаменитого, потому что начинается оно прелестно. Но много позже (1936) все еще не чувствует порой Пастернак (покуда пишет стихи) различия между смысловыми обертонами слов — таких, например, как «художник» и «артист». Стихотворение, озаглавленное первым из этих слов, начинается: «Мне по душе строптивый норов / Артиста в силе...» Прочтешь это, и читать дальше не хочется: уже «артист» в таком применении непереносим, «артист в силе» еще непереносимей.

Чувство слова у Пастернака есть, иначе он не был бы поэтом, но чувство это вглубь слова не идет, ни на меткость его, ни на уместность (в смысле стилистической окраски) не распространяется. Оно довольствуется самым приблизительным соответствием его значения тому, что должно быть сказано, и направляется всецело на его звуковую роль в стихе и на непривычность его сочетания с соседними словами (ведь «артист в силе» вряд ли когда-нибудь кем-нибудь о ком-нибудь было сказано, даже и не о художнике с большой буквы; а «осточертела» без сомнения отличная рифма для «чистотела», если даже и не рифмует это слово с образом Офелии). Отсюда и проистекают «погремушки» вроде «реплики леса окрепли» (1917), причем этому «реп-реп» вторят еще и «леп-леп» и «апрель» в предыдущих строках, хоть ничего особенно апрельского из этого и не получается; или «обоюдный обман обрубаем» (1931), где повторения первого слога не подчеркивают смысла, не переводят его в другое измерение, а только ему мешают. Этого у Ходасевича не бывает никогда, но чуждо это и Мандельштаму, при всей звуковой и образной насыщенности его стихов. Недаром в статье 1923 года «Буря и натиск», хваля Пастернака, он уподобил его Батюшкову, который еще «ждет своего Пушкина»; сам он (как и Ходасевич) никого не ждет; вероятно, и ему казалось, что в стихотворном искусстве Пастернака есть что-то одностороннее или незавершенное, требующее дополнения или завершения. За последние двадцать лет своей жизни и сам Пастернак все чаще стал это замечать; то с большим, то с меньшим успехом, но все последовательней, углубленней пытался от этих старых своих привычек отучиться. Не ошибку его я в этом вижу; я в этом вижу его величие.

Поэтом, в стихах, как и в прозе, он был всегда. Этого я и в старой моей статье всерьез не отрицал — при всем ее задоре излишнем, хоть и не вовсе неоправданным. С тех пор он вырос, выпрямился во весь рост, сам все отверг, что ему выпрямиться мешало, гигантом стал средь карликовой советской литературы двух срединных десятилетий двадцатого столетия. Гигантом? Но тут мне хочется пробормотать: вот именно — гигантом, а не «колоссом»; и когда я перечитываю его прежние стихи, я оцениваю их в согласии с ним, то есть с его зрелой и прежней моей оценкой. «Я во всем искал не сущности, а посторонней остроты» — это его собственные покаянные слова. Если мне скажут, что соглашаясь с ними, я тем самым остаюсь на старых своих «позициях», «на стороне Ходасевича», я прибавлю: и столь непохожего на него Мандельштама, и столь непохожей на обоих Ахматовой. Но если скажут, что будучи уроженцем Петербурга я до конца моих дней застрял в тенётах петербургской поэтики, — тут я, пожалуй, не сразу найдусь, — не совсем буду знать, что мне на это ответить. Может быть скажу: поколение мое разделилось надвое, и в Москву перебегать не было у меня охоты; выбор обозначается рано, особенно когда касается современников и тем более сверстников; вот я ему и не изменил; но понимаю, понимаю, что можно было выбрать и другое...

А то, пожалуй, отвечу и так: не Москве нас учить; в петербургской поэтике наряду с преходящим, даже суетным быть может, есть и другое, с чем расставаться не надо, с чем расстаться не соглашусь. Если стихотворное искусство, если поэтическая речь так и решит довольствоваться отныне одной «посторонней остротой», так и откажется от пристальности к слову ради эффектного сталкивания слов; если несовершеннолетний Пастернак одержит победу над совершеннолетним; тогда я предпочитаю от дальнейших странствий отказаться и там упокоиться навек, где

...перешедши мост Кокушкин,
Опершись ...ой о гранит,
Сам Александр Сергееч Пушкин
С мосье Онегиным стоит.

В. Вейдле



Прислушайся к последнему дрозду,
Сорви последний василек на ниве —
И приходи ко мне! Тебя я жду
На речке, прислонясь к плакучей иве.

Садись ко мне в челнок и поплывом
По водному тускнеющему лону.
Тебе ведь легче так, со мной вдвоем?
Я для того и заменил Харона!



Женщину нельзя любить без скидки
На характер, ум иль красоту.
Женщина всегда не без ошибки,
Лишь не сразу замечаешь ту.

Вот и ты, не все в тебе как надо,
Как сперва мечтал конечно я.
Ты порой упреком иль досадой
Как крапивой обожжешь меня!

Ты порой... — но это все напрасно
И размолвка будет недолга!
Ты не без ошибок, это ясно,
Только как ты все же дорога!



Я здесь узнал мельчайшие цветы,
Их называют “луговая пена”.
Они в глаза не бросятся, но ты
Их, проходя, заметишь непременно.

Они цветут вперегонки с весной
И островками вкраплены густыми
В зеленые лужайки, а порой
Канавы у дорог пестреют ими.

Они так умирительно легки
И, сорванные, так поспешно вянут,
Что на букеты или на венки
Их даже дети обрывать не станут.

Своей и белизной и синевой
Они подобны той эгейской пене,
Откуда Афродита сквозь прибой
На мраморные поднялась ступени.

А если любишь средние века
И хороводы девушек в апреле —
Сядь на траву и подожди, пока
Тебе их дорисует Ботичелли.

Дм. Кленовский, 1969

ТАЙНОПИСНОЕ В РУССКОЙ ПОСЛЕОКТЯБРЬСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

1

Прежде всего — о самом понятии “тайнопись”. Речь пойдет не о технической зашифровке текста, требующей кода или отгадывания (замены алфавита цифрами, полусловицы, то-есть недописывания слов, особого размещения знаменательных букв, как в акrostихе, и т. п.), но — о таких приемах творческого выражения темы, которые предусматривают ее *второе*, не вдруг раскрывающееся, *прочтение*.

В таком толковании “тайнописное” близко к иносказанию (аллегории, притче), какое встречается, например, в баснях, с лисами, обозначающими лукавство, волками, представляющими хищничество и т. п. Близость тем тесней, чем локализованнее аллегоричность: в крыловской басне “Волк на псарне” диалог Волка с Ловчим означает историческую коллизию: Кутузов — Наполеон, которая при известной ситуации могла бы стать *тайным* авторским обличением.

Перекликается понятие “тайнописного” и с существом *символа* как творческого приема, смысловой эквивалент которого, в отличие от аллегии, раскрывается иной раз необычайно прихотливо и сложно. “Символ, — писал Вячеслав Иванов, — только тогда истинный символ, когда он неисчерпаем и беспределен в своем значении, когда он, изрекаясь на своем сокровенном (гиератическом и магическом) языке намека и внушения, нечто неизглаголаемое, неадекватное внешнему слову... Аллегория — учение, символ — ознаменование. Аллегория — иносказание, символ — указание...”

Тайнописное в значительно большей степени, чем символ и аллегория, связано с вольно-целуеустремленным характером авторского самораскрытия, потому что и возникает в условиях несвободы слова, — вынужденная зашифровка этого самораскрытия оказывается сама по себе творческой *формой*.

Одним из наиболее распространенных видов этой формы,

содержащей два — явное и замаскированное — прочтения, следует считать *аллюзию* — “намекание”, как можно было бы перевести этот нерусский термин.

Ранним примером аллюзии в русской письменности начала 18 века могла бы служить надпись на лубочной картинке “Как мыши кота погребают”, знаменующей ликование некоторых консервативных народных групп по поводу смерти Петра I. На картинке изображен мертвый кот, лежащий на дровнях, в которые впряжены восемь мышей и за которыми следует многочисленная — с музыкантами — процессия из мышей же и крыс. Надпись сверху гласит “Небылица в лицах, найдена в старых светлицах...: как мыши кота погребают, недруга своего провожают...: был престарелый кот казанский, уроженец астраханский, имел разум сибирский, а ус сусастерской (торчащий вверх. Л. Р.)...Умер в серый четверг, в шестопятое число”... (Петр I умер в “серый”, т. е. зимний, четверг, в первую четверть шестого часа; тело его перевозилось на санях, запряженных восьмеркой лошадей, и т. д. — направленность сатиры не вызывает сомнений).

Г. Макагоненко в своей книге “От Фонвизина до Пушкина” приводит другой пример тайнописного намека несколько более позднего времени, найденный им в трагедии “Ольга” Я. Княжнина. Трагедия эта, представляющая собой вольный перевод вольтеровой “Меропы”, приуроченный “переимчивым Княжниным” к русской жизни, отличался из центральных сюжетных конфликтов имела проблему престолонаследия, герои ее — княгиня Ольга и Святослав, которому мать уступает власть, отвергая предложение остаться на русском престоле:

Что в троне мне? Не мне престолом обладать,
Но сыну моему. Погибни, злая мать,
То сердце варварско, душа та, алчна власти,
Котора, веселясь сыновния напасти,
Чтоб в пышности провести дни века своего,
Приемлет за себя наследие его!

Иначе поступила Екатерина по отношению к Павлу, которому ко времени работы Княжнина над трагедией исполнилось 15 лет. По мнению Г. Макагоненко, выведенная в трагедии ситуация была рассчитана именно на аллюзию и, может быть, явилась в дальнейшем причиной враждебности императрицы к драматургу. “Это была, — пишет Г. Макагоненко, имея в виду

приведенный выше отрывок, — вежливая *рекомендация* Екатерине. Преувеличенная похвала матери, не допускающей даже мысли отнять власть у сына, призывающей на свою голову смерть за одно только допущение занять престол, была в русских условиях того времени более чем дерзновенной. Таких аллюзий русская трагедия еще не знала”.

2

Было бы чрезвычайно интересно написать историю тайнописи в русской литературе 19-го века; проследить, например, элементы аллюзии в дореволюционной поэзии, в нераскрытости или, напротив, “предупрежденности” этой аллюзии цензурой, сквозь рогатки которой по замыслу авторов она должна была проскочить. Пушкин в февральском дневнике 1835 года записывает:

“Цензура не пропустила следующие стихи в сказке моей о золотом петушке:

Царствуй, лёжа на боку
Сказка ложь, да в ней намёк,
Добрым молодцам урок”

— и вряд ли не предвидя той же цензурной настороженности к “намёку” выпускает из этой сказки такой отрывок:

Царь увидел пред собою
Столик с шахматной доскою.
Вот на шахматную доску
Рать солдатиков из воску
Он расставил в стройный ряд.
Грозно куколки сидят
Подбоченясь на лошадках
В коленкорových перчатках,
В оперенных шишачках,
С палашами на плечах.
Тут лохань перед собою
Приказал налить водою;
Плавать он пустил по ней
Тьму прекрасных кораблей,
Барок, каторог и шлюпок
Из ореховых скорлупок...

Еще интереснее, вероятно, исследование тайнописного в творчестве послеоктябрьских писателей и поэтов, когда контроль над творческим словом намного превзошел царскую цензуру самых реакционных ее периодов.*

В области поэзии при беглом переборе имен и строф останавливает внимание Сергей Есенин, так чутко предвидевший послеоктябрьскую трагедию родной крестьянской стихии:

Слышите ль? Слышите звонкий стук?
Это грабли зари по пущам.
Вёслами отрубленных рук
Вы гребетесь в страну грядущего.

И в последней строфе этого же стихотворения (“Кобыльи корабли”), написанного в страшный 1919 год, вряд ли можно не различить аллюзии:

Причащайся соломой и шерстью,
Тепли песней словесный воск.
Злой октябрь осыпает перстни
С коричневых рук берез.

Отсутствие свободного доступа к архиву поэта мешает определить, в какой мере зашифрованно-автобиографичны некоторые фрагменты незаконченной им драматической поэмы “Страна негодяев”; такие, например, высказывания Номаха “сочувствующему коммунистам” Замазашкину:

Мне здесь на всё наплевать.
Я теперь вконец отказался от многого,
И в особенности от государства,
Как от мысли праздной,
Оттого, что постиг я,
Что всё это договор,
Договор зверей окраски разной...

Все вы носите овечьи шкуры,
И мясник пасет на вас ножи.
Все вы стадо!

* Насколько мне известно, такая работа начата сейчас в одном из ньюйоркских университетов в виде диссертации на соискание докторской степени.

Стадо! Стадо!
 Неужели ты не видишь? Не поймешь?
 Что такого равенства не надо?
 Ваше равенство — обман и ложь.
 Старая гнусная шарманка
 Этот мир идейных дел и слов.
 Для глупцов — хорошая приманка,
 Подлецам — порядочный улов.

3

Перескакивая через тридцатилетие, обратимся к Пастернаку, поэту исповеднической лиры и продленных ассоциаций в системе образного выражения. Элементы *намёка* уловимы у него иной раз в виде “авторизации” высказываний некоторых лиро-эпических персонажей. Авторизованы, повидимому, строфы из монолога лейтенанта Шмидта в поэме того же названия:

Наверно вы не дрогнете,
 Сметая человека,
 Что ж, мученики догмата,
 Вы тоже — жертвы века.
 Я тридцать лет вынашивал
 Любовь к родному краю,
 И снисхожденья вашего
 Не жду и не теряю.

Проф. В. Марков в одной из своих статей отмечает такого типа намёк-авторизацию и в пастернаковских переводах. Он приводит среди других примеров перевод таких строк из монолога Гамлета “Быть или не быть”:

For who would bear the whips and scorns of time,
 The oppressor's wrong, the proud man's contumely,
 The pangs of despis'd love, the law's delay,
 The insolence of office, and the spurns
 That patient merit of the unworthy takes...

У Пастернака:

А то, кто снес бы ложное величье
 Правителей, невежество вельмож,
 Всеобщее притворство, невозможность
 Излить себя, несчастную любовь
 И прозрачность заслуг в глазах ничтожеств.

“Поражает, — пишет В. Марков, — несовпадение с подлинником чуть не во всем, кроме “несчастной любви”. Пастернак-переводчик не имеет привычки гнаться за буквальной точностью, но здесь это переходит все границы. Присмотревшись, открываешь, что это вовсе и не перевод. В этих строках точно изображено положение самого Пастернака в те годы, и вряд ли нужно комментировать, что следует понимать под ‘ложным величием правителей’ и т. п.”

Этот перевод был опубликован в журнале “Молодая гвардия” в 1940 году. А в 1956 году, в издании: Шекспир, Гамлет. Детгиз. М., перевод Пастернака — я прочел такой, исправленный, вариант:

А то, кто снес бы унижение века,
Неправду угнетателей, вельмож
Заносчивость, отринутое чувство,
Нескорый суд и более всего
Насмешки недостойных над достойным.

Характер исправлений, в результате которых “всеобщее при творство, невозможность излить себя” исчезли из текста, говорит сам за себя.

В годы преследования Пастернака как автора “Доктора Живаго” почти всеобщее внутреннее движение в его защиту нашло в современной поэзии потаенное отражение в нескольких строфах “Зимнего дня” Беллы Ахмадулиной или, например, в стихотворении “Пиши” Маргариты Алигер; в заключительной строфе последнего находим даже полстроки — “Будь что будет” — взятые из пастернаковского стихотворения “Нобелевская премия”. Вот отрывок:

Да, будет горько, будет худо
до лютой муки, до седин.
Да, будет страшно: ведь куда
ты пишешь, ты совсем один.
Но если ты свое допишешь,
вдохнешь и дух переведешь,
ты столько добрых слов услышишь
и столько жарких рук пожмешь!
Пиши скорей! Хмелей в отваге,
мужай, как юноша в бою,

доверь чернилам и бумаге
 единственную жизнь твою.
 Без колебаний! Пусть их судят!
 Ты слов на ветер не бросал.
 Жил,
 думал,
 верил...
 Будь что будет!
 Ты сделал всё, ты написал!

Тема свободного творческого выражения чаще всего находила тайнописный отклик в поэзии “оттепельного” периода. Глубинно, например, второе прочтение “Сказки о дожде” Ахмадулиной, где Дождь — по-пастернаковски символ поэтического дара и вдохновения, угрожаемого цензурной засухой. Вот последние строфы этой вещи: рассказчица уходит из неприветливого дома, места гибели ее спутника, Дождя:

Он был живой, как зверь или дитя.
 О, вашим детям жить в беде и муке!
 Слепые, тайн не знающие руки
 зачем вы окунули в кровь Дождя?

Пугал прохожих вид моей беды.

Я говорила:

— Ничего. Оставьте.

Пройдет и это.

На сухом асфальте

я целовала пятнышко воды.

Земли перекалялась нагота,

и горизонт вокруг города был розов.

Повергнутое в страх бюро прогнозов

осадков не сулило никогда.

Впечатляюще второе прочтение и баллады “Крылья” украинского поэта Ивана Драча, заметка о которой была помещена в 95-й книге “Нового Журнала”.

Само собою разумеется, что обращенность к теме творческой свободы отнюдь не означает какого-либо “анти” в сфере утвердившейся в СССР системы. Поэтому, вероятно, тайнопис-

ное представлено и в некоторых поздних вещах Евгения Евтушенко, поэта необыкновенно талантливого, хотя и необыкновенно же неровного, которого, во время его зарубежных путешествий, многие считали герольдом коммунистического берега. Я имею в виду, главным образом, его цикл “Из американской тетради”, появившийся в журнале “Знамя” № 1 за 1968 год. Говорят американцы об Америке, но высказывания там и сям приобретают двойную локальную отнесенность, и в местные голоса словно бы пробивается звучание голоса самого автора. Вот из “Монолог американского поэта”:

Уходят надежды —

такие прекрасные дамы,
которых я выбрал в такие напрасные даты!...

В руках остается лишь край их одежды...

Надежд не удержишь!

Уходит уверенность...

Помнится, клялся я страшной

божбою

о стену башку проломить

или — стену башкою.

Башка поцарапана, правда,

но, в общем, цела.

А что со стеной?

Ухмыляется сволочь стена,
кто-то на ней равнодушно меняет рекламы,

портреты...

Уверенность,

где ты?

Из “Монолог бродвейской актрисы”, жалующейся на отсутствие роли:

Без роли как будто без компаса.

Ты знаешь, как страшен свет,

Когда в тебе копится,

копится,

и выхода этому нет.

Пожалте

— гастрологи.

Пожалте

— уют.

Отобраны роли.
Ролишки суют.

Нет роли!
Без роли вся жизнь —
это тление.

Мы все гениальны в утробе.
Но гибнут возможные гении
при невозможности роли...

И, наконец, фрагменты из “Монолог песца на аляскинской звероферме”:

И я бросаюсь в линьку, я лютую,
себя сдираю яростно с себя,
но голубое, брызжа и ликуя,
сквозь шкуру прет, предательски слепя.

И падаю на пол, подыхаю
и всё никак подохнуть не могу.
Гляжу с тоской на мой родной Дахау
и знаю: никогда не убегу.

Кто в клетке зачат, тот по клетке плачет.
И с ужасом я понял, что люблю
ту клетку, где меня за сетку прячут,
и звероферму — родину мою...

Явление тайнописи не проходит, конечно, мимо внимания официозной критики. В одной из своих статей (“Наступление или отступление”, “Звезда”, № 7, 1962 года) В. Назаренко, например, усматривает нечто криптографическое в “Треугольной груше” Андрея Вознесенского. Без основания — потому что образная система этого поэта, правда, сложная и как бы двойного свечения, лишена той аллюзивной данности, которая является неперенным признаком тайнописного; но интересна сама враждебная концепция критика, идущая, разумеется, больше от бдительности, чем от литературоведения. “Некогда были в большом ходу, — иронизирует Назаренко, — так называемые “загадочные картинки”: скажем, вам предлагалась картинка,

изображающая безлюдный лес, а подпись требовала найти: “Где охотник?” И, напрягая глаза и соображение, вы вдруг обнаруживали что какой-нибудь там куст — вовсе не куст, а тирольская с пером шляпа охотника... Я вспоминаю эти картинки потому, что, на мой взгляд, именно эти изобразительные принципы новаторски развиты А. Вознесенским и даже оказываются в основе словесной живописи ‘Треугольной группы’...”

4

Но обратимся к прозе.

Из более ранних вещей с чертами “второго прочтения” надо назвать “Зависть” — Юрия Олеши, опубликованную в 1927 году в журнале “Красная новь”. Как пишется в предисловиях к различным московским изданиям повести, конфликт ее — конфликт “новой революционной действительности” с “индивидуализмом” старого толка интеллигенции. Сюжетно этот конфликт предложен в противопоставленности атлетического директора пищевого треста Андрея Бабичева “утонченному интеллигенту” Кавалерову, “загнившему от самокопания”, который не принимает нового и поэтому остается “лишним человеком”, “трагическим созерцателем побеждающего социализма” и т. д.

“Трагическим созерцателем” Кавалеров оказывается, однако, лишь по ходу явного прочтения повести. В прочтении втором некоторые критики увидели, как пишет автор одного из предисловий Б. Галанов, “злейшую пародию на Бабичева”. Увидели, иными словами, что “великий колбасник”, как называют Бабичева его антагонисты, собственно, никого не побеждает: выведенный как “грядущая сила”, он внутренне совершенное ничтожество; моральная победа остается за “трагическим созерцателем” нового порядка Кавалеровым.

Двоякость прочтения выступает из подтекста, который в этой вполне необыкновенной по творческой структуре повести является важнейшим компонентом и ощущение которого не оставляет читателя ни на минуту:

“— Я вождь ваш, я король пошляков! — восклицает карикатурно унижаемый автором соратник Кавалерова Иван Бабичев, — ...приходите, пошляки и мечтатели, отцы семейств, лелеющие дочерей своих, честные мещане, люди, верные традициям, *подчиненные нормам чести, долга, любви, боящиеся*

крови и беспорядка, дорогие мои солдаты и генералы — двинем походом! Куда? Я поведу вас”.

В рамку балаганного монолога, как видим, включены понятия, с которыми были связаны самые жгучие размышления и тревоги людей накануне развернутого наступления на страну сталинского социализма.

Или — разговор Ивана Бабичева со следователем в ГПУ:

— Вы называли себя королем?

— Да... королем пошляков.

— Что это значит?

— Видите ли, я открываю глаза большой категории людей...

— На что вы открываете им глаза?

— Они должны понять свою обреченность.

— Вы сказали: большая категория людей. Кого вы подразумеваете под этой категорией?

— Всех тех, кого вы называете упадочниками. Носителей упадочных настроений. Разрешите, я объясню подробнее... целый ряд человеческих чувств кажется мне подлежащим уничтожению.

— Например? Чувства...

— ...жалости, нежности, гордости, ревности, любви — словом, почти все чувства, из которых состояла душа человека кончающейся эры. Эра социализма создаст взамен прежних чувствований новую серию состояний человеческой души...”

“Эра социализма создаст взамен прежних чувствований новую серию состояний человеческой души”!

Встающая за этими словами от-авторская ирония превращает внутреннюю тему “Зависти” в сущности в тему о коммунизме как моральной проблеме — тему, занимавшую Евгения Замятина (“Мы”), Артура Кёстлера (“Тьма в полдень”) и многих, многих других. Какое место утверждающийся в конце двадцатых — начале тридцатых годов порядок оставит творческой индивидуальности, ее самовыражению, свободному от тисков политической догмы?

Тридцать с чем-то лет спустя Илья Эренбург, в связи со своим семидесятилетием, в речи по радио, так и не попавшей в печать, косвенно продолжит эти вопросы, прозвучавшие в “Зависти”:

“Мечта о спутниках Земли осуществлена теперь учеными. И вот именно от ученых слышал я другую мечту: “Где же спут-

ники человеческого сердца? Где Толстой? Где Чехов? Кто расскажет о тоске старого ученого или о драме лаборантки Энергоинститута, которую никто не назовет дамой и у которой нет собачки?"

"Положение Олеси было весьма щекотливым, — писал в статье "Поэт и толстяк", опубликованной в журнале "Байкал", Аркадий Белинков, — критики не могли закрывать глаза на то, что писатель с иронией и презрением относится к своему герою (Андрею Бабичеву. Л. Р.), пытаясь выдать его за образец, не для себя, конечно, но для читателей".

Это выступавшее наружу презрение и определило второе прочтение повести, переиначивающее ее внешний сюжетно-тематический узор. Даже и само заглавие "Зависть" криптографично: Кавалерову по сути духовной его устремленности завидовать было *некому*.

*

О тайнописи в романе Пастернака "Доктор Живаго" мне уже случалось писать.** Тайнописна в нем апология нематериалистического ощущения жизни и неповторимой ценности творческой индивидуальности, ее права на обращенность к высшим источникам духовного богатства, на свободное творческое самовыражение.*** Напомню центральный образ-символ романа, образ горящей свечи, в ряде его последовательных воплощений и раскрытий:

"...Юра обратил внимание на черную протаявшую скважину в ледяном наросте одного из окон. Сквозь эту скважину просвечивал огонь свечи, проникавший на улицу почти с сознательностью взгляда, точно пламя подсматривало за едущими и кого-то поджидало.

"Свеча горела на столе. Свеча горела..." — шептал Юра про себя начало чего-то смутного, неоформившегося, в надежде, что продолжение придет само собой, без принуждения. Оно не приходило".

** Л. Ржевский, Язык и стиль романа Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго». Изд. Института по изучению СССР. Мюнхен, 1962.

*** Нельзя не отметить, что в истоках своих тема эта перекликается с темой «Зависти», а актуальность ее в текущие дни — дни преследования А. Солженицына — несомненна и вызывает горькое восхищение.

Оно придет позже, в стихотворении “Зимняя ночь” последней части романа, в блоковской антитезе: метели (революции), задувающей пламечко чьей-то судьбы:

Мело, мело по всей земле
Во все пределы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

Толкуя этот образ, часто забывают о двух примечательных его повторях в прозаической части романа. В одном из них Лара говорит Юрию Живаго:

“— А ты всё горюшь и теплишься, свечечка моя яркая!”

И в другом месте:

“Могла ли она думать, что лежавший тут на столе умерший видел этот глазок (протаявший на стекле. Л. Р.) проездом с улицы и обратил на него внимание? Что с этого, увиденного снаружи пламени, — ‘Свеча горела на столе, свеча горела’ — пошло в его жизни его предназначение?”

Предназначение: светить!...

В разговоре со шведским литературоведом Н. О. Нильсоном, Пастернак так определил тайнописное кредо романа:

“Мы должны искать уверенности в самих себе. За то короткое время, которое мы живем на земле, нам нужно уяснить себе свое отношение к существованию, свое место во вселенной. Иначе ведь жизнь невысказима. Это, как я понимаю, означает отказ от материалистического мировоззрения XIX века, означает возрождение духовного мира, возрождение нашей внутренней жизни, возрождение религии — не как церковно-религиозной догмы, но как жизнеощущения”.

Но если бы Пастернак и не высказал этого Нильсону, защита христианства творчески выступает хотя бы в стихотворении “Рождественская звезда”: на два тысячелетия вперед звезда эта озарила путь человечеству:

И странным виденьем грядущей поры
Вставало вдали всё пришедшее после.
Все мысли веков, все мечты, все миры,
Всё будущее галерей и музеев,
Все шалости фэй, все дела чародеев,
Все ёлки на свете, все сны детворы...



Наиболее полным и ярким примером тайнописи в повествовательной прозе является несомненно “Мастер и Маргарита” М. Булгакова. В статье “Пилатов грех”, напечатанной в 90-ой книге “Нового Журнала”, я подчеркивал мотив осуждения *трусости* как структурный мотив тайнописного в романе, осуждения предательства и попустительства злу, рожденных страхом за личное благополучие. Раскрытие этого мотива, как стремился я показать, тайнописно дано в повторах-сближениях двух обликов побеждающей Тьмы: преступления, совершенного две тысячи лет назад в древнем Ершалаиме, и того разгула бесправия и бесчеловечности, в условиях которого жила в 30-ые годы булгаковская Москва. Сближения сквозят иногда в подтексте отдельных, казалось бы, вполне незначительных эпизодов. Вот, например, Пилат, поднимая чашу с вином, провозглашает: “За нас, за тебя, кесарь, отец римлян, *самый дорогой и лучший из людей!*” В московском издании романа цензор, конечно же, вычеркивает выделенные разрядкой слова.

Мотив осуждения трусости как ведущий мотив в прочтении булгаковского романа выделяет и В. Лакшин, автор статьи в июньском номере журнала “Новый мир” за 1968 год, являющейся, может быть, самым пристальным разбором романа из появившихся по обе стороны отечественного рубежа. “Трусость, — пишет он, — главная беда Понтия Пилата... Прокуратор не хотел зла Иешуа, трусость привела его к жестокости и предательству. Иешуа не может его осудить — для него все люди добры. Но Булгаков осуждает без пощады и снисхождения... Трусость — крайнее выражение внутренней подчиненности, несвободы духа, и раз смирившись с ней, от нее уже трудно отделаться... Оттого-то не зло, само по себе слепое и маломощное, а трусость, которая легко покоряет человека, делает его безвольным орудием в чужих руках — самое тяжкое проклятие для Булгакова”.

Многое тайнописное в романе еще ждет убедительного прочтения. Как, например, прочитывается мистерия развоплощения душ героя и героини из телесной их оболочки? смена видимостей жизни и смерти? Где искать толкования обращению этих душ к духу зла? Только ли в выпущенной цензором реплике Мастера Маргарите: “...Когда люди совершенно ограблены, как мы с тобой, они ищут спасения у потусторонней силы?” Как толковать загадочное в мистериозной сфере романа взаимока-

сание Света и Тьмы в добре? — Как изначальную их слиянность? Ориентированные эпиграфом, взятым из разговора Фауста с Мефистофелем, мы в продолжении этого разговора находим такое самоопределение беса:

Я — части часть, которая была
 Когда-то всем и свет произвела.
 Свет этот — порожденье тьмы ночной
 И отнял место у нее самой...

Развитие этого мотива встречается в драматической поэме А. К. Толстого “Дон Жуан”, где Сатана так рекомендует себя спускающимся на землю небесным духам:

...Короче, я ничто; я жизни отрицанье;
 А как Господь весь мир из ничего создал,
 То я тот самый материал,
 Который послужил для мироздания.

И в другом монологе:

А что есть истина? Вы знаете ли это?
 Пилат на свой вопрос остался без ответа,
 А разрешить загадку сущий вздор:
 Представьте выпуклый узор
 На бляхе жестяной. Со стороны обратной
 Он в глубину изображен;
 Двоющим способом выходит с двух сторон
 Одно и то же аккуратно.
 Узор есть истина. Господь же Бог и я —
 Мы обе стороны ея;
 Мы выражаем тайну бытия —
 Он верхней частью, я исподней,
 И вот вся разница, друзья,
 Между моей повадкой и Господней.

Возникает мысль: не оживают ли отражения этого изначального касания Света и Тьмы в эпоху страшных бытийных катаклизмов — в том смысле, что разгул рожденного Тьмою зла ужасает самих его вдохновителей, склоняя их к пособничеству добру?... Некое параллельное толкование находим опять-таки в статье В. Лакшина: “В прекрасной и человеческой проповеди Иешуа, — пишет он, — не нашлось места для наказания зла,

для идеи возмездия. Булгакову трудно с этим примириться, и оттого ему так нужен Воланд, изъятый из привычной ему стихии разрушения и зла и как бы получивший взамен от сил добра в свои руки карающий меч. Воланд словно чувствует над собой власть Иешуа и, подчиняясь ей, переносит в ближайшую реальность закон справедливости”...

В статье В. Лакшина много и других отдельных предположительных прочтений тех, как он выражается, “образных со-ответствий, тайных переключек и взаимных отражений, которые определяют художественную структуру книги”, содержа мысли, “которые читатель не вправе проглядеть или обойти”.

*

И, наконец, о некоторых литературоведческих трудах, содержащих тайнописное. Такова, например, книга Аркадия Белинкова о творчестве Юрия Тынянова. Тайнопись представлена в ней, разумеется, не в тех структурных элементах целого, которые приводились выше, но — аллюзией, как формой второго прочтения.

Смелость авторского самовыражения в книге удивительна. Иногда это — непосредственное обличение современности. Так, упоминая о различном по степени гуманности содержании арестованных декабристов, А. Белинков пишет: “Но и тот, кто был закован в железа, и те, кто пил чай (во время допросов. *Л. Р.*) не могли и представить себе, что придется пережить их потомкам в еще более просвещенные времена”.****

Но гораздо чаще “непокорные” мысли автора закамуфлированы контекстом, который держит их внешне в плане оценок грибоедовской эпохи, внутренне и вполне внятно адресуя их нашим дням. Указывая, например, на то, что в первых двух романах Тынянова одна из центральных идей его творчества — “крушение и гибель надежд после поражения в борьбе с самодержавием”, А. Белинков продолжает:

“Что это, в сущности, значит?

Это значит, что в годы, когда все задушено, задавлено, заперто и забито, когда не видно просвета и в ночи лишь с гиканьем проносятся оруженосцы и запевалы режима, давя все, что подвер-

**** А. Белинков, Юрий Тынянов. Изд. второе. Москва, 1965, стр. 114. В дальнейшем в скобках указаны страницы по этому изданию.

нется под копыто, нужно сидеть и горько покачивать головой? Или, может быть, спотыкаясь, бежать за оруженосцами и запевалами режима? Неужели остается лишь покачивать головой или бежать? Но ведь Герцен и некоторые другие не покачивали и не бежали. Они печатали в Англии и Италии свои книги, и эти книги говорили, что в России есть люди, которые не сдались, что если ничего нельзя сделать, то нужно все видеть, все понимать, не дать обмануть себя и ни с чем не соглашаться” (стр. 95-6).

Примечательна в этом отрывке ссылка на протест Герцена, то есть на то, что случилось *после*, а не *до* описываемых обстоятельств и, следовательно, логически годилось для сопоставления с нашим, а не грибоедовским временем. Примечателен и словотворбор современного типа.

Вот еще ряд высказываний-аллюзий:

“Николаевское время было особенно подло тем, что голод уже назывался не голодом, а замечательным успехом, достигнутым радением властей, рабство уже называлось не рабством, но высшей свободой, удушение человеческой мысли — благотворительной цензурой” (571).

“Естественно, что реакционные эпохи больше интересуются не благородством, а преданностью, не душевной стойкостью, а готовностью делать, что велят. Реакционные эпохи с обожанием и щедростью разыскивают прохвостов, доносчиков, бездарностей, фразеров, свистунов, клеветников, перебежчиков, барабанщиков, запевал, подлипал, готовых кого угодно возносить, кого угодно поносить, оборотней шепчущих дома одно, в департаментах кричащих другое, болтунов, шаркунов, льстецов” (329-330).

“Смысл демократии не в том, что существует нечто прекрасное и знающие люди из всех сил заставляют незнающих людей стремиться к нему. Демократия заключается в том, что люди могут решать сами и выбирать, что им следует делать. Нужно всеми способами опровергать уверенность тех, кому наплевать на все, кроме своей власти, что демократия, видите ль, не цель, а средство. В этом утверждении спрятана отвратительная самодовольная уверенность в том, что кто-то знает, а другие не знают эту цель, и кто-то должен вести к этой цели, а все остальные, посвященные или несогласные, должны идти за таким водителем. Но проходит время, и вдруг выясняется, что водитель и сам ничего не знает, кроме того, что вера, которую он жестокостью, хитростью и обманом сумел внушить, очень по-

лезна только ему и десятку его холопьев, а если эта вера внушалась (разными способами) десятилетия, то и многим тысячам холопьев, которые, конечно, никогда не простят, что им плюнули в душу, низвергнув кумира, вместе с которым они совершали преступления и который не позволил бы, чтобы им, холопьям, неокрепшие умы плевали в душу и в другие части их чувствительных организмов" (359-360).

Внутренняя обращенность всего этого к послеоктябрьской — не николаевской — действительности вряд ли у кого-нибудь вызывает сомнения: перед нами фрагменты авторского "запечатленного" самовыражения. Тоже и их, как это говорилось в упоминавшейся статье В. Лакшина, читатель "не вправе проглядеть или обойти мимо".

Л. Ржевский



Над морем Эгейским упала звезда золотая.
Мы не знаем, кто пел. Может, ветер гудел и вещал,
Только блеск пролетел, просиял и растаял,
Только пена забилась о тени темнеющих скал.

И надежда рождалась, что мы и миры бесконечны,
Безначальны, бессмертны, навеки чисты и светлы,
И идем бороздою широкой и млечной,
Вырываясь безбольно из нас облегающей мглы.

Над морем Эгейским луна так торжественно встала,
Зыбкий мир отдалялся и плыл по безвременью вод,
И катились прохладные эти зеркала,
Отражая еще не рожденный восход.



Слушай, слушай тишину,
Лучше песни не услышишь...
Я в безмолвии тону,
Вьется плющ по красной крыше,
Воздух ясен чист и прост,
Пятна солнца на панели,
Через реку брошен мост,
Ветер обнимает ели.
Луг блестит и воздух свят,
Птицы по небу летят,
Подождите, подождите,
Я взлетаю в тишину,
Расцветаю в ней, тону,
Тишиной я становлюсь,
Богу тишиной молюсь.
Отдыхаю, отдыхаю,
Тишина — дорога к раю.

Зинаида Шаховская

РУССКИЕ ПОЭТЫ

Н. ГУМИЛЕВ

В начале десятых годов молодой честолюбивый Гумилев наспех составил литературный манифест акмеизма. **Акме** по-гречески означает разные понятия, и он выбрал следующее: высшая степень чего-либо, зрелость. Это звучало амбициозно: зрелых размышлений в его литературной программе нет. Но был тот подкупающий юный задор, который одушевлял и футуристов, выступивших одновременно с ним, и тоже «преодолевавших символизм». Подобно футуристам, но менее резко, Гумилев осуждал «вещания» символистов и проповедовал ту «прекрасную ясность», которую уже успел провозгласить Кузмин. Будем ближе к земле: обыкновенную розу мы предпочитаем розе символической. Будем помнить и о вечности, о непознаваемом, «не оскорбляя своей мысли о нем более или менее вероятными догадками». Вот несложная азбука акмеизма. Поэты не жрецы, а ремесленники, и Гумилев создает первый цех поэтов (второй был основан уже в годы гражданской войны). В сущности, Гумилев продолжал Брюсова, который тоже жречеству (теургии, как тогда говорили) противопоставлял ремесленную эстетику и, открыв забытую Каролину Павлову, утверждал «святое ремесло» поэзии. Оба они, в критических статьях, уже предвосхищали т. н. формальный подход к искусству, с той существенной разницей, что «формализм» у Брюсова и Гумилева — не аналитический, а педагогический: они, прежде всего, поучали, а не исследовали, и с большим успехом.

Брюсов недоброжелательно отнесся к новоиспеченному акмеизму и ополчился на своего соперника — мэтра молодых акмеистов. Но оба они хотели одного и того же: доброкачественных стихов на любую тему. А о том, что в поэзии хорошо или плохо, они судили, основываясь на своих литературных канонах. При этом Гумилев был «консервативнее» Брюсова, который в 90-х г.г. эпатировал «модернизмом». Вместе с тем, он овладел новой поэтической техникой, писал тонические сти-

хи (дольники), но был противником смелых экспериментов, которыми занимались Хлебников и футуристы.

Гумилев поклонялся парнасцу Теофилю Готье и перевел его литературный манифест («Искусство»):

Созданье тем прекрасней,
Чем взятый материал
Бесстрастней —
Стих мрамор иль металл. (1911 г.).

Акеисты иногда называли себя адамистами. Адамизм — это мужественность, грубость («мы немного лесные звери»). В список близких по духу поэтов Гумилев включил Шекспира, Рабле и Вийона, которого лансировал тот же Готье. Заметим, что русские поклонники этого парнасца не упоминали о его замечательных путевых записках. Россию Готье увидел не критическими глазами маркиза Кюстина, а восхищенными глазами Константина Леонтьева. Ему нравились мужики в красных рубашках, великолепное византийское водосвятие на Неве, рослый красавец Александр II или же дикий храм Василия Блаженного, похожий на звездчатый коралл...

Гумилев знал, что можно всех обучать стихотворству, но нельзя делать поэтов: поэтами рождаются! Ему опытному мастеру, многие поэты многим обязаны, прежде всего т. н. «младшие акеисты»: Адамович, Г. Иванов, Одоевцева, Оцуп. Все они эмигрировали. Первые два пошли другим путем, не гумилевским, а скорее блоковским и отчасти «анненским» («парижская нота» 30-х г.г.). Гумилевский идеал ладно скроенных и крепко сшитых стихов, его каноны ясности, точности, сжатости, были восприняты очень разными поэтами.

Легенда о Гумилеве: он сам ее «творил», как и поэты-символисты, а другие — варьировали. Легендарный Гумилев — мужественный герой, «капитан», «конквистадор», охотник на львов, дэнди, парнасец, георгиевский кавалер, русский вандеец. Им восхищались юные читатели Купера, Майн-Рида, Стивенсона, Жюль Верна: а позднее они умирали в мазурских болотах или в рядах армий Корнилова и Колчака. Всегда были у него поклонники и в Советском Союзе — тоже любящие приключения и звучные стихи. Гумилевскую романтику лучше всего выразила Ирина Одоевцева:

Потом поставили к стенке
И расстреляли его,
И нет на его могиле
Ни креста, ни холма, ничего.
Но любимые им серафимы,
За его прилетели душой,
И звезды в небе пели:
Слава тебе, герой!

Талант свой Гумилев в землю не зарывал, а начистил до блеска! Кто не восхищался, хотя бы в молодости, этой отечественной строфой:

Или, бунт на борту обнаружив,
Из-за пояса рвет пистолет,
Так что сыпется золото с кружев,
С розоватых брабантских манжет.

Та же эффектная красивость и в его африканском «Шатре», но в этой книге больше лирики, больше силы, особенно в «дольниках» («Сердце билось, смертно, смертно тоскуя...»). Тематический диапазон Гумилева — очень широкий. Кроме экзотики — русский быт («Городок», «Почтовый чиновник»), восхищавший Цветаеву «Мужик» (Распутин) или замечательные стихи о Ларионове и Гончаровой, темы «Памяти» и «Пра-мяти». Все же — на мой вкус — в его поэзии чего-то нехватает. Мало в ней волшебства, как и в столь же богато иллюстриро-ванных, но менее совершенных стихах Алексея Толстого. Да, есть мастерство, но где благодать? Его стихами не восхищаешь-ся — еще до уразумения их смысла, как при чтении Мандель-штама и Ахматовой, которые тоже числились в рядах акмеи-стов. Гумилев великолепно прославил «Слово»: оно — «оси-янно», им останавливали солнце, им разрушали города... но не-ведомо было ему мандельштамовское «блаженное бессмыслен-ное слово». Романтика Гумилева — упрощенная, его мысли и чувства часто сводимы к арифметическому $2 \times 2 = 4$, их легко пересказать прозой. Все объяснено, разжевано и это вредит поэтической магии. Он слишком логичен для XX-го века, кото-рый вопреки всеобщей рационализации жизни, влечется к искусству эллиптическому, иррациональному. Вот его «триа-ды», которые часто привлекали поэтов: Землетрясения, громы,

водопады... Победа, слава, подвиг... Это красивые слова. А Мандельштам вносит в «триады»-заклинания слова из разных семантических и стилистических планов: Янтарь, пожары и пир... Россия, Лета, Лорелея...

Гумилев, проницательнейший критик, один из первых оценил поэзию Иннокентия Анненского, но под его влиянием он не был, как Анна Ахматова. «Памяти Анненского» — одно из лучших портретных стихотворений в русской лирике:

И этот голос, нежный и зловещий,
Уже читающий стихи.

По общему мнению, **акме** Гумилева — «Заблудившийся трамвай». Ненавистная ему революция вознесла его на поэтические высоты. Вздох о Машеньке долетает до каких-то седьмых небес поэзии:

Машенька, ты здесь жила и пела,
Мне, жениху, ковер ткала,
Где же теперь, твой голос и тело,
Может ли быть, что ты умерла.

И стихи эти могут истолковываться по-разному. Замысел полностью раскрыт, но логической интерпретации не поддается.

Не суждено ли было Гумилеву лучше всего выразить себя в лирическом эпосе (как, в свое время предсказал ему В. Иванов)? В **Гондле** есть и риторика, и красивость, но эта драматическая поэма захватывает: она написана одним дыханием. Вот, где Гумилев не только герой или дэнди, а и «колдовской мальчик», который, однако, своего волшебного языка не создал. Горбатый ирландский королевич Гондла и его исландская сестра-жена Лера — зыбкие романтические герои, родственные оссиановским (В. М. Сечкарев). Но в этой сказке увлекает порыв, размах Гумилева и его предчувствие неведомой вольной воли и веры:

Ты улыбка Господня. Мы оба
Из великой семьи лебедей.
Для тебя я восстал бы из гроба,
Для тебя я прощаю людей.

ГЕОРГИЙ ИВАНОВ

Был Петербург тринадцатого года, вечера «в пышном доме графа Зубова», ночи в кабачке богемы «Бродячая Собака», было раннее признание и многообещающее будущее: его ценили, ободряли Северянин и Гумилев. А потом революция, холод-голод, страх, террор Урицкого в Петрограде, но литературная жизнь продолжалась, Гумилев основал Второй цех поэтов, и **все** собирались в Доме Искусства. Атмосфера тех лет воссоздается во многих стихотворениях Георгия Иванова, а также в его воспоминаниях «Петербургские зимы».

Юный Георгий Иванов бывал у Блока, когда ему было лет 16-17, и их встречи отмечены в блоковском дневнике. Блок тоже ободрял его: Георгий Иванов, писал он, один из самых талантливых молодых поэтов, стихи его хорошие, почти безукоризненные, «с умом и вкусом, с большой культурной смелкой» (рецензия 1918 г.). Но тут же Блок недоумевает, даже сердится, его раздражают формальные достоинства этих хороших стихов, и он спрашивает: чего же Георгий Иванов хочет? И отвечает: ничего! А Блок знал чего хотел: «нужно предъявлять огромные требования к жизни», нужно кончить историю, чтобы не было быта, бывания, вечных повторений, нужно любить, страдать, верить, а не беззаботно любоваться фарфоровыми безделушками... Желания, упования Блока — зыбкие, утопические, но страстные даже в последние годы его жизни, после всех разочарований, крушений. Он резко осудил и Гумилева, и многих акмеистов: у них «ни божества, ни вдохновенья», они ловко занимаются версификацией, но замалчивают душу, дух (1921 г.).

В начале 20-х г.г. Георгий Иванов навсегда покинул Россию. Вместо многообещающего будущего унылое эмигрантское «бездвремя»: «Четверть века прошло за границей...» (а на самом деле больше, лет тридцать пять). Но если бы не было этой «заграницы», Георгий Иванов едва ли стал бы большим поэтом и, может быть, продолжая воспевать саксонский фарфор или персидские миниатюры, ни к чему бы не стремился, а только любовался... Сила, размах уже очевидны в его сборнике **Розы** (1931 г.). Дальше — непрерывный рост до самой смерти (в 1958 г.).

Что же произошло в эмиграции? Ответ: «надеяться стало

смешным». Надеяться на возвращение в Россию и, вообще, надеяться на что-то, на кого-то.

Многих возмутили эти стихи Георгия Иванова:

Хорошо, что нет Царя,
Хорошо, что нет России.
Хорошо, что Бога нет.
Только желтая заря,
Только звезды ледяные,
Только миллионы лет.
Хорошо — что никого,
Хорошо — что ничего.
Так черно и так мертво,
Что мертвее быть не может
И чернее не бывать.
Что никто нам не поможет
И не надо помогать.

Помню ошеломляющее впечатление от чтения этих стихов в 30-х г.г. Сразу понравился — вызов. Всякое эпатирование в молодости восхищает: пусть у других разливается желчь, а я всем нá-зло ликую. Но было и другое — более длительное впечатление. Здесь не только злая ирония, а будто блоковский ветер пронесся. Вот он вынес куда-то к черту на кулички, но и на вольную волю: и ее уже не променять на все привычные наши «заветы», надежды, принципы, лозунги. Разгромлено все, но упиваешься этими ветренными хлещущими хореями! Да, хорошо, что ничего: пропадай моя телега — все четыре колеса... Разоблачено лицемерие, всякое лицемерие вообще — общественное, политическое, культурное, и не только на убогом беженском празднике, но и везде, в любом царстве-государстве, в особенности же, в СССР с майской и октябрьской риторикой палачей. Стало пусто, но зато нет иллюзий, нет лжи, есть свобода в пустоте. Это конец всему, но, как тогда, в молодости, поневоле верилось, может быть, это и начало чего-то лучшего. Умолкнувшая блоковская музыка с новой силой прозвучала в стихах бывшего акмеиста... Блок писал, что Георгий Иванов ничего не хочет, а теперь вот захотел, осмелился страстно захотеть самое «ничего», но и музыку, которая рая уже не обещает, как в поэзии Блока, а все же звучит — рассудку вопреки, наперекор стихиям. Георгий Иванов освободил

многих не только от жалких иллюзий, но и от **чаяний** создателя этой музыки — неотразимого, потрясающего Блока. Он не отрок, зажигающий свечи новой религии, не Дмитрий Донской на поле Куликовом, даже не пьяный визионер — поклонник Незнакомки, а скептик, нигилист, иногда циник, автор «Распада атома», и в конечном счете самый обыкновенный человек, обыватель, — но и романтик, неисправимый мечтатель, родственник последнему барду — Блоку:

И все-таки тени качнулись,
Пока догорала свеча.
И все-таки струны рванулись
Бессмысленным счастьем звуча...

Никаких гарантий, иллюзий, «а все-таки она вертится» — романтическая шарманка, и звучат пушкинские-гоголевские-блоковские бубенцы фольклорной тройки:

Это звон бубенцов издадека,
Это тройки широкий разбег,
Это черная музыка Блока
На сияющий падает снег...

У Георгия Иванова есть привычно-романтический контраст между обывательщиной, пошлятиной и ликующими звуками, между *Traum und Wirklichkeit*. При этом, все бытовое, низкое, низменное далеко не всегда им осуждается, как в стихах всех романтиков, включая Блока или Цветаеву, и даже трезвого Ходасевича.

Разговорные словечки, прозаизмы были и у Блока: хватъ-похватъ, а сердца нет. Но их окрашивает романтическая ирония разочарованного барда. Есть вульгарный говорок у Анненского: курнуть бы, вздыхает в участке жулик, и поэту этого прощальгу жаль, как и противного, но несчастного кулачишку. У Георгия Иванова мало осуждения и почти нет жалости, а есть сочувственное понимание. Он не раз самого себя отождествлял с «людишками», как и Розанов (что верно отметил Р. Б. Гуль). «Трубочка-водочка» имеет для него ту же прелесть, что «Жуков табак» для Василь Васильича (Розанов и в раю не хотел обходиться без курева). Георгий Иванов признается, что пожил бы еще, и не поэтом, «а первым встречным-поперечным». Кроме черного «ничего», кроме сладостной музыки, он любит и какую

ни на есть **жить**. Он согласился бы с Экклезиастом: псу живому лучше, чем мертвому льву. «Если бы жить... только бы жить».

У Георгия Иванова большой диапазон в поэзии, хотя просторы его не сразу приоткрываются. Спел он на свой лад не только блоковщину и розановщину. В его стихах немало земных прелестей, наряду с трубочкой-водочкой: «Полутона рябины и малины...» Или звуковая игра: «Желтофиоль похожа на фиолу/ На меланхолию, на канифоль...»

Иногда он снижает поэтические образы: одинокая (не лермонтовская ли?) тучка напоминает ему сардинку в оливковом масле... И все-таки тучка эта «милая», и красота ее только выиграла от прозаического сравнения.

Смелая романтика в стихотворении, посвященном Лермонтову: мелодия становится цветком... ветром и песком... мотыльком, ветвями ивы и, наконец, она перевоплощается

В тяжелый взгляд, в сиянье эполет,
В рейтузы, ментик, в — «ваше благородие»,
В корнета гвардии — о, почему бы нет?...
Туман... Тамань... пустыня внемлет Богу.
— Как далеко до завтрашнего дня!...
И Лермонтов один выходит на дорогу,
Серебряными шпорами звеня.

Может быть, Лермонтов, прежде всего, легендарный герой, а не поэт... И здесь его творимая легенда оживает в потрясающих стихах, рядом с которыми (да простится мне это еретическое суждение) лермонтовские стихи кажутся тусклыми, бледными... У Георгия Иванова все вовлекается в музыку, включая рейтузы. А в другом стихотворении «запели» и брюки поэта:

В сияньи брюки Иванова
Летят и — вечность впереди.

Этой смелости не было у прежних романтиков, но она была у Марка Шагала: в его Витебске все крылато, все летит: и обыватели и какие-нибудь их печные горшки.

«Хорошо, что нет Царя...», — писал Георгий Иванов, но в другом стихотворении Царь, царская семья навсегда останутся в русской памяти:

Эмалевый крестик в петлице
И серой тужурки сукно...
Какие печальные лица
И как это было давно.
Какие прекрасные лица
И как безнадежно бледны
Наследник, императрица,
Четыре великих княжны.

Никакой монархической «слезы», но как это сказано: просто, без нажима, окончательно... Не надо быть монархистом, чтобы понять ужас гибели этой семьи, трусливое зверское убийство их. Это история Иова, но без ее счастливого конца.

Мало кто возвысился и до этого понимания недавнего прошлого:

...Богоискатели, бомбометатели,
В этом дворце, в Чухломе, в каземате ли
Снились вам, в сущности, сны золотые...

Эти стихи покрывают многое в дореволюционной России с ее завидной наивностью верований, суеверий, убеждений, все те «сны золотые», которые перестали сниться после Октябрьской революции.

На лирических верхах поэзии Георгия Иванова — лермонтовские и блоковские отзвуки. Ниже — розановщина с табачком или —

В тишине вздохнула жаба.
Из калитки вышла баба...

Но, по существу, нет здесь романтического неравенства между вещами высокими и низкими: все сияет-поет-летит в пустоте.

Достоевский уверял, что красота спасет мир, а Блок — музыка. Георгий Иванов ни в чем уверен не был, но и для него красота, музыка остаются реальностями, как и Россия, которой «нет»... и сам он, скептик, нигилист рвался на вольную волю, хотя бы и в пустоту.

Ранний Георгий Иванов многим был обязан Кузмину (больше, чем Гумилеву), и в юношеских его стихах, раздражавших Блока, немало прелести. Но от акмеизма мало что осталось в

эмиграции, когда в его поэзии зазвучали розановские словечки, «анненские» прозаизмы. А всего ближе ему Блок. У него блоковский динамический синтаксис с глаголами движения, сильные аккорды уже в первой строке:

Блок:	Георгий Иванов:
Все это было, было, было...	То, что было, и то чего
Все на земле умрет — и	не было...
мать, и младость...	Все на свете пропадает
	даром...

У эмигрантского Георгия Иванова — блоковские образы, в особенности из циклов «Страшный мир», «Возмездие», и цвета у него блоковские — синий, черный. Если не прислушиваться к интонациям, то можно сказать, что фактура его стихов заимствована у Блока. Но это не подражание, а отталкивание. Георгий Иванов — анти-Блок, анти-тезис к его тезису, и это анти уже предчувствовал сам Блок:

О, если б знали, дети вы,
Холод и мрак грядущих дней!

Холод и мрак Блок испытал после «Двенадцати», после «Скифов», и задохнулся в пустоте, умер, потому что «музыка ушла из мира». Через несколько лет после его смерти, уже в эмиграции, «родился» новый Георгий Иванов — большой поэт. Эмигрантское разочарование, отчаяние он преобразил в волшебную музыку. Его «нет», «ничего», «никого» прозвучали как соловьиные трели. Из общего, да и из собственного несчастья, он творил поэтическое счастье... что может показаться кошунственным! Но в искусстве все иначе, чем в жизни. Убийство в классической трагедии или в романе Достоевского — самый напряженный и блаженный момент художественного произведения, долгожданное освобождение от тяжелого бремени, катарсис. Эмигрантский опыт Георгия Иванова понятен не только изгнанникам, беженцам: ощущение одиночества, пустоты, как и смелый вызов, вся музыка отчаяния понятны всем одиноким душам, даже «душонкам», всем кому холодно в мире, всем, кто наперекор скепсису, меланхолии рвется на вольную волю, к синим звездам, сияющим в пустоте («Стихи и звезды остаются...»).

По общему впечатлению, Георгий Иванов чем-то близок последнему большому поэту Германии Готфриду Бенну (1886-1956). Бенн вовлек в поэзию ужасы моргов, нищету инфляции, банальщину будней. Он скептик, нигилист, иногда циничен, но и чистый лирик, окрыленный музыкой Шумана, которая творится Aus Einst und Immer und Nie...

Эти его стихи, на слух, звучат по георгие-ивановски:

Eden und Adam und eine Erde
Aus Nihilismus und Musik.

Их можно было бы перевести так:

Эдем, Адам, и вот земля
Из музыки и нигилизма.

(Кажется, никто еще из русских критиков не отметил замечательное стихотворение Бенна, посвященное русскому великому веку, Пушкину, героям Достоевского...). Но оба они, Георгий Иванов и Готфрид Бенн друг о друге понятия не имели...

Для финала, под занавес, можно было бы выписать какое-нибудь розовое, розоватое стихотворение, у Георгия Иванова их можно найти, но лучше, сладостнее и как-то победнее его безнадежные стихи:

Листья падали, падали, падали
И никто им не мог помешать...
От гниющих цветов, как от падали
Тяжело становилось дышать.
И неслось светозарное пение
Над плескавшей в тумане рекой,
Обещая в блаженном усении
Отвратительный вечный покой.

Итак, все вообще плохо. Отвратителен и вечный покой, обещанный византийской панихидой (а о вечной памяти в том же песнопении он не пожелал упомянуть...). Жизнь и вечность равно безобразны и бессмысленны. Поэзия тоже бессмысленна, но и прекрасна, волшебна, таинственно-победоносна вопреки мрачному смыслу этого стихотворения. Здесь Георгий Иванов умело обыгрывает гласные. В первой строфе во всех рифмах ударные «а», но разного качества. В глаголе **падали**

чувствуется (в чтении) открытый, протяжный гласный (под ударением), а в имени существительном **пада**ли акцент на более коротком узком гласном (и как-то слабее звучат «а» в глагольной рифме помешать-дышать). А все вместе — и сочетания слов, и разнообразное «аканье» — чудо торжествующей поэзии.

Еще одно мрачное стихотворение, в котором Георгий Иванов впервые провозгласил, что России может быть и нет, хотя и здесь она остается для него живой реальностью:

Россия счастье. Россия свет.
А, может быть, России вовсе нет.
И над Невой закат не догорал,
И Пушкин на снегу не умирал.
И нет ни Петербурга, ни Кремля —
Одни снега, снега, поля, поля...
Снега, снега, снега, а ночь долга
И не расстает никогда снега.
Снега, снега, снега, а ночь темна
И никогда не кончится она.
Россия тишина. Россия прах.
А может быть, Россия только страх.
Веревка, пуля, ледяная тьма
И музыка, сводящая с ума.
Веревка, пуля, каторжный рассвет,
Над тем, чему названья в мире нет.

В первом и последнем двести рифмы с ударными «е», а между ними шесть куплетов с ударениями на «а». Андрей Белый тут же сделал бы какие-нибудь фантастически-философические выводы: ему будто бы были ведомы все тайны созвучий. Лингвисты тоже иногда пытаются осмыслить звуки. Я в такую интерпретацию не верю, но не очевидно ли, вернее же **ушеслышно**, что здесь, как и во многих других стихотворениях Георгия Иванова, гласные гармонизированы и вся вокальная гармония существеннее консонантных звуковых повторов. Между тем, у Маяковского или Цветаевой игра согласных заметнее, сильнее игры гласных. «Сие важно» для всех, кто любит и небесную душу стихов и их земную плоть. Звучание у Георгия Иванова — легкое, с опорой на гласные, удобное для пения, и у него часто повторяются те же слова, строчки (снега, снега,

снега), что характерно для напевной поэзии. Наряду с Блоком, Полонским, Фетом, Жуковским, Георгий Иванов изумительный мелодист. Его поэзия в целом — сладостная, даже сладчайшая трагическая поэзия. Волчий ужас **переводит** он на язык соловьиных трелей, и в мировой пустоте слышит божественную музыку. Эта музыка никого не спасет, но она есть.

Юрий Иваск

ВОЗРОЖДЕНИЕ АНТИУТОПИИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ А. И Б. СТРУГАЦКИХ

Известность некоторых советских писателей на Западе зачастую приходит молниеносно. И есть интересные, талантливые советские авторы, завоевавшие большую популярность на родине, но на Западе почти неизвестные. Это как раз случай братьев Аркадия и Бориса Стругацких. Их произведениями зачитываются широкие круги молодой советской интеллигенции. На Западе же их мало кто знает. Причины этому, по-моему, — в еще неразрешенной литературно-политической борьбе, завязавшейся вокруг них: наиболее интересным их произведениям было суждено увидеть свет только в малотиражных, периферийных журналах, таких как «Ангара» и «Байкал». На издание их произведений отдельными книгами никто еще не решился. Редкостные номера журналов с произведениями А. и Б. Стругацких в СССР почти невозможно достать. Даже в библиотеках их получить трудно, так как они, повидимому, запрещены к выдаче. Попытки поддержать Стругацких (например, рецензия А. Лебедева в «Новом мире» на «Улитку на склоне», № 11, 1968) были написаны замысловатым языком, рассчитанным на понимание только избранной публикой. Другие, явные их доброжелатели, избегают все-таки их упоминать в критических отзывах, может быть, чтобы не привлечь к ним внимание антагонистически настроенных кругов. Но все эти меры оказались действительны только в отношении мало осведомленной западной публики. В СССР же они имели как раз обратный эффект: достижение статуса «запретного плода» во многом объясняет феноменальную популярность произведений братьев Стругацких.

В истории советской научной фантастики, антиутопия тесно связана с утопическим жанром, являясь часто столько же ответом на него, сколько и на политическую обстановку. «Мы» Замiatина — были написаны в эпоху небывалого утопиз-

ма. Появлению произведений Стругацких предшествовали советские утописты во главе с Иваном Ефремовым, написавшим известную утопию «Туманность Андромеды» («Молодая гвардия», 1959), рассчитанную на «юного читателя». Такими произведениями завершается один период и начинается другой в истории русского фантастического романа.

В предисловии к переведенной на английский язык антологии советской научной фантастики, известный американский «фантаст» Исаак Азимов разбивает американскую фантастику на три периода. В первый период (1926-1938) преобладает авантурный элемент; минимальное внимание обращается на технологию. Во второй, авантурный элемент сохраняется, но большое значение придается правдоподобной подаче технологического элемента. Третий период Азимов рассматривает, как расцвет социологического элемента. Хотя Азимов и признается в незнании советской фантастики, но он верно отметил, что советских произведений третьей стадии нет в данной онтологии. Действительно, в это время (1961) только завершался еще второй период советской фантастики. В последних же утопиях наконец появились ранее запрещенные «лженауки»: кибернетика и современная генетика. Как раз в это время и начинают выступать Стругацкие. Их манера резко отличается от манеры Ефремова. Последний предсказывает будущее: Стругацкие сосредотачивают свое внимание на **настоящем дне** (который, впрочем, подается как завтрашний). Ефремов пишет о науке. Стругацкие даже предлагают упразднить слово «научный» из жанрового определения научной фантастики и перейти на чистую фантастику («Вопросы литературы», № 8, 1964, стр. 73-76). Там, где Ефремов пишет для наивного читателя, Стругацкие целиком ориентируются на читателя зрелого, ищущего подтекст.

Так как у западного читателя фактически нет доступа к произведениям Стругацких, я позволю себе привести довольно обширную цитату из «Улитки на склоне», чтобы дать представление о стиле Стругацких. В предисловии к этой вещи сказано, что лес, о котором идет речь, символизирует собой неизвестное. В этой вещи читатель должен оценить многое и, в частности, такие детали как значительная фамилия «Домарошинер»:

«Кусты позади с треском раздвинулись. Перец осторожно оглянулся, но это был не директор, это был знакомый человек

Клавдий-Октавиан Домарощинер из группы Искоренения. Он медленно приблизился и остановился в двух шагах, глядя на Переца сверху вниз пристальными темными глазами. Он что-то знал или подозревал, что-то очень важное, и это знание или подозрение сковывало его длинное лицо, окаменевшее лицо человека, принесшего сюда, к обрыву странную тревожную новость; еще никто в мире не знал этой новости, но уже ясно было, что все решительно изменилось, что все прежнее отныне больше не имеет значения и от каждого, наконец, потребуется все, на что он способен.

А чьи же это туфли? — спросил он и огляделся.

— Это не туфли, — сказал Перец. — Это сандалии.

— Вот как! — Домарощинер усмехнулся и потянул из кармана большой блокнот. — Сандалии? Оч-чень хорошо. Но чьи это сандалии?

Он придвинулся к обрыву, осторожно заглянул вниз и сейчас же отступил.

— Человек сидит у обрыва, — сказал он, — и рядом с ним сандалии. Неизбежно возникает вопрос: чьи это сандалии и где их владелец?

— Это мои сандалии, — сказал Перец.

— Ваши? — Домарощинер с сомнением посмотрел на большой блокнот. — Значит, вы сидите босиком? Почему?

— Босиком — потому что иначе нельзя, — объяснил Перец. — Я вчера уронил туда правую туфлю и решил, что впредь всегда буду сидеть босиком. — Он нагнулся и посмотрел через раздвинутые колени. — Вон она лежит. Сейчас я в нее камешком...

Домарощинер проворно поймал его за руку и отобрал камешек.

— Действительно, простой камень, — сказал он. — Но это пока ничего не меняет. Непонятно, Перец, почему это вы меня обманываете. Ведь туфлю отсюда увидеть нельзя — даже если она действительно там, а там ли она, это особый вопрос, которым мы займемся попозже, — а раз туфлю увидеть нельзя — значит, вы не можете рассчитывать попасть в нее камнем, даже если бы вы обладали соответствующей меткостью и действительно хотели бы этого и только этого: я имею в виду попадание... Но мы все это сейчас выясним. — Он подернул брюки и присел на корточки.

— Итак, вы вчера тоже были здесь, — сказал он. — Зачем? Почему вы вот уже вторично пришли на обрыв, куда остальные сотрудники Управления, не говоря уж о внештатных специалистах, ходят разве для того, чтобы справиться нужду?

Перец сжался. Это просто от невежества, подумал он. Нет, нет, это не вызов и не злоба, этому не надо придавать значение, никто не придает значение невежеству. Невежество испражняется в лес. Невежество всегда на что-нибудь испражняется.

— Вам, наверное, нравится здесь сидеть, — вкрадчиво продолжал Домарощинер. — Вы, наверное, очень любите лес. Вы его любите? Отвечайте!

— А вы? — спросил Перец.

— А вы не забываетесь, — сказал он обиженно и раскрыл блокнот. — Вы прекрасно знаете, где я состою, а я состою в группе Искоренения, и поэтому ваш вопрос, а вернее, контрвопрос абсолютно лишен смысла. Вы прекрасно понимаете, что мое отношение к лесу определяется моим служебным долгом, а вот чем определяется ваше отношение к лесу — мне не ясно. Это нехорошо, Перец, вы обязательно подумайте об этом, советую вам для вашей же пользы, не для своей. Нельзя быть таким непонятным. Сидит над обрывом, босиком, бросает камнями... Зачем, спрашивается? На вашем месте я бы прямо рассказал мне все. И все расставил бы на свои места. Откуда вы знаете, может быть, есть смягчающие обстоятельства, и вам в конечном счете ничто не грозит. А, Перец?

— Нет, — сказал Перец. — То-есть, конечно, да.

— Вот видите. Простота сразу исчезает, и ее больше нет. Чья рука? — спрашиваем мы. Куда бросает? Или, может быть, кому? Или, может быть, в кого? А зачем?... И как это вы можете сидеть на краю обрыва? От природы это у вас или вдруг вы специально тренировались? Я, например, на краю обрыва сидеть не могу. И мне страшно подумать, ради чего бы это я стал тренироваться. У меня голова кружится. И это естественно. Человеку вообще незачем сидеть на краю обрыва. Особенно, если он не имеет пропуска в лес. Покажите мне, пожалуйста, ваш пропуск, Перец.

У меня нет пропуска.

Так. Нет. А почему?

Не знаю... не дают вот.

Правильно, не дают. Нам это известно. А вот почему

не дают? Мне дали, ему дали, им дали и еще многим, а вам почему-то не дают.

Перец осторожно покосился на него. Длинный тощий нос Домарошинера шмыгал, глаза часто мигали.

— Наверное, потому что я посторонний, — предположил Перец. — Наверное, поэтому.

— И ведь не только я вами интересуюсь, — продолжал Домарошинёр доверительно. — Если бы только я! Вами интересуются люди и поважнее... Слушайте, Перец, может быть, вы отсыдете от обрыва, чтобы мы могли продолжать? У меня голова кружится смотреть на вас». ¹

Советские критики за последнее время уделяют много внимания специфичности научно-фантастического жанра. По словам Р. Нудельмана, такая литература ставит мысленный эксперимент, в котором «моделирование» является основным сюжетным приемом. Этот «метод» якобы позволяет писателю ставить своих персонажей в прежде невозможные положения с тем, чтобы полнее изучить их поведение. Его взгляда придерживаются и А. Громова и Е. Тамарченко; последний указывает на то, что роль гипотезы в научной фантастике сродни «провоцирующей ситуации», раскрытой М. Бахтиным в произведениях Достоевского.

Изучение и утопии и антиутопии показывают, что этот «метод» не оправдывает больших надежд, возложенных на него вышеуказанными критиками. Оба эти жанра не только не раскрывают новых сторон человеческой психики, но, наоборот, суживают психологический диапазон; характерны предсказания Ефремова об исчезновении таких эмоций как крайняя материнская любовь, ненависть, эгоистичность; операция Замятина для удаления фантазии; превращение человечества в аморфное море плоти в антиутопии «Душа мира» М. Емцева и Е. Парнова. ² Все роботы, мыслящие машины и инопланетные существа характеризуются эмоциональным диапазоном более узким, чем человеческий, или описываются внешне. Тем не

¹ «Байкал», 1968, № 1, стр. 37-38. Эта повесть была частично напечатана в сборнике «Эллинский секрет» (Ленинград, 1967), стр. 384-462. Другая половина вышла в «Байкале» (№ 1, стр. 35-72; № 2, стр. 40-71).

² Михаил Емцев и Еремей Парнов, «Уравнение с бледного Нептуна» (Москва, 1964), стр. 53-255.

менее, главный упор в антиутопии делается не на науку, а на личные переживания, понимаемые как нечто сверхлогическое или арациональное. (Но не иррациональное. Такие примеры машинной логики как розовый талончик для секса, выдаваемый электронно-вычислительной машиной Замятина, признаются бессмысленными в человеческом контексте, но машинная логика, как таковая, не отрицается). Психологическая ориентация Стругацких настолько сильна, что у них даже машины очеловечиваются:

«...Наверное она не выдержала. Они трясли ее на вибростенде, они вдумчиво мучили ее, копались у нее во внутренностях, жгли тонкие нервы паяльниками, она задыхалась от запаха канифоли, ее заставляли делать глупости, ее создали, чтобы она делала глупости, ее совершенствовали, чтобы она делала все более глупые глупости, а вечером оставляли ее, истерзанную, обессиленную, в сухой жаркой комнатухе. И наконец она решилась уйти, хотя знала все — и бессмысленность побега, и свою обреченность. И она ушла, неся в себе самоубийственный заряд, и сейчас стоит где-нибудь в тени, мягко переступая коленчатыми ногами, и смотрит, и слушает, и ждет... И теперь ей, наверное, уже стало совершенно ясно все то, о чем она раньше только догадывалась: что никакой свободы нет, закрыты перед тобой двери или открыты, что все глупость и хаос, и есть только одно одиночество...»³

В этом отношении у создателей антиутопии примечательна личность рассказчика. Там, где в утопиях персонажи характеризуются унифицированным представлением об окружающем (одобрение, восхищение и т. д.), идеологические поиски героев составляют стержень антиутопий; поиски эти только после долгих размышлений приводят к отказу от Утопии. Произведение может на этом оборваться («Улитка на склоне») или последующий бунт может быть описан, либо как неудачный («Мы»), либо как еще неразрешенный («Обитаемый остров»,⁴ «Душа мира»). Так как автор ставит своей целью преодоление определенной идеологической тенденции, бунт не может преподноситься как удавшийся: такой сюжет имел бы эффект умиротворяющий.

³ «Байкал», №№ 2, 51.

⁴ «Нева», 1969, № 3 (стр. 86-130), № 4 (стр. 85-127), № 5 (стр. 90-140).

Одним из самых частых сюжетных приемов обычной беллетристики является преподнесение событий не в том порядке, в каком они имели место. То есть, роман может начаться с середины, потом следует описание предшествующего действия (флэшбэк), и потом дается окончание. В обычном научно-фантастическом романе о путешествии во времени (как у Уэльса, например) автор играет на восприятии персонажами временного порядка, не соответствующего обычной временной последовательности. В повести Стругацких «Попытка к бегству»,⁵ эти два приема совмещаются с тем, чтобы добиться двойного искажения. Если обозначить временной порядок как 1, 2, 3, то герой воспринимает его как 1, 3, 2. Читатель, однако, узнает событийную цепь произведения в последовательности 3, 1, 2. Положение еще более осложняется тем, что другие персонажи существуют только на уровне № 3 и не понимают действительного положения дел. Как видно, такое нарочитое затруднение смысла представляет собой формальное новшество, которое, я думаю, нужно приветствовать.

Обычная научная фантастика (наивной разновидности), из боязни показаться неправдоподобной, стремится к документальности повествования. Автор постоянно подчеркивает, что «такое могло бы случиться». Стругацкие, наоборот, совмещают фантастическое в одной плоскости с нормальным бытом, ради юмористического контраста. Получающаяся сатира оказывается тем эффективнее:

«Тут Полифем со своим костылем и дробовиком взгромоздился на скамейку и заорал, что генералы нас предали, что кругом шпионы и что настоящие патриоты должны сплотиться вокруг знамени, поскольку патриотизм и так далее. Этот Полифем жить не может без патриотизма. Без ноги он жить может, а вот без патриотизма не получается. Когда он охрип и замолчал, чтобы перекурить, я попытался все-таки вразумить наших и стал рассказывать, что жизни на Марсе нет и быть не может, все это выдумки. Однако, говорить мне не дали... Полифем протиснулся ко мне и грозно захрипел: «Бдительность усыпляешь, зараза? Шпион марсианский, дерьмо плешивое! К стенке тебя!»⁶

⁵ А. и Б. Стругацкие, в «Хищных вещах века» (Москва, 1965), стр. 9-128.

⁶ «Второе нашествие марсиан», 1967, № 1, стр. 75.

Выступая как сатирики, Стругацкие тем не менее не уходят от чистого юмора; то-есть, сатирическая отнесенность не вытесняет ненаправленный комический элемент. Влияние Гоголя ясно сказывается на их творчестве, но, как и у Гоголя, читатели часто забывают о «самовитых» ценностях их юмора, выявленных хотя бы в следующей выписке из «Второго нашего шествия марсиан»:

«Спрашивается, в кого у меня такая дочь? Покойница была очень скромная женщина, единственный раз только она увлеклась городским архитектором, но увлечение это было: две-три записочки, одно письмо. И сам я никогда не был кобелем, как выразился бы Полифем. До сих пор с ужасом вспоминаю свой визит к мадам Персефоне. Нет, такое времяпрепровождение не для цивилизованного человека. Все-таки любовь, даже самая что ни на есть плотская, это таинство, и заниматься любовью в компании даже хорошо-знакомых и добродетельных людей совсем не так увлекательно, как это описывается в некоторых книгах» (76-77 стр.).

В настоящее время в Сов. Союзе разворачивается борьба вокруг произведений Стругацких. В. Александров пишет об «Улитке на склоне»: — «Это произведение, названное фантастической повестью, является не чем иным, как пасквилем на нашу действительность... Авторы не говорят, какую формацию имеет описываемое ими общество. Но по всему строю повествования, по тем событиям и рассуждениям, которые имеются в повести, отчетливо видно, кого они подразумевают».⁷

«Улитка на склоне» была напечатана в тех двух номерах «Байкала», что и статья об Олеше Белинкова «Поэт и толстяк». По слухам, у редакции журнала были большие неприятности, и из-за Белинкова, и из-за Стругацких. Самсонов, редактор «Ангара», был смещен с поста за напечатание «Сказки о тройке-птице».⁸ Некоторые сторонники творчества Стругацких считают, что скоро в органы печати им, возможно, будет совсем закрыт доступ. Ясно, однако, что они пока что пользуются поддержкой влиятельных кругов. За отрицательную рецензию на «Второе наше шествие марсиан» был уволен журналист

⁷ «Правда Бурятии», 19.V.1968.

⁸ Журнал «Ангара», №№ 4, 5.

И. Краснобрыжий,⁹ и Стругацкие были приняты в Союз писателей, несмотря на значительное сопротивление со стороны «консерваторов»; совсем недавно даже был устроен их вечер в Доме литераторов в Москве.

Джон Глэд

⁹ Статья Краснобрыжего называется «Двуликая книга». Она появилась в «Журналисте», 1969, № 3, стр. 56-57.

ДРУГАЯ ВЕРА*

IV

*110, рю Тьер (Булонь сюр Сен).
21/8 февр. 1932.*

Дорогая моя Веруня, долго тебе не писала, ласковая моя, потому что жизнь была столь суетна, что и рассказать трудно. Мы переехали на другую квартиру, у нас две комнаты, ванна, кухня, лифт (на 5-ом эт.), горячая вода и центральное отопление и за все это 5000 в год.

Денег у нас не было ни гроша, и Фаина Осиповна¹ устроила нам с Михельсон вечер у Шик — но вечер танцев, бриджа и покера. Боря был там один. Я не пошла.² Да и Боря приехал с Плевицкой, Кайдановым, Игнатовым и Лабинским. Было их выступление в 12 ч. ночи. Дало это около 5000. Мы расплатились с частью долгов и переехали. Теперь выдаем Тулушку замуж. 6 марта, в воскресенье, свадьба в 4 ч., на Дарю будет только венчание, а потом на 8 дней они едут в Фонтенебло. Разумом я счастлива за нее, а сердце у меня болит, что расстаюсь с моей доченькой, и нередко втихомолку плачу. Трудно мне с ней расставаться. Она счастлива, весела; он хороший, интересный и ходы.³ Влюблен в нее тоже.

Она ко мне припадает иногда и говорит: “Мамик, я счастлива, но расставаться мне трудно с Вами”. Боря тоже грустит, но оба мы крепимся. Андрей приходит каждый день к нам, и они веселятся, болтают. Иногда выезжают на балы. Наташа похудела и похорошела очень. “Приданое” у нее набирается. Ну, дружок мой, нежно обнимаю тебя, Яна, поцелуй Галину, кланяйся Зурову. Может быть Наташу скоро увидишь. Они к Вам заедут, если будут посланы в Ниццу.⁴ Пав. Андр. до сих пор болен. Я к нему хожу. Тэффи ужасно устала. Иногда мы собираемся у нее. Пав. Андр., Боря и я. Он очень слаб, но такой же

* См. кн. «Н. Ж.» 92, 95, 96.

чудесный. Слушаю лекции о. Иоанна,⁵ к сожалению, он уехал в Берлин. Его Владыка⁶ послал. Боря нежно тебя целует — Ваню тоже и кланяется всем. Что делает Лоло? Мирра Бальмонт родит в начале марта. Ее “муж” уехал в Румынию, и бедному Бальмонту приходится содержать Мирру. Мирра очень довольна, что у нее будет ребенок. Но она не представляет, как же жить будет? Бальмонт в Париже, и очень ему тужо. Он не пьет совсем уже месяцев 10. Безумно грустный! Совсем не такой, как был.

Господь с тобой. Твоя В.

¹ Ельяшевич.

² Думаю, нечего было надеть порядочного.

³ Так на условном языке Веры и подруги ее московского времени молодости Любы Рыбаковой называлась «мужская» привлекательность.

⁴ Андрей служил в Барклейс Банк, и его посылали во франц. отдел банка для инспекции.

⁵ От. Иоанн Шаховской, ныне архиепископ С.-Францисский.

⁶ Митрополит Евлогий.

Среда 9 марта 1932.

Дорогая моя Веруна, вот уже 3-й день как Наташенька улетела от нас. Очень, очень без нее мы тоскуем. Свадьба была прекрасная.¹ В целом было масса народа, говорят, около 400 человек. Я волновалась адски, но держалась. Все опишу. Наташа была как облако. Платье креп-жоржетт, с мал. треном и фата длинная. Рери ей дала надеть в лимузин (за ней прислал Андрей чудную машину) белую меховую кофточку. Букет, тоже прислан Андреем с шафером Сережей Одарченко (племянник нашего), букет из лилий и ландышей, гирляндой ниспадавших до полу. Боря ее ввел в церковь, и запел хор: “Гряди, гряди голубица, прекрасная моя!” Верочка, пели дивно, все женщины плакали. Было что-то трогательное в этой юной паре. От. Георгий дивно служил и сказал слово. Начал он так: “Милая Наташа, должен сказать, что венчаю я тебя, как бы венчал свою дочь...” и т. д. Он так говорил, что даже Вишняк сказал потом, как хорошо сказал священник. После поехали домой дружки и шафера. Дружки были: Кира Лиле, Ирочка Серова и Наташа Карбасникова, 6 шаферов, родители. Квартира превратилась в цветущий сиреневый сад. Было *огромных* 8 букетов белой сирени и один лиловый букет (от

Аминадо). Белые фиалки, подснежники и т. д. Угощение было: кулебяка, печенье, сэндвичи, конфеты, шампанское и асти. Знак итальянского происхождения. На другой день, наплакавшись досыта, и Боря и я мы начали жить одни. Говорила с Тулушкой по телефону вчера я, а сегодня Боря. Она веселенькая и Андрей тоже. В субботу вернутся, а через две недели может быть поедут в Марсель или Ниццу. Милый Верун, спасибо и за письмо и за телеграмму... Наташа похудела и мила необычайно (что не я говорю, а другие). Мы с ней один вечер очень плакали, а потом я старалась не смотреть на нее. Дай Бог ей радости и счастья. Ну, вот и конец. Пиши мне. Господь над Вами, милые мои. Пишите и не забывайте нас.

Ваша В.

Привожу выписку из письма об этой свадьбе Нат. Ив. Кульман (жена профессора) несколько комического характера. После венчания “молодые” уехали в прекрасном автомобиле. Кто-то спросил: “Чей это автомобиль?” На это Ходасевич ответил: “Не знаю чей, но *не* Бориса Константиновича. У его автомобиля другой номер”.

У нас не только автомобиля, но и вообще гроша медного не было тогда в кармане — и все это знали.

¹6 марта дочь наша Наташа вышла замуж за Андр. Влад. Соллогуба.

20/7 марта 1932.

Дорогой мой Верун, получила твое письмо, целую нежно, а Боря Ванино получил, тоже крепко целует. Душенька! Наташа вернулась счастливая, радостная, но представь себе — через три дня Андр. Влад. захворал стрептококковой ангиной. Сегодня, слава Богу, лучше. Наташенька за ним ходит, спят они в одной постели, т. к. живут в отеле. Я ей посоветовала не рисковать, она на это ответила: “А ты бы ушла от паны, если б он был тяжело болен?” Пока она не заразилась — ухаживает как ангел за ним. Сегодня поведу ее по солнцу гулять, а то ее и не вытащишь.

Веруны! Я от Галины письма *не* получила, ни я, ни Наташа. Неужели бы я не ответила ей, если б получила от нее письмо.

Мы живем тихо и на голодном пайке, выплачиваем долги.

Верун! Скажи Галине, что мы *оба* будем рады, если она из Грасса остановится у нас. Конечно, в том случае, если ей это удобно. Она будет на Наташиной кровати спать, отдельная комната. Ванну может каждый день брать, горячая вода и днем и ночью. Скажи ей, что мы живем в 10 минутах от Порт Сен-Клу. Сообщение удобное, трамвай рядом. Одним словом, пусть едет к нам, не стесняясь, т. к. место у нас есть и мы с радостью ее приютим.

10 фр., которые ты прислала на панихиду о Володе Ладыженском, я дала литератору безработному Курсинскому. Он пришел совершенно голодный. Не хотел брать, но я ему пояснила, что деньги не мои, а помянуть надо Владимира, он тогда взял. Это "быстрая помощь".

Обнимаю тебя, Яна! Господь Вас храни. Твоя В.

30 сент. 1932.

Моя дорогая, завтра целый день буду тебя¹ и всех твоих вспоминать, тех твоих, которые далеко. Папу, братьев. Дай Бог тебе здоровья и покоя душевного.

У нас теперь, слава Богу, более или менее благополучно. А было очень тревожно: захворала сестра Борина, Танечка. У нее было вроде паралича (7 часов продолжалось), и я к ней ездила в Сен-Жермер.² Наконец ее уговорила приехать, и она у нас уже месяц. К сожалению, уезжает во вторник. Оба мы ее любим, и она *светлая*, жалею, что она опять будет одна. Ну, она как монахиня. Тебе надо с ней познакомиться.

Наташенька с Андр. уехали из Руана. Наташенька веселая. Похудела со свадьбы 7 кило, но к ней это страшно идет... Борюшка себя чувствует так себе. У него все голова болит, но денег так мало, что к доктору не идет. Очень лекарство дорого стоит. Мы бросаем квартиру и, Бог даст, переедем в Париж дешевле, тысячи за 4. Уже присмотрели на Шардон Лагаш квартиру. В Париже будет открыто Общежитие для женщин, и я буду устраивать, если Бог поможет, какие-ниб. вечера для денег. Это будет возглавляемо Владыкой. Господь Вас храни. Борюшка тебя *нежно* целует. Христос с Вами.

Твоя В.

¹ День именин обеих Вер.

² Сен-Жермер де Фли, около Бовэ, там сестра моя жила при женск. обители, учила девочек.

19/31 декабря 1932 г.

Дорогая моя Веруня, с Новым Годом поздравляю тебя. Вечером Боря и я ходили ко всенощной, а теперь купили шпроты, мандаринов и бутылку вина. Боря раскладывает пасьянс. Что же тебе пожелать? *Мой маленький, кроткий Друг?* Здоровья, конечно. Милая моя Веруня, ужасно все мы жалели, что ты не приехала в Париж. Как-то ты там с Леонидом Федоровичем?¹ Не представляю. Мне почему-то кажется, что у Вас холодно. У нас такая теплынь, как в апреле. 6 ноября я послала 100 фр. в Москву, они получили. Я им послала 8 декабря 200 фр. — но ни слуху, ни духу. У моей мамы был припадок грудной жабы, а папа слабеет. Все это меня беспокоит до ужаса. И я иногда ночью просыпаюсь с бешеным сердцебиением. Я немного зарабатываю, франков 30-40 в неделю, а что делаю — секрет. С дитенком *не* гуляю, а что делаю — секрет!

Верун! Дорогой мой, напиши мне о себе и как твое здоровье?

Павлу Андр. плохо, по-моему он на глазах слабеет, а Тэффи молодец. Какая у нее выдержка... Нам повезло: Боре Апэтт заплатил за "Золотой узор" 2400 фр., из коих мы отдали 1800 фр. долгу, и столько же долгу у нас еще осталось.

Но все же, слава Богу, пока живы и здоровы. Привет от нас Зурову. Нежно оба обнимаем тебя. Господь с тобой. Что из Москвы?

Твоя В.

¹ Зуров.

V

Наступивший 1933 год был значителен и для жизни Ивана и, отчасти, для эмиграции — особенно литературной ее части. Иван получил, наконец, в ноябре 1933 г. Нобелевскую премию. Борьба за нее началась давно, еще в двадцатых годах, в ней большое участие принимал М. А. Алданов, верный почитатель Бунина. Старались и другие. Дело осложнялось тем, что кроме нерусских соискателей (у каждого свой отряд защитников) соперником Ивана оказался свой же, эмигрант, Мережковский — писатель более даже чем Иван в Европе известный, хотя, конечно, весьма "особенный". Мережковского поддерживал архиеп. Седергольм, у Ивана были другие покровители. В самой семье

Нобелей (здесь, парижан) существовало разделение: муж за Бунина, жена за Мережковского. Советы проводили своего кандидата, если не ошибаюсь, Горького. Но тогда Европа считалась еще с эмиграцией, а советы гораздо меньше значили, чем сейчас. Как бы то ни было, положение создавалось острое.

Весь этот 1933 год, до ноября месяца, был как раз очень трудным для Буниных. Перехожу к первоисточникам.

Воскресенье (января 1933).¹

Дорогой Верун, сейчас была у Яна. У него грипп, никаких осложнений нет. Там был Серов.² Но ты знаешь, какой Ян нетерпеливый. Когда мы пришли, он был в сильном упадке духа. Я ему поставила банки. Боря сходил в аптеку. Дали ему лекарство. Поставила ему горчичник на икры, и он сказал, что ему легче. Стал веселый, и температура у него спала. Хотя он и не ставил градусник, но на ощупь у него температура не большая. И он вспотел. Не волнуйся, все образуется. Сегодня пойду опять и я и Боря и тебе напишу. Позвонила Фондаминским, чтобы они его навестили. Господь храни тебя, моя Душенька. Привет Л. Ф. Боря тебя целует. Он отлично действует на Яна.

Твоя В.

¹ Число не указано. Письмо из Парижа в Грасс. Иван приехал сюда и заболел.

² Врач, наш и Буниных приятель.

Понедельник. (Открытка).

Дорогой мой, пишу тебе от Яна. Он совсем поправился и сейчас ел куриный бульон. У Яна уже 36,7°. И он хорошо себя чувствует. Бог даст, на-днях приедет. Грипп по всему Парижу ходит. Обнимаю тебя. Не волнуйся. Господь храни Вас. Привет Зурову.

Твоя В.

17 февр./2 марта, 1933.

Милый мой Верун, не думай, что я забыла тебя. Но "жизнь молодая проходит бесследно". С утра и до ночи на ногах, если быть антропософкой и верить в переселение душ, то думаю, моя душа будет маховым колесом. Теперь я опять, можно сказать, безработная.

Наташенька уехала в Бордо, и страшно им там нравится, и город, и люди. Они были на балу, вообще веселятся во всю. Конечно, грущу. Мы живем тихо, почти нигде не бываем по вечерам. Теперь у нас лозунг: “Все для лекции”. Вчера получили билеты и сегодня уже начали раздавать по рукам. Я тебе не писала два с лишним месяца. Получила от моей мамы письмо. Она была очень больна, чуть не умерла, а у папы колит с июня месяца. Я им 200 фр. послала и Тане 200 — на расстоянии 2-х месяцев. Что зарабатываю, то и посылаю. Мамочка пишет: поцелуй от меня крепко-крепко Верочку Б. Ужасно плохо им всем. Голодают, а тут еще с этими сводочками французы начали возиться. Ну, не могу об этом писать. Камни должны кричать, если люди терпят коммунизм.

Скажи Л. Ф.,¹ что ужасно жаль, что такими клоками печатают его вещь! Впрочем, *не* говори, он и сам, вероятно, страдает. Мне понравилось, но целого впечатления нет.

Верун! Я почему-то думаю, что летом мы приедем на юг, хотя мы дико бедны. Мы проживаем 1200-1300 фр., но я, да и мой Друг, не падаем духом. Верун, ты знаешь, Боря читал в нашей Бианкурской церкви о Серафиме Саровском. Была битком набита церковь, расставили стулья. Боря читал 1 час, потом перерыв, молитвы пели, потом еще 25 минут, и никто не шелохнулся. Было чудесно. Это не я одна говорю, но все, кто там был. Знакомых были: Наташа, я, да еще две барышни, а остальные все прихожане. Очень жалею, что тебя не было, и Боря жалел.

Ну, что же писать? Хотела анекдот, но теперь пост. Борюшка всех целует. Ужасно мне понравился отрывок из “Арсеньева”. Поцелуй Ваню. Иван твой, это стихия: Огонь, Вода, Солнце, Ветер. Поцелуй его, братика моего названного. Кланяйся Фондаминским. Господь храни Вас всех. Галину поцелуй. Как ее здоровье? Когда выйдет роман? И Зурова роман? Отчего ты давно не пишешь? Отчего?

Вера, пиши, пиши! Что из Москвы? Христос с Вами.

Твоя В.

¹ Леонид Федорович Зуров.

Четверг (6 апр. 1933). Открытка.

Веруня! Папа мой скончался 4 апреля. Была телеграмма. Сейчас его хоронят, я думаю. Очень бы тебя хотела *видеть*.

Вчера причащались. И потом была панихида. За моего Папу, за Твоего, за Лидию¹ (вчера были мамины именины) и за убиенного Алексея, за Севу² и всех родных. Что же тебе сказать. Я плачу и мучаюсь обо всех. Когда получу подробное письмо, пришлю тебе. Господь храни Вас, целуй Яна. Боря целует.

Привет всем. Верочка! моя милая. Ведь опять так близко прикоснул. Твоя и моя семья. Папа накануне умер маминых именин, а телеграмму получила в день ее именин.

Твоя В.

¹ Лидия Фед., мать В. Буниной.

² Всеволод, брат В. Б.

6/19 апр. 1933.

Воистину Воскресе! Моя Веруня! Целую тебя и всех твоих трижды. Милый мой, папа мой умер изумительно, оттого и дает мне силы, бодрости. Из писем: “27 марта в ночь, папу рвало желчью; только в 11 ч. утра он смог встать и открыть дверь. Вошли мамочка, Валя и Надя.¹ Он стал говорить о смерти — не плачьте, я верю в бессмертие, иду туда, где свет. Читайте Евангелие. 6-ю главу от Луки. Похороните меня на Пятницком кладбище, *не* в красном гробу. До 4 апреля говорил о потустороннем, просил прощения. За несколько минут до смерти (а умер он в 3 час. 20 м. дня) он взглянул на портрет своей матери, кот. висел у него над кроватью. Крепко закрыл глаза и сложил руки крестом. И заснул.

Музей² хоронил его с большой торжественностью и вниманием к родным: хоронили в дубовом гробу и похоронили на Введенских горах, близ могилы бабушки Агнессы. За гробом шли сотни людей. Бабушке оставили дедушкину комнату и пенсию. Вот и все. Мамочка держится молодцом, хотя у нее грудная жаба”.

Сегодня я ужасно тоскую по папе. Ужасно, что *здесь* я не увижу его. Панихида была, и о твоём папе молились. Зернов отказал. Мы ему должны 400 фр. Я думаю, он и отказал за это. Живем мы материально очень трудно, но смирились. Даже думать не смеем, как живем здесь.

То, что Зуров огород “городит”,³ это отлично... Но значит, зимой опять в Грассе останетесь? Смотри, если у него легкие слабые, чтоб *не* очень уставал. Мне сейчас стыдно жить. Вся мысль, все у меня там, у них. Кто же шел за гробом? Пишут,

сотни людей! Все меня это интересует, и я ничего не знаю. Ф. О. Ельяшевич сказала: Вас. Бор. пошлет А. Г. Гусакову⁴ через Торгсин денег! Узнаю, если правда пошлет. Я буду у них в воскресенье и спрошу. Прости, что так пишу странно, но я ужасно плохо чувствую себя. Хочется выплакаться и не могу. Боря нежен со мной, но у меня страшное одиночество на душе. Все время думаю о папе и Леше.

У меня есть друг безработный. Я его спросила: А что, повашему, нам дадут с голоду умереть? Он твердо ответил: Дадут! — Но я думаю — нет. Вам, наверху, одиноко! Здесь не так жутко. Мы очень мало где бываем. Очень тронули меня люди. Сколько сочувственных писем. Я не понимаю, отпевали моего папу? Как получу письмо — напишу тебе. Боря целует тебя и Яна и кланяется всем.

(Приписки: “При смерти папы были: мамочка, все сестры и верная слуга Аннушка”. “Заутреню были на Дарю, потом разговлялись дома. Я 7 недель мяса не ела. Кланяйся твоим, Фондаминским и Степунам”).

¹ Дочери.

² Исторический московский. А. В. Орешников был его директором.

³ В прямом смысле. Выращивал в нем овощи для стола.

⁴ Старый профессор, друг Муромцевых.

Без даты, относится к 1933 г. Вероятно, весна, после кончины отца в Москве.

Дорогой Верун, эти письма прочти одна и верни сейчас же мне.¹ Я тебе писать ничего не могу. Очень жалею, что не пришлось поехать на юг, хотя очень хорошо прошел Борин “день”. Около 5 тысяч, но долги свыше 3-х тыс., а жить надо как можно дольше на эти гроши.

Книга Галины мне понравилась. Что и как понравилось, расскажу при свидании, а писать не знаю как. Обнимаю. Господь храни тебя. Как папа умирал! В Эрмитаже и в Музее было торжественное заседание о папе. Около 100 заглавий, книги стояли на полках в Историч. Музее, папин портрет. А после музыкальное отделение: то, что он любил: Глинку, Чайковского, Моцарта, Брамса. Пели и читали стихи Пушкина. Было очень торжественно. Мне безумно жаль мамочку, бедная, как ей тяжело. Эти письма

я читаю и перечитываю. Посылала Оле.² Папе (*там*) лучше. Он с Лешей встретится, и о нас помолятся. До свиданья. Храни Вас Господь. Обнимаю тебя. Твоя В. Осенью надо место искать мне. Посылать в Москву. Очень им трудно всем. Наташечка счастлива очень. Слава Богу. Отошли сейчас же письма назад.

¹ Думаю, письма из Москвы. Их у меня нет.

² Племянница, дочь Тани Полиевктовой, старшей сестры Веры.

Ноябрь 4/22 окт. 1933.

Моя дорогая Веруня, сегодня пошла в “Послед. Новости” насчет посылки в Москву М. З. Ярцевой¹ и там мне сказали, что получена из Копенгагена, из комиссии по Нобелевской премии телеграмма — адрес Ивана и его подданство. У меня ноги задрожали. Неужели??? Боюсь даже вслух сказать. Подумай, как это было бы чудесно. Не говоря уже о вас всех, но ведь какое счастье для нашей бедной России. Какая оплеуха большевикам! Верун! Пошли Бог, чтоб Иван получил. Сегодня праздник Казанской Божией Матери... и это не зря, что запросили в такой день. Писать не могу ни о чем, так взволновалась. Обнимаю Вас, дорогие, и пошли Бог, чтоб исполнилось.

Из М-вы ужасные вести. Слава Богу, мы посылаем каждый месяц по 100 фр. Маму все время жильцы гонят, и она, бедная, беспомощная. Очень сдружилась с Таней, и дети все очень ее поддерживают. Она получает 100 руб. и паек. Господь с Вами! Четверга² буду ждать с трепетом. Обнимаю Ивана и привет ребятам. Твоя В.

¹ Вдова драматурга П. М. Ярцева, нашего друга.

² Видимо, день присуждения Нобелев. премии.

16 ноября 1933.

Верун! Дорогой мой! Вчера встретили Ивана, и ужасно горько было, что ты не приехала вместе. Вся жизнь прошла у меня перед глазами. Как Вы собирались в кругосветное путешествие.¹ Как он был влюблен и как Вы оба хороши были. Говорить не приходится, какой переполох был и какой восторг обуял всех, когда узнали, что Иван получил премию. Русские все чуть не целовались, гордились и легче всем стало, что русский писатель

как бы возвеличил бедных, обмордованных большевиками эмигрантов. Иван помолодел, растроган. К сожалению, я не присутствовала за завтраком у Корнилова, т. к. дежурила у Павл. Андр. Но сегодня была в “Возрождении”, и опять его чествовали. Верун, приезжайте скорее. Иван говорит, что Вы все должны приодеться, но ведь это здесь лучше можно сделать. Я была уверена, что ты приедешь, поэтому не писала. Как жаль, что папа твой не дожил до этого. И Юл. Алексеевич. Всех ушедших вспоминаю. Милая моя Веруня, родная. Везде твои портреты. Помнишь, в день твоего совершеннолетия мы ходили к фотографу на Тверской, к Опупу, кажется, и ты снялась. Как было хорошо и все впереди. Ну, а теперь Бога благодарить надо за всю его милость! Я очень взволнована и трудно все написать. Приезжай, моя родная, поскорей. И *напиши*, когда приедешь. Мы встретим тебя, как подобает. Привет Гале и Л. Ф. от нас обоих. Воображаю, как все волнуются. Господь храни вас. И ждем, ждем. А то какой-то провал, что тебя нет здесь. Боря, Наташа целуют. Андрей кланяется. Наташа поправилась и прибавила 2½ кило. Ей впрыскивают мышьяк. Все расскажу, когда увижу. Твоя В.

¹ «Кругосветное» — в Палестину, весной 1907, неоформленное «свадебное» путешествие.

Иван приехал в Париж один, Вера позже. Мы с Алдановым и А. Седых встречали его на Лионском вокзале утром, в начале ноября. Завтракали у Корнилова (в то время лучший русский ресторан Парижа). Поздравлял и хозяин, “угощал” Ивана и друзей его бесплатно.

С этого и начались бурно-шумные дни чествований, очень искренних и возбужденных. Ивану сняли две отличные комнаты в отеле “Мажестик”, А. Седых стал его секретарем — и дел ему было немало. Приходили интервьюеры, переводчики на иностр. языки, просители. Помню одно насмешлившее всех нас письмо от эмигранта “дю простой” из провинции: просил деньжонок и уверял, что если Иван просьбу его исполнит, то “Бог поможет ему и в следующем году получить премию”. Вторую премию Иван не получил, но деньги послал — за простодушие. Позже, когда Иван фактически деньги получил, раздачу поставили на серьезную почву: Комитет под председ. проф. Н. К. Кульмана распределил по отдельным писателям, учреждениям, организациям

эмигрантским десятую часть добычи, а уже частным образом и “по-клошарски” все было прекращено.

Не одна Вера Зайцева, но и очень многие в эмиграции были искренно обрадованы победой именно вольного, изгнаннического и полунического, но настоящего писателя. Дни до отъезда Пвана в Стокгольм вспоминаются как почти сплошной праздник: от литературного вечера в огромном театре Шан-з’Элизе, где многие из нас выступали, а Вера Бунина сидела в ложе с митрополитом Евлогием, до разных приемов, банкетов — адреса, цветы, подношения. В “Мажестике” вечная толчая посетителей, в газетах эмигрантских статьи, все как полагается.

Бунины давно ждали этой премии, и как раз этот год был для них особо трудным и нервным — и денежно трудным, и душевно. Зато хорошо кончился. Прилагаю последнее письмо моей Веры за этот год.

31 декабря 1933 г.

Дорогой мой Верун, через два часа наступает Новый Год — что же написать? Старый год был очень страшен, сколько потеряли друзей и кровных. Получила твое письмо и плакала. Что-то в нем пронзительное было. Все переживала снова и снова. И Садовую и Скатертный переулок.¹ И маму и Павлика в красной рубашечке, и тебя в красном картузике. Беатриче, как тебя звал дядя Доля (он до сих пор еще жив). Мне знакомо чувство вины перед своими. И ты знаешь, что моей вины много. Не терзайся, мой любимый друг — все ты делала, что могла для дорогого нашего Павлика. Я Андрею Георгиевичу² написала открытку ко дню Ангела, но ответа не получила. Что с Митей?³ Ох, дорогая, как все страшно.

Мы уезжали на пять дней в имение Ельяшевич. Отдохнули чудно. Чудесный дом, сад. Много с Бабушкой (мать Ф. О. Ельяшевич. Б. З.) была. Она очень тебя целует и с любовью вспоминает. Неподражаемо рассказывает, какая ты была красивая в коралловых серьгах!!!

¹ На Садовой детство моей Веры, в Скатертном — Муромцевой-Буниной.

² Проф. Гусаков, друг семьи Муромцевых.

³ Павлик и Митя — братья Веры Буниной.

1 янв. 1934 год. (В том же письме).

Верун! Вчера пришли Полонские и принесли жареного пегуха. Мы выпили Асти Спуманте и тихо посидели. Всех вспоминали в 12 час., и я мысленно поцеловала тебя. Верун, сейчас опять перечла твоё письмо, строки из письма М. Ф.¹ раздирают сердце. Да, она очень верующая и терпеливо будет ждать очереди идти к Павлику. Мне кажется, что на Рождество все ушедшие встречаются и все в белом. Твои, мои, Лешка, Павлик, может и узнали друг друга. (В подлиннике тут от капнувшей слезы пятно чернильное. Б. З.). Вера, я ужасно тоскую о своих и об ушедших и об далеких.

В Николин день была (накануне всенощной) у нас в Бианкуре и очень я хорошо выревелась. Как-то реально почувствовала св. Николая. Павлик посмеивался надо мной, когда я говорила с ним об этом и еще о Любви, во время болезни Бори.² Верун, когда Вы приедете, прошу *приди к нам* и мы поговорим о наших. Ну, до свидания, спаси Господь, сохрани. Боря целует и поздравляет. Письмо бестолковое. (Вера в волнении даже не подписалась. Б. З.).

¹ Жена умершего Павлика.

² Еще в Москве, в 1922 г., когда у меня был тиф.

Январь 30/12 февр. 1934.

Верун, малый¹ мой: Как же твоё здоровье? Вот уже почти месяц, как ты уехала, и ни слуху, ни духу. Вчера было рождение Бори, и к нам пришли, кто помнил: Нат. Ив., 2-е Кампанари, Феничка с галстуком. Очень интересно рассказывали Кампанари о боях² на Конкорд'е. Все мы волновались очень. Какое (....) оказалось правительство. Сегодня забастовка, но, слава Богу, есть газ, электричество и вода.

Читала Цветаеву об Иловайских, что же *блестяще* написано,.... *но нельзя так ломаться*. Я читала с огромным интересом, но иногда "промелькивало" в голове, попроще, попроще. Что Иван и как его геморой? Поцелуй Ивана крепко, крепко. Что "мóлодежь?" Так в эмиграции ставят ударение. Верун, как твоё сердце? Лежишь ли ты? Что делаешь? Пишешь ли что-нибудь? Борух, слава Богу, чувствует себя неплохо. Мы почти никуда не ходим. Я хожу к Тэффи. Бедный Пав. Андр. ужасно слаб, гораздо

слабее, чем был при Вас. Тэффи устала... до предела. Но бодрится.

Борух всех целует, и я тоже кому кланяюсь, кого целую. Спаси Вас Христос!

¹ Вероятно, в смысле «маленький». Написано ясно *а*, а не *и*.

² Выступление полк. де ля Рока с французской фашистской группой. Шли на Парламент.

6 марта 1934.

Дорогой мой Верун, ровно 2 года тому назад была свадьба Наташи. А в четверг они уехали в Марсель. Пробудет с месяц, а потом, Бог даст, пошлют их в Ниццу или в Канн. Конечно, мы наостримся к ним съездить. Благодаря подарку Ивана, мы с ноября живем как коты. Зубы оба починили, я набрала себе на два платья. Спасибо ему, поцелуй его. И Боре рубашки купила, да и всякую мелочь приобрели. Верун, на первой неделе поста я говела. В субботу, в сороковой день кончины отца Георгия¹ общалась. Накануне пошла к обедне, а вечером на Парастас, и не знала, у кого исповедываться. И решила пойти к незнакомому иеромонаху Кириллу. Он оказался тоже духовный сын о. Георгия. И я страшно была довольна своим говением. Давно так хорошо мне не было на душе. Я очень скучаю по о. Георгии. Но чувствую, как он молится за нас. Наташенька уехала очень веселая. И когда села в вагон, высунула мордочку и сказала: «Мамик, мы как будто в свадебное путешествие едем!» Значит, ей хорошо. Накануне Андрей ей купил в Труа Картье пальто, сам выбрал. Оба они нежные и радостные. Дай им Бог счастья подольше...

Хожу к П. А. 3-4 раза в неделю. Он *очень* слабеет, и боюсь недолго ему жить. С Тэффи мы об этом стараемся не говорить. А напротив, всячески подбадриваю ее. Бедная Любовь Столица² умерла. Мы очень мало кого видим. Думаю, на вечере Шмелева кое-кого увидим. Борюшка себя чувствует неплохо. Получаю из Москвы письма. Теперь, благодаря Ивану, посылаю им каждый месяц по 100 фр. Сейчас мне очень грустно, дождь, слякоть! Тучи ползут. Господь Вас храни!

Всем кланяюсь. В *Прощеный день* была пасхальная служба (монастырская). Изумительно было. Это в первый раз Вла-

дыка разрешил. Жду от тебя письма. Боря целует и кланяется всем.

Твоя В.

¹ От. Георгий Спасский, наш духовник и друг. Выдающийся проповедник и оратор. Скончался в янв. 1934 г.

² Довольно известная в свое время поэтесса.

1/19 апреля. Вербное воскресенье. 1934 г.

Дорогой Верун, отчего ты так долго не пишешь? Здоровали? Все ли благополучно? Что из Москвы? Вот и докатились до Пасхи! Верун, милый мой, этот четверг буду с тобой мысленно, именины твоей мамы, буду жить прошлым, нашей молодостью и глупостью нашей. А во вторник день кончины папы моего. Посылаю некролог, верни его мне по прочтении. Здесь все то же. В 9½ час. пошли к Рери,¹ был “сейдер” — ихняя Пасха. Исход из Египта? А мы, эмигранты, тоже, пожалуй, будем “сейдер” справлять, исход из России!! О, Боже, Боже, когда все это кончится?

Иван твой очень поправился, тьфу, тьфу, не сглазить! У него и цвет лица стал хороший и даже помордел чуть! Боря собирается к Вам в конце апреля, и если Наташенька будет на юге, то и я к ней подъеду. Все время хожу к П. А., привыкла к ним. Он, бедный, очень слабеет, ноги почти не ходят, но последние дни он повеселел опять. Тэффи устала. Но какой она сильный человек, удивительно. Дай ей Бог здоровья побольше. Во вторник пойду панихиду служить по папе и по всем твоим близким. Боря будет говеть, а я уже отговела. Напиши о здоровье Мити! Милый, не молчи так долго. Целую и кланяюсь всем. — Твоя В.

Бор. Зайцев

¹ Жена М. А. Осоргина.

ВСТРЕЧА С АБАКУМОВЫМ В ТЮРЬМЕ НКВД

ИЗ ТЮРЕМНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ

Было уже больше года, как я сидел в НКВД. Допросы, с методами физического воздействия, прекратились. Меня перевели из подвала в камеру, расположенную на втором этаже, с окном, выходящим на прогулочный дворик. В окно была вделана массивная, железная решетка, позади которой был козырек, закрывавший свет и вид из окна.

В коридоре, кроме политических заключенных, была камера и для уголовников: в ней сидели воры, бандиты, убийцы. Камера эта не подчинялась никаким тюремным правилам. И когда она шла на «оправку», слышались громкие разговоры, матерщина, шум. Конвоир ничего не мог поделать с «социально-близким элементом».

Помню, как в камере у нас получилась сенсационная новость: — Пахан ухлопал Троцкого! — У, стерва, даже в Мексику пролез! — Туда ему, сволочи и дорога!

В нашей камере сидела интеллигенция: инженеры, агрономы, доктора, научные работники разных специальностей и партийная элита. Многие помнили «великую октябрьскую», знавали этого alter ego Ленина. Камеру обуревала дискуссия по вопросу о роли личности в истории: была она ни к месту и ни ко времени!

Под нашим окном находилась камера с проститутками. Хотя сталинский тезис гласил — «Проституция свойственна только буржуазному обществу, при социализме она немыслима», — однако, тюремная действительность наглядно опровергала сие мудрое изречение. Каждый вечер, особенно ночью, доносились до нас пронзительные крики, плач, споры, а иногда разухабистые, полные цинизма, песни. Поражало абсолютное, не знающее границ, бесстыдство не только женщин, но и несовершеннолетних девочек-подростков.

У козырька нашего окна был отломан небольшой уголок, дававший возможность наблюдать происходящее на дворе, куда заключенные выходили на ежедневные, пятиминутные прогулки. Естественно, у всех был большой интерес к тому, что творилось на этом небольшом квадратике земли. Мы впились в лица гуляющих арестантов: искали — нет ли родных, близких, знакомых, врагов, недругов.

Наблюдения велись осторожно. Прежде всего, спиной одного из заключенных, закрывался глазок в двери, затем выстраивалась очередь к окну. Лицезреть двор можно было только одним глазом, согнувшись в три погибели, в позе крайне неудобной и утомительной. Каждый имел право на свою долю времени: демократический принцип здесь соблюдался очень строго.

Через это окошечко, вернее щелочку, был виден почти весь дворик, огороженный деревянным забором, выше роста человеческого. «Прогулочники» входили в него через небольшую дверцу, которую закрывал за ними конвоир. Во дворике была асфальтированная дорожка, имевшая форму круга, по которой ходили заключенные. Запрещались разговоры и хождение парами. Прогулка на свежем воздухе продолжалась не более двух минут. В положенные, по инструкции, пять минут, входило время с момента ухода из камеры до момента возвращения в нее.

Когда проститутки выходили на «двух-минутку», все правила летели вверх дном. В камере их было человек 25-30. Возраст — от зеленого подростка до бальзаковского: старух не было. Раз мне удалось быть свидетелем одной из таких прогулок.

Шествие начиналось торжественно и мирно. «Падшие создания» проходят цепочкой мимо конвоира, который ведет им счет. Они в ярких, простеньких платьях. По пути охорашиваются и стреляют по сторонам глазами. Но едва только закрываются двери, как начинается «представление».

Одна, хорошенькая, стройная, совсем еще девочка, подходит к конвоиру почти вплотную. Затем, неожиданно, с чисто женским изяществом и грацией, задирает юбку под самое горло. На теле никаких признаков какой-либо одежды. Подергивая плечами и всем телом, произносит с усмешкой:

Чего выпучил, дурак, глазища? Чего стоишь, как истукан? Скидай штаны!

Конвоир, знакомый с подобными представлениями, грубо отталкивает ее, ругается, плюется.

— Ах, ты сексот! — кричит она, схватив за пояс и стараясь расстегнуть его.

— Уйди, паскуда! — конвоир, кулаком в грудь, отбрасывает ее и она расплывается на асфальтовой дорожке.

Проститутки поднимают вой, крик. С задранными платьями, начинают плясать, делая телами непристойные движения. Прогулка прекращается и вся камера запирается в карцер. После «штрафного прогула» наступает, на время, спокойствие, а затем история снова повторяется.



Мне был предоставлен отдых: срок его никому не был известен. Только несколько дней тому назад я вернулся после девятнадцатидневного конвеера. Этот метод во всех тюрьмах, повидимому, был одинаков. Следовательно вызвал меня, как обычно, ночью.

— Вот тебе протокол, — сказал он, — прочти его и подпиши. Не подпишешь — пеняй на себя!

Меня усадили на высокий табурет, ноги мои, не касаясь пола, висели в воздухе. Передо мною поставили стол, на котором лежал, составленный следователем, протокол. Здесь были чернильница, перо и — какая предусмотрительность! — промокательная бумага.

Протокол подписать я не мог. Было бы нелепо добровольно подписать «высшую меру наказания». Меня обвиняли по целому ряду пунктов статьи 58-ой. Была там и измена родине, и принадлежность к контр-революционной организации, и террор, и диверсия и шпионаж. Все обвинения были малограмотны, но основывались на фактах, из которых делались фантастические выводы. Я не хочу излагать по пунктам каждое предъявленное мне обвинение. Упомяну только наиболее яркие. В пункте о терроре говорилось, что я замышлял покушение на жизнь Сталина, когда был, в дни октябрьских торжеств, в Москве. Действительно, с делегацией альпинистов мне пришлось продефилировать перед мавзолеем и трибуной, на которой стояли Сталин, Молотов, Каганович, Ворошилов и другие, так

называемые, вожди. Помню, меня поразило несоответствие портрета «великого вождя» с оригиналом. На трибуне стоял небольшого роста, немного сгорбленный, сильно потрепанный человек с бледным, казалось, опухшим лицом. Только темные усы указывали на отдаленное сходство с портретом.

Это «видение Сталина» было достаточным для следователя, чтоб можно было скомбинировать террористический акт.

— Ты должен был бросить бомбу, когда проходил мимо трибуны! — безапелляционно проговорил следователь.

— А где же я мог ее достать? — спросил я.

— Не тебе это спрашивать: ты знаешь лучше, чем я, — последовал ответ.

Надо сказать, что перед выходом на демонстрацию, нас всех тщательно обыскивали, предупредив, что категорически запрещается опускать руки в карман, сморкаться, т. е. вынимать платки, передавать что-либо из рук в руки, выходить из строя и т. д.

Мы проходили мимо трибуны не на близком расстоянии. Перед нею несколькими рядами были расположены войска НКВД и милиция. Мы видели, как вооруженные до зубов энкаведисты, стоявшие в первых рядах, пожирали глазами каждое движение проходящих мимо людей. Думаю, что если бы кто-нибудь нарушил порядок, он поплатился бы своей свободой, а, возможно, и жизнью.

В чем заключалось обвинение в шпионаже? Мною было издано несколько карт кавказского хребта, перевалов и т. д. Они охватывали исключительно области вечного оледенения и были предназначены для альпинистов. Их можно было свободно купить в магазинах Москвы, Ленинграда и других городов. В пункте о шпионаже следователь сделал «важную оговорку»: — на этих картах мною будто бы нанесены, не раскрытым пока шифром, секретные, военные объекты. На мой вопрос: — Каким же образом эти объекты могут находиться на ледниках, которые, как известно, движутся? И почему мы этих объектов никогда не видели? — Следователь ответил только репликой: — Мы это знаем лучше, чем ты?

Пункт о диверсии был самым фантастическим из всех пунктов обвинения. Со мною на Эльбрус поднялась группа ученых: были там академики, профессора, доктора медицины и технических наук.

Следователь глубокомысленно расшифровал оборотную

сторону этого восхождения. Оказывается, что на вершине Эльбруса мною был установлен аппарат секретной конструкции, который должен был вызвать искусственное извержение вулкана, в результате чего огромные скопления снега, фирна и льда, занимающие площадь равную 150 квадратным километрам, должны были расстаять и затопить территории Кабардино-Балкарии, Сванетии, частично Предкавказья и т. д. Пучина, вновь образованного моря, поглотила бы десятки тысяч человеческих жизней!

Я смотрел на следователя и не знал — плакать мне или смеяться? Прийдя немного в себя, я заметил: — Но насколько мне известно, человечество еще не изобрело такого взрывчатого вещества, которое могло бы вызвать искусственное извержение такого вулкана, как Эльбрус.

Следователь презрительно посмотрел на меня:

— Не рассказывай мне глупостей, твои профессора и академики знают, как это сделать!

Я думаю и верю, что когда-нибудь наступит время, когда секретные архивы НКВД будут вскрыты: там будет обнаружено «разливное море» непроходимого невежества, фантастической глупости и подлости, за которые сотни тысяч невинных людей заплатили своей молодостью, счастьем и жизнью!



Следователь усиленно уговаривал меня подписать протокол, лежащий передо мною.

— Он составлен по твоим же показаниям, — говорил он. — Моя задача — разъяснить только настоящее положение вещей! Подписывай и я сейчас же отправлю тебя в камеру.

Первые дни моего конвеера были особенно тяжелы и мучительны. Следователи сменялись каждые восемь часов: приходили свежие, надушенные, чистые, сытые и отдохнувшие. Мне не давали спать — это была пытка бессонницей. Как только я начинал качаться на своей непомерно высокой табуретке или склонять голову, тотчас же подходил следователь и давал мне либо зуботычину, либо ударял по голове тяжелой книгой или окатывал меня холодной водой.

Никогда раньше я не предполагал, насколько вынослив человеческий организм. В конце концов, мне пришлось убедиться в этом на собственном опыте. После трех-четырёх суток

бодрствования, я научился спать с открытыми глазами, чувствовать все, что происходит вокруг меня и как-то реагировать на слова, доходившие до моего сознания. Ничем иным я не могу объяснить моего девятнадцатидневного, лишенного сна сидения на неудобной высокой табуретке.

Я замечал, как следователь, бывало, тихо подходил ко мне и смотрел мне в открытые, неподвижные глаза. Очевидно, что и для него мое состояние представляло собой загадку. Иногда он шопотом спрашивал:

— Ты спишь?

— Нет, — отвечал я, не нарушая сна, — у меня ведь открыты глаза.

— Подписывай протокол, — внушал он мне, — сейчас же отправлю обратно в камеру.

— Не могу, — машинально отвечало мое подсознание.

Мое непонятное для него состояние, ответы, идущие вразрез с его требованиями, мое упорство, выматывали и у него нервы и выводили его из себя.

— Ну, и черт с тобой! — разозлившись, кричал он мне прямо в ухо, — сиди еще месяц, сволочь!

Потом отходил, усаживался за стол и начинал читать книгу. Думаю, что и ему надоели все эти бесконечные сидения с арестантами. В ночное время, вероятно, и он отдавался «морфейному блюду».

Бывали случаи, когда к следователю заходило начальство. Практиковалось это по ночам: возможно, что это был метод контроля над работой с арестованными. При появлении начальства, следователь вскакивал, рапортовал и, в подобных моем случаях, добавлял с сердцем:

— Спит, сволочь, с открытыми глазами!

Начальство не любило этого:

— А ну-ка, приведи его в порядок!

Если не помогали зуботычины, удары книгой по голове и холодная вода, разъяренный следователь сильным толчком ноги, сбивал меня с табуретки: валился я, как пень. Это было одно из радикальных средств — надо было просыпаться! Арестант мог легко вывихнуть руку, сломать ребро, выбить себе глаз, разбить нос или затылок.

В последние дни силы меня совсем покинули: я даже не мог отдать свою ежедневную дань необходимому. Конвоиры, чтобы предотвратить катастрофу в присутственном месте, при-

нуждены были волочить меня в наше тюремное чистилище, где приходилось выполнять эти неотложно-физиологические процедуры под неустанным наблюдением четырех зорко-следящих глаз. Я же находился в настолько невменяемом состоянии, что не испытывал ни стыда, ни чувства мерзости от соучастия в подобном, так дурно-пахнущем, триумvirате.

В случаях полнейшей бесполезности дальнейшего пребывания арестанта в кабинете следователя, последний, по согласованию с начальством, направлял его назад в камеру.

Сокамерники рассказывали мне позже, что конвоиры принесли мое бездыханное тело на носилках и сбросили его на пол, ругаясь непечатными словами. Я же спал непробудным сном.



Меня не трогали, не вызывали на допросы. Я блаженствовал, если только мое состояние можно было так назвать. Боже мой, как мало надо арестанту, какими ничтожными подачками он доволен!

Однако, спокойствие мое было скоро потеряно. Камера была взволнована слухами о прибытии полномочной комиссии ЦК партии, которая должна была пересматривать дела арестованных. Будто дуновение свежего ветра коснулось, потерявших надежду, заключенных: увы, это было, конечно, первое обманчивое впечатление.

Среди заключенных были «маниловы», строившие фантастические догадки: начальствующий состав нашего НКВД арестован, раскрыт обман следователей, составлявших фальшивые протоколы, отменены физические методы воздействия и т. д. Этому могли верить только единицы. Огромное же большинство заключенных давно утратили все иллюзии и хорошо знали реальную цену обещаний НКВД.

Комиссия ЦК все же прибыла.

В часы вызовов на допросы мы не спали. Казалось, что все ждали, кому выпадет призрачное счастье лицезреть представителей ЦК, этого высшего партийного органа в СССР, долженствующего водворить порядок и справедливость в тюремные застенки НКВД.

Из нашей камеры, я сделался первой жертвой этой высокоавторитетной комиссии.



Наконец, раздался звон ключей и застучал засов у дверей нашей камеры: было уже далеко за полночь и заключенные мирно дремали, растянувшись во весь рост на полу. К удивлению арестованных, за дверью, кроме конвоиров, стоял старый знакомый — мой следователь.

— Собирайся, — сказал он, нарушая прерогативы конвоиров, — и живо!

Пришлось одеваться под высоким контролем следователя, любовавшегося, как будто никогда ранее не виданной картиной. Он иронически рассматривал мое «исподнее» и одежду, превратившуюся в лохмотья.

Сначала мы пришли в кабинет моего вивисектора. Молча протянул он мне свой портсигар, наполненный «Беломорканалом». Мое лицо, вероятно, выразило глубочайшее изумление.

— Кури! — сказал он просто и помолчав немного: — Твое дело уже закончено. Скоро поедешь в лагерь!

Мне показался он не таким, как всегда. Было заметно, что он нервничал и в голосе его слышались какие-то взволнованные нотки. Когда же я заикнулся о том, что мое дело даже не начато, что суда не было, — он подошел ко мне и, отчеканивая каждое слово, словно ножом отрезал:

— Меньше разговаривай! Не задавай глупых вопросов! Для тебя же будет лучше.

У меня мелькнула мысль, что мне предстоит свидание с одним из «высокопоставленных товарищей», возможно, что с комиссией ЦК.

Прошло минут двадцать. Я молча сидел в кабинете следователя. Он ходил по комнате, куря папиросу за папиросой. Мне было все безразлично. Я знал, что из этой ловушки было только два выхода — один в лагерь, куда-нибудь в Казахстан или Колыму, другой — в подвал, к стенке. Тюрьма делает человека фаталистом. Я понимал, что борьба бесполезна и готов был ко всему, что мне было предопределено в «Книге Судеб».

Тишина, царившая в кабинете, была нарушена телефонным звонком. Следователь, с растерянным видом, подбежал к аппарату, снял трубку, сделал глубокий поклон: подобострастие застыло у него на лице.

— Слушаюсь, слушаюсь! Сейчас же приведу, — проговорил он тихо и почтительно, продолжая отвешивать поклоны телефонному аппарату.

Выйдя затем в коридор, где его ожидали конвоиры, он бросил мне:

— Идем!

Мы безмолвно шли по бесконечным коридорам. Спереди и сзади шагали конвоиры, впереди, направо, следовательно.

Царство НКВД было похоже на огромный лабиринт: нам приходилось подниматься, спускаться, проходить мимо лестниц, пролеты которых были закованы в железные, сетчатые каркасы. Все пространство этого безбрежного лабиринта было пропитано специфическим, неповторимым нигде ароматом дешевых духов, смешанных с запахами арестантского пота и давно нестиранного, грязного белья.

Мы спустились, наконец, в нижний этаж. Здесь, очевидно, обитало высшее начальство. Коридор был ярко освещен, во всю ширину его был распростерт мягкий, бархатистый, ярко-красный ковер. На дверях не было никаких надписей: только сверху стояли цифры первого десятка.

Мы вошли в комнату под номером три, — больших размеров, с окнами, выходящими, вероятно, на улицу. Они были занавешаны тяжелыми портьерами, не пропускавшими посторонних звуков. Пол был покрыт толстым ковром, в котором приятно утопали ноги. Справа стоял большой стол, с роскошным бронзовым прибором и двумя старинными канделябрами. У меня сразу мелькнула невольная мысль: «Из какого же дворца это утащено?» Над столом висел портрет улыбающегося Сталина, беседующего со смеющимися детьми. «Какой головотяп, — подумал я, — мог повесить эту идиллическую картину в это богомерзкое учреждение?»

Человек, сидевший за столом, был одет в форму НКВД: на его петлицах красовалось по два ромба. Это была шишка, не ровня моему следователю! Приняв установленный рапорт, высокое начальство указало мне на стул, на который я сейчас же и сел. Следователь стоял, ожидая дальнейших распоряжений. Конвоиры молча удалились, осторожно закрыв за собою дверь.

В комнате воцарилась тишина: никто не шевелился, не разговаривал. Так прошло, пожалуй, около получаса. Мельком я взглянул на своего следователя. Лицо его было торжественно-серьезно и каменно. Глаза впились не то в начальство, не то в телефон, от которых, казалось, должна была зависеть его судьба.

У начальника было тупое, плоское, красное, откормленное лицо, похожее на облысевший зад старого шимпанзе. Заплывшие жиром глаза, без проблеска разумной мысли, с воспаленными веками — вероятно, результат венерических заболеваний — были уставлены на здоровенные, поросшие рыжей шерстью, не привыкшие к бездействию, кулаки — сейчас принужденные покоиться на блестящей, полированной поверхности письменного стола.

Дурацкое состояние, в котором мы находились, длилось слишком долго: казалось нелепым, чтобы три взрослых человека забавлялись игрой в «молчанку». Но вот зазвонил телефон и все сразу ожило. Высокое начальство приложило трубку к своему заросшему, как паутиной, ушному отверстию.

— Сейчас, — сказала оно осторожно в трубку, сделав неопределенный жест следователю в направлении большого во всю стену шкафа.

Шкаф оказался дверью в соседнюю комнату. Мне не раз приходилось слышать о подобных дверях. Очевидно, это было одним из достижений «новейшей конспиративной техники» НКВД.

Я вошел в огромную комнату. Она была обставлена с той же кричащей роскошью, как и предыдущая. У одной из стен стоял большой письменный стол, к которому был приставлен на подобие буквы «Т» другой, предназначенный для заседаний. За столом сидел человек в прекрасно сшитом, темном костюме. Он был средних лет, высок ростом, строен, немного полноват, с густой черновато-рыжеватой шевелюрой. Лицо у него было усталое, с холодными, сверлящими глазами, под которыми легли синевато-темные тени.

Рядом с ним, — немного в стороне, сидел подвижной, худощавый человек с тонкими немного расплывчатыми чертами лица. Одет он был в форму НКВД, при чем петлицы его были украшены четырьмя ромбами. В руках у него была папка с бумагами. По временам он вынимал из нее то одну, то другую и клал на стол перед лицом, очевидно, своего начальника.

Следователь, как автомат, повторил свой лаконический рапорт, отошел от стола начальства, вытянулся и застыл на месте.

— Садитесь, — любезно предложило мне, сидевшее за столом начальство. — Моя фамилия Абакумов, — он не счел необходимым отметить свое звание и ранг. — А это, — он указал

на своего соседа, — один из членов нашей комиссии, товарищ Григорьев, член Верховного Совета и начальник Краевого Управления НКВД.

Я сел. Не говоря ни слова, Абакумов ловко бросил мне пачку «Кремля», которая скользнув по столу, упала прямо мне на колени.

— Я тщательно ознакомился с вашим делом, — начал Абакумов, и затем, как бы спохватившись, — да курите же, я знаю, как это важно для арестованного! Так вот, — продолжал он, — комиссия ЦК партии, которую я возглавляю, проникнута самыми гуманными намерениями, она не собирается карать людей за преступления, иногда даже тяжелые. Нет, она стремится исправить людей, сделать из них полезных, честных, преданных своей родине граждан. Не исключена возможность, что и вы, по отбытии срока наказания, вернетесь, получив высокую правительственную награду. Таких случаев было у нас достаточно.

Я молчал, отлично зная цену этой коммунистической пропаганды. Видя, что я никак не реагирую на его слова, Абакумов переменял тему разговора.

— Вы, вероятно, голодны? Я знаю, что тюремное питание не только у нас, но и во всем мире, не всегда хорошо. — Повернувшись к секретарю, сидевшему за отдельным столом, он бросил: — Распорядитесь!

Затем, помолчав немного, долго смотрел на листок бумаги, переданный ему Григорьевым.

— Ну, а как с вашей семьей?

Я подумал: какой дикий вопрос! Что мог я знать о моей семье, сидя за семью замками? Я недоумевающе посмотрел на Абакумова.

— Я понимаю, что вы ничего не могли знать. Но разве следователь ваш... — он не закончил фразы. — Хорошо, тогда я вам скажу. Жена ваша проживает на старой квартире, имеет хорошую работу. Сын находится при ней, чувствует себя превосходно!

Как я узнал потом, от жены отвернулись все прежние ее друзья и знакомые: это была обычная картина того времени. Ее выгнали со службы, как жену «врага народа», без права поступления на другую работу. Сын же мой, когда ораторствовал Абакумов о моем семейном благополучии, находился уже там, где «несть ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но

жизнь бесконечная»: он умер, как и многие другие, просто от голода. Такова была неприглядная, реальная советская действительность.

Наш разговор прервала официантка, вошедшая через шкаф и несшая на подносе большую кружку дымящегося, ароматного какао, несколько бутербродов с ветчиной, колбасой и сыром и три огромных пирожных. «Боже мой, — подумал я, — какое лукулловское угощение!» Изголодавшийся организм заныл и по нему прошла, как электрическая искра, судорожная спазма.

Однако, большее впечатление произвела на меня официантка. С первого взгляда я узнал в ней нашу старую прислугу. Это была милая, отзывчивая девушка. В разгар революции она ушла от нас, выйдя замуж. Ее благоверный служил сейчас вахтером в НКВД. Увидев меня, она пошатнулась, руки ее дрогнули, поднос покачнулся и, если бы не следовательно, то все яства полетели бы на пол. Но НКВД, это — университет, где человек в совершенстве научается владеть собою, скрывать свои мысли и чувства, где он, во мгновение ока, надевает на себя непроницаемую маску. Я не показал вида, что узнал ее. Поставив на стол «лукулловский ужин», она, вся пунцовая, взволнованная и растерянная, быстро вышла из кабинета.

Поразительно, что на следующий день, — поймите человеческую психологию! — она, служащая НКВД, рискуя погубить себя и своего мужа, не побоялась пойти к моей жене, жене врага народа и чистосердечно рассказать все, чему она была невольной свидетельницей!

— Закусывайте, не стесняйтесь! — немного иронически произнес Абакумов.

Для меня было очевидно, что это был обычный «подкуп». Я медленно отодвинул поднос.

— Спасибо, не хочу, — ответил я еле слышно.

Вся моя истощенная натура, весь мой изнывший по еде организм, все проголодавшееся существо мое вопияло: «Дурак! — пользуйся же таким редким случаем!» — Но мне было гадко и мерзко принять эту подачку. За долгое время всевозможных издевательств, начиная от самых мелких, вроде стрижки головы тупыми машинками, рвавшими нещадно волосы, обмакиваемыми для «дезинфекции» в керосин и кончая изощренными пытками, — я старался сохранять всегда человеческое достоинство, сдерживая пробуждающиеся животные чувства,

для которых находилась здесь крайне благоприятная, питательная среда.

— Как хотите, — холодно заметил Абакумов, пристально рассматривая и изучающе обводя меня глазами. — Как бы вы потом не раскаялись в этом. Впрочем, — продолжал он, — это ваше дело. — Затем, заглянув в папку и найдя какую-то бумажку: — Итак, мы направим вас, с ближайшим этапом, в один из исправительных лагерей. Дело ваше, как сказал я раньше, закончено. Хорошо, что вы подписали протокол, сознавшись в предъявленных вам преступлениях. Это, конечно, послужит послаблением...

— Простите, гражданин начальник, — прервал я его, — но я не подписывал протокола!

— Что? Вы не подписывали протокола? А чья это подпись?! — он бросил мне лист бумаги, на котором напечатан был известный текст «чистосердечного признания», составленный следователем. Внизу протокола стояла какая-то каракуля.

Абакумов посмотрел зло на следователя, который стоял «тише воды, ниже травы», с заметно побледневшим лицом.

— Это не моя подпись, — сказал я, стараясь сохранить спокойствие. — Меня заставили просидеть девятнадцать дней на конвейере...

— Довольно! — побагровев, закричал Абакумов. — Это что еще за безобразие?! Уберите арестанта! — Он повернулся к Григорьеву и что-то тихо стал ему говорить.

Вошли два вахтера, я поднялся со стула и направился через шкаф в соседний кабинет. Когда мы были уже в коридоре взбеженный следователь наклонился ко мне:

— Будешь помнить, сволочь, свой отказ! Думаешь, мы не сумеем проучить тебя!

Мы шли по бесконечному лабиринту внутренней тюрьмы НКВД, ярко освещенному, со множеством дверей: это был следственный корпус. Некоторые кабинеты безмолствовали, из других раздавались душераздирающие крики. Одна комната запомнилась мне, думаю, навсегда.

Мужской, охрипший голос, орал на весь коридор:

— Ты б....!

Женский, захлебывающийся в слезах, с надрывом:

Вы не смеете меня так называть!

Ты б....! — на одну ноту выше надрывался следователь.

Нет, нет, нет! — рыдала женщина.

Ты б....! — срывающимся фальцетом вторил ей следователь.

Навстречу вели арестованного.

— К стенке! — распорядился вахтер.

Я повернулся и остановился. В течение нескольких минут мне пришлось быть невольным свидетелем этого поучительного диалога, характерного, впрочем, для следственных органов НКВД.

Под эти крики, разносившиеся по коридору, слушаемые с затаенным дыханием арестантами, мы двинулись дальше. Наконец, вошли в так хорошо знакомый мне кабинет следователя.

Не успел я опомниться, как сильный удар кулаком в лицо, сбил меня с ног. Яркой струей брызнула кровь из носа и расползлась по лицу и рубашке. Мне стало ясно, что сейчас начнется экзекуция. Я пытался встать, но вторичный удар — в ухо — оглушил меня: меня качнуло, как лодку на океанской волне, и я опять грохнулся на пол.

Около меня стояли два, огромного роста, энкаведиста, похожие на классических громил из детективных фильмов. Они связали мне руки, бросили меня, как куль с мукой, на живот, стянули до онемения ноги крепкой, на подобие альпийского тросса, веревкой.

Я знал, что сия чаша не минует меня: это было преддверие к обычным в стенах этой тюрьмы истязаниям, получившим среди арестантов название — «футбола».

Николай Туров

ИЗ ДАВНИХ ЛЕТ

СТРАНИЦЫ ВОСПОМИНАНИЙ

Русские революционные организации в Нью-Йорке в 1904-1905 г.г.

Имя «Ленин» я впервые услышал в конце 1903 года на пароходе по дороге из Саутхемптона в Филадельфию. Прогуливаясь как-то по палубе парохода, я заметил молодого человека, читавшего русскую революционную газету «Искра». Отдельные номера «Искры» я читал еще в 1902 году в Вильне, где тогда готовился на аттестат зрелости и стал членом подпольной революционной организации учащихся под названием «Школа борьбы». Руководителями этой организации были деятели еврейского социал-демократического «Бунда». Русской социал-демократической организации тогда в Вильне еще не было. Всю пропаганду на русском языке среди евреев и не евреев вел «Бунд». «Бунд» снабжал все еврейские и не еврейские революционные организации и кружки революционной литературой, главным образом социал-демократической, но мы читали не только «Искру», «Рабочую мысль» и журналы «Рабочее дело» и «Зарю», но также и либерально-демократический журнал «Освобождение», выходивший тогда в Штутгарте, под редакцией бывшего марксиста Петра Струве.

«Искру» я начал читать, помню, с 14 номера, но читал ее, конечно, не регулярно. Из «Революционного календаря», изданного с.-д. группой «Борьба», во главе которой стояли Д. Рязанов и Ю. Невзоров-Стеклов, впоследствии игравшие большую роль в большевистской революции, я знал, что основателями с.-д. движения в России были члены Группы Освобождения Труда: Г. В. Плеханов, П. Б. Аксельрод, Вера Засулич и Лев Дейч. В этом «Революционном календаре» были их портреты. В «Искре» я видел их статьи и был уверен, что они и являются редакторами газеты. Другие имена, которые попадались в «Искре», мне ничего не говорили и я их не запомнил.

Когда на пароходе я разговорился с молодым человеком, читавшим «Искру», я узнал от него, что он родом, конечно, из России и прожил два года в Англии. Когда я его спросил, видел ли он когда-либо и слышал ли когда-нибудь главного редактора «Искры» Плеханова, он ответил мне, что Плеханов живет не в Лондоне, а в Женеве; был как-то раза два в Лондоне, читал рефераты, на которых мой новый знакомый присутствовал. «Но главным редактором и лидером российской социал-демократии, — сказал он, — в настоящее время является не Плеханов, а Ленин». — «Ленин? — переспросил я удивленно, — кто такой, этот Ленин? Я никогда о нем не слыхал». — «Ленин, — ответил он, — это известный марксистский писатель Владимир Ильин». Имя Владимира Ильина мне хорошо было знакомо по статьям его в старых легальных марксистских журналах «Жизнь» и «Научное обозрение», которые я читал в Вильне. Я записал адрес редакции «Искры» с тем, чтобы по приезде в Филадельфию немедленно выписать ее, — что я и сделал. Помню, что первый номер, который я получил в Филадельфии, был 50-ый, с большой передовой статьей Плеханова. Из полученных номеров «Искры» я узнал о состоявшемся втором съезде РСДРП и о расколе на этом съезде — на большевиков и меньшевиков.

В Филадельфии я прожил месяца три. Потом уехал в Нью-Йорк. В Нью-Йорке в русском книжном магазине я начал покупать регулярно не только «Искру», но и «Освобождение», а потом и новый орган большевиков «Вперед», выходивший под редакцией Ленина. Я покупал и все брошюры большевиков и меньшевиков о втором съезде и о разногласиях между ними.

Я не разделял организационных планов Ленина. Живя в Америке, я видел легальные профсоюзы, рабочие кооперативы, социалистические партии и соглашался с меньшевиками, которые проповедовали необходимость создания массовой партии, в которой рабочие играли бы главную роль, а интеллигенция только просвещала бы их и помогала им. Ленин же, наоборот, не доверял рабочей массе. Он считал, что надо создать строго централизованную организацию «профессиональных революционеров», которая стояла бы под его личным контролем и выступала бы всюду от имени партии, от имени пролетариата. Я, конечно, читал все статьи Плеханова, Мартова и Аксельрода и других меньшевиков в «Искре». Но должен сказать, что самое сильное впечатление на меня произвела брошюра Троцкого

«Наши политические задачи», вышедшая в 1904 году в Женеве. В ней Троцкий доказывал, что если в партии победит Ленин, то это фактически сведется к диктатуре одного человека над партией, а потом и над всем рабочим классом, и это была бы величайшая опасность не только для партии, но и для будущей революции.

Помню, что меня, между прочим, очень заинтересовало: «Троцкий — еврей он или русский?» В Вильне в мое время было два Троцких. Один командующий войсками виленского военного округа генерал-лейтенант Троцкий, конечно, русский; а другой — «эконом» виленского Еврейского Учительского Института — еврей. Я их обоих видел в Вильне. Когда в конце 1904 года я в Нью-Йорке разговорился с одним молодым бундовцем, только что приехавшим из Берлина, он, между прочим, рассказал мне, что недавно в Берлине был Троцкий и читал там доклад.

«Скажите, пожалуйста, Троцкий еврей или не еврей?» — спросил я его.

«Еврей, — ответил он, — его настоящая фамилия не Троцкий, а, кажется, Бернштейн или Бурштейн». (Настоящая фамилия Троцкого была Бронштейн).

Именно, брошюра Троцкого меня окончательно оттолкнула от большевиков и чем больше я читал потом меньшевистскую «Искру» и ленинский «Вперед», тем я сильнее убеждался, что в споре меньшевиков с большевиками — правы меньшевики.

Вскоре после моего прибытия в Нью-Йорк я вступил в «Общество Русских Социал-Демократов в Нью-Йорке», которое было основано еще в начале 90-ых годов и которое в 1904 году возглавляли доктор С. М. Ингерман, Я. Луполов-Джемс, Д. Рубинов, Столешников и доктор Максим Ромм. Большинство членов Общества разделяли точку зрения меньшевиков, но были там и большевики.

Меня потом многие спрашивали: почему я примкнул к меньшевикам, а не к «Бунду», — ведь в Вильне я был близок к «Бунду»? Мой ответ был таков: «Когда в конце 1903 г. я уехал из России, «Бунд» формально был частью Российской Социал-Демократической Рабочей Партии. Он к ней идейно и организационно примыкал. На втором съезде РСДРП «Бунд» требовал для себя автономии в партии, и чтобы «Бунд» был признан единственным представителем еврейского пролетариата, т. е., чтобы ни одна другая социал-демократическая организация не имела

бы права организовывать еврейских рабочих. Все еврейские рабочие должны принадлежать «Бунду», а «Бунд», в свою очередь, будет частью РСДРП. Большинство делегатов второго съезда отказались удовлетворить требование «Бунда». Главную войну против «Бунда» еще до второго съезда вел Ленин. «Бунд» тогда был единственной массовой социал-демократической организацией в России. Русские с.-д. организации до второго съезда в большинстве городов были маленькими группками. В некоторых городах совершенно не было русских с.-д. организаций и даже в Петербурге и Москве с.-д. организации были очень слабы, в то время, как «Бунд» уже тогда в Варшаве насчитывал примерно тысячу членов; в Вильне — пятьсот-шестьсот; в Минске, в Белостоке, в Лодзи и в других городах «Бунд» имел сотни членов. «Бунд» тогда уже был массовой организацией. И Ленин боялся, что если «Бунд» будет в партии то бундовцы не дадут ему захватить контроль над всей партией. Поэтому он и решил вытолкнуть «Бунд» из партии. Это видно из тогдашних писем Ленина, опубликованных в его Собрании сочинений уже после революции. Еще в 1902 году Ленин писал, что «наш главный враг — это «Бунд»; надо вытолкнуть «Бунд» безусловно» и т. д. И «Бунд» вышел из партии. Я тогда думал, что «Бунд» этим сослужил плохую услугу всей партии. Если бы «Бунд» оставался в партии, воевал бы за свою автономию, он в конце концов победил бы. Я поэтому не вступил в «Бунд», а вступил в РСДРП. Но я не разделял позиции «Искры» в ее борьбе против «Бунда».

«Русское Социал-Демократическое Общество в Нью-Йорке» в то время было единственной русской организацией, которая в течение многих лет устраивала девять месяцев в году, по воскресеньям, публичные лекции на русском языке на социально-политические и литературные темы. Лекторами были не только социал-демократы, но и беспартийные. В 1904-1905 г.г. лекции читали известный еврейский драматург Яков Гордин, бывший русский журналист, который в 90-ых годах в Нью-Йорке издавал русскую газетку «Новости»; профессор И. А. Гурвич — известный экономист и публицист, автор знаменитой книги о русской деревне на английском языке, которая в 1896 году была переведена на русский язык и о которой тогда много писали в русских журналах. Гурвич — бывший участник народофильского движения был в ссылке в Сибири, потом стал

марксистом. В начале 90-ых годов эмигрировал в Америку. В 1905 году, когда я с ним впервые познакомился, он был главным «ревизионистом» или «бернштейнцем» в США. В своей критике теории Маркса Гурвич шел гораздо дальше Эдуарда Бернштейна. (Гурвич, между прочим, сотрудничал не только в легальных русских журналах, но и в нелегальных русских с.-д. журналах под псевдонимом Муранов).

Авраам Каган, бывший главный редактор ежедневной еврейской социалистической газеты «Форвертс», довольно известный тогда английский беллетрист, чьи повести и рассказы печатались в переводе с английского языка в русских журналах, в «Русском Социал-Демократическом Обществе в Нью-Йорке» часто читал лекции о литературе, главным образом, о русской, которую хорошо знал и за которой всю жизнь внимательно следил. Помню его лекцию о Чехове, вызвавшую страстные дебаты, главным образом, в среде молодых революционеров. Каган считал тогда Чехова величайшим русским писателем после Л. Н. Толстого, которого он буквально боготворил. Каган, между прочим, еще в конце 90-ых годов первый познакомил американскую читающую публику с произведениями Чехова. Русская же революционная молодежь в Америке, как и в России, восторгалась тогда Горьким и ставила его гораздо выше Чехова. Помню, как Каган, возражая своим оппонентам, смеясь, сказал: «Вульгарно выражаясь, я скажу, что Чехов — это вкусный обед, а Горький — только пудинг».

Из других тогдашних русских лекторов помню Лядова (не смешивать с известным большевиком Лядовым-Мандельштамом). Американский Лядов был старый русский эмигрант, проживший много лет в западных штатах. Он был экономист и прекрасно знал Америку. Иосиф Розен, будущий долголетний представитель американско-еврейского «Джойнта» в России, читал о новейших философских течениях в России. С. М. Ингерман читал об американском рабочем и социалистическом движении; доктор Самуил Пескин, старый социал-демократ и большой знаток международного рабочего движения, один из первых «ревизионистов» в Америке, часто читал о проблемах международного социализма.

Русских газет тогда в Америке не было. Огромнейшее большинство русских эмигрантов-выходцев из России, тогда состояло из белорусских крестьян Минской, Виленской, Гроднен-

ской, Подольской и Волынской губерний, которые в России газеты и в глаза не видали. Очень многие из них даже читать не умели. Великороссы начали приезжать в Америку лишь в 1905 году. Почти все выходцы из России разных национальностей в Нью-Йорке жили в еврейском квартале, работали большей частью в еврейских мастерских, ели в еврейских ресторанах и многие из наиболее интеллигентных научились даже говорить на идиш, раньше, чем научились объясняться по-английски. Я знал в Нью-Йорке одного русского эс-эра, одного русского меньшевика и одного анархиста, которые не только хорошо говорили на идиш, но даже стали постоянными читателями еврейской газеты «Форвертс». Мой знакомый эс-эр до того привык говорить на идиш, что когда я к нему обращался с каким-нибудь вопросом по-русски, он неизменно отвечал мне на идиш.

Конечно, только самые интеллигентные из этих эмигрантов посещали воскресные лекции «Русского Социал-Демократического Общества». И все-таки на эти лекции обычно приходило 100-150 человек, а иногда и больше. «Русское С.-Д. Общество» также устраивало ежегодно новогодний концерт-бал, где можно было встретить почти всю интеллигентную русскую и русско-еврейскую колонию. На этот новогодний бал люди приезжали не только из ближайших городков Нью-Джерси, но даже из Филадельфии, Вашингтона, Бостона и из других городов. Чистый доход от такого ежегодного концерта-бала часто бывал выше полуторы-двух тысяч долларов. И деньги эти немедленно отправлялись раньше «Группе Освобождения Труда», а потом «Российской Социал-Демократической Рабочей Партии». Наиболее сильной и влиятельнейшей русской революционной организацией в Нью-Йорке в 1904 году был, однако, еврейский социал-демократический «Бунд», насчитывавший сотни членов и тысячи сочувствующих.

Когда я приехал в Нью-Йорк там также была значительная «Группа Содействия Партии Социалистов-Революционеров». Сенсационный процесс в Петербурге Григория Гершуни, одного из основателей этой партии и главы ее террористической «Боевой организации» и последовавшее вскоре после этого убийство членом «Б. О.» Егором Сазоновым всесильного реакционного министра внутренних дел фон Плеве, сильно подняли престиж партии эс-эров не только среди революционно и ради-

кально настроенных эмигрантов, выходцев из России, но и среди либеральных американцев, сочувствовавших освободительному движению в России. Осенью 1904 года в Нью-Йорк прибыла официальная делегация партии эс-эров в составе знаменитой Екатерины Брешковской, которую уже тогда называли «бабушкой русской революции» и доктора философии Х. Житловского. Житловский был одним из первых эс-эров. Он сотрудничал в русских и немецких журналах. Жил он в Берне. И во всех швейцарских университетских городах среди русских студентов пользовался репутацией блестящего лектора и искусного полемиста.

Впервые я увидел их на массовом митинге, устроенном нью-йоркскими социалистами по случаю предстоявших выборов нового президента Соединенных Штатов. Главным оратором на этом грандиозном собрании был кандидат социалистической партии в президенты Юджин Виктор Дебс, талантливый оратор и в высшей степени симпатичный человек, который был тогда очень популярен во всей стране и пользовался большим уважением не только среди социалистов, но и многих не социалистов, и даже среди ярых противников социализма. Другим оратором на том же собрании был знаменитый лидер бельгийских социалистов Эмиль Вандервельде. Он говорил по-французски и председатель переводил его речь на английский язык. Еще до речи Вандервельде председатель митинга объявил о присутствии на собрании знаменитой русской социалистки и революционерки Екатерины Брешковской и ее товарища доктора Житловского. Оба сидели на платформе и собравшиеся устроили им шумную овацию. Не помню, говорила ли «бабушка» на этом собрании, но хорошо помню, что она встала с места и ответила низким поклоном на устроенную ей овацию. В Соединенных Штатах тогда у власти стояли республиканцы. Президентом был Теодор Рузвельт. В 1904 году он был кандидатом республиканской партии в президенты на второй срок. Во время избирательной кампании не только социалисты, но и демократы и даже республиканцы в Нью-Йорке устраивали большие предвыборные собрания на улицах. Автомобилей тогда еще не было.

Помню одно такое собрание, устроенное республиканцами в одну из суббот в центре Ист-Сайда, где огромное большинство населения тогда состояло из евреев. Это было на большой площади на улице Ист Бродвей, напротив здания еврейской газеты «Форвертс». На это собрание приехал сам президент

Рузвельт. Послушать его собралась огромная толпа. Рузвельт был хорошим оратором и знал как с кем говорить. Он, конечно, знал, что многие из его слушателей лишь недавно прибывшие в Америку иммигранты, не успели еще сделаться американскими гражданами, и что среди них много таких, которые плохо даже понимают по-английски. Поэтому он говорил простым понятным языком и закончил свою речь горячим призывом к слушателям, чтобы они на выборах голосовали за кандидатов республиканской партии, а не-граждан он просил повлиять на своих родственников и друзей, которые уже обладают правом голоса, чтобы они тоже голосовали за кандидатов его партии.

Один, уже не молодой, еврей, стоявший около меня, далеко от платформы, пришел в такой восторг от речи президента Рузвельта, что не выдержал и обратившись ко мне, громко сказал: «Вот видите, в России мы боялись даже урядника, потому что он носил погоны и саблю, и командовал нами, а тут сам царь приезжает из Вашингтона без погон и без сабли прямо на Ист-Сайд и умоляет нас, бедных евреев, чтобы мы за него голосовали... Вот это я понимаю!»

Вскоре после приезда эс-эровской делегации в Нью-Йорк «Группа содействия партии эс-эров» организовала курс лекций Житловского о философских основах марксизма и о программе и тактике партии эс-эров. Большой зал был всегда переполнен. После каждой лекции были горячие дебаты. На лекциях Житловского перебивала вся интеллигентная русская и русско-еврейская колония того времени. Житловский особенно много времени посвящал критике марксизма. В Нью-Йорке, как и в ряде других американских городов, были также устроены массовые собрания, на которых выступали Брешковская и Житловский вместе, а также представители либеральной американской интеллигенции. Делегации эс-эров удалось завоевать симпатии значительных кругов не только русско-еврейской интеллигенции, но и американской и собрать значительную сумму денег в пользу партии.

Я тогда, в Нью-Йорке, занимался физическим трудом. Днем работал, а по вечерам посещал лекции или же проводил время в библиотеках за чтением книг и журналов. Я часто, по неделям был безработным, и тогда с утра до вечера проводил в русском отделе знаменитой тогда библиотеки Астор-лайбрери, на 8-ой улице. Там были не только все старые русские журналы, как

«Современник» Некрасова и Чернышевского, «Отечественные записки» Салтыкова-Щедрина и Михайловского, либеральные «Вестник Европы», «Русская мысль» и старые марксистские журналы «Новое слово», «Начало», «Жизнь», «Научное обозрение», но также и все легальные русские журналы: «Русское богатство», «Мир Божий», «Русская мысль», «Образование», «Восход» и другие. Была там и вся революционная русская литература, начиная с 60-ых годов. И я читал, главным образом, ее и те журналы, которых в России нельзя было тогда достать. Уже после моего отъезда из Америки в Нью-Йорке была построена публичная библиотека на 42-ой улице и 5-ой авеню, куда были переведены все книги из Астор-лайбрери и самое здание Астор-лайбрери было продано с аукциона.

Я был также постоянным посетителем библиотеки-читальни анархистов. В России я понятия не имел об анархизме, но в Америке я познакомился с небольшой группой анархистов-рабочих, которые жили «коммуной», то-есть занимали довольно большую квартиру на 2-ой авеню, все вместе обедали в ближайших ресторанах, но завтракали большей частью дома; варили и убирали квартиру по очереди. Всего «коммунаров» было человек восемь. Когда я очутился без работы и был не в состоянии дальше платить за комнату, которую снимал на той же улице, один из «коммунаров» пригласил меня поселиться у них. Вначале я колебался, но потом был вынужден перебраться к ним. Это были идейные анархисты, довольно интеллигентные рабочие. Они много говорили со мною об анархизме, дали мне прочесть брошюры Кропоткина и водили меня на лекции анархистов. Один из них был постоянным читателем немецкой анархической газеты «Фрейхейт», которую издавал в Нью-Йорке анархист Иоган Мост, бывший немецкий социал-демократ. Я тогда читал выходившую в Нью-Йорке немецкую социал-демократическую газету «Фольксцейтунг» и я с интересом читал его газетку. Мост был талантливым оратором, я неоднократно слушал его речи. Помню на одном собрании он закричал: «Дайте мне тысячу Гершуни и я вам устрою социальную революцию!» Аудитория, которая состояла на девять десятых из анархистов, громко аплодировала ему. Чем больше я знакомился с литературой анархистов, тем больше я убеждался, что анархизм даже Кропоткина, чистейшая утопия. Однако, за все время моего пребывания в

Нью-Йорке в те годы я не переставал встречаться с анархистами и с некоторыми из них даже дружил.

Товарищ Юрьев и Николай Афанасьев

В конце 1904 года в Нью-Йорк приехал из Швейцарии представитель заграничного центра меньшевиков, молодой инженер — «товарищ Юрьев». Он, конечно, сразу стал членом «Русского Социал-Демократического Общества в Нью-Йорке» и вскоре выступил на открытом собрании Общества с докладом на тему: «Современное положение в России». Послушать нового лектора пришло много народу. Доклад был выслушан с большим интересом и лектор произвел на всех хорошее впечатление. Через неделю или две был объявлен второй доклад «товарища Юрьева» на тему: «Революционное движение и политические партии в России». Второй доклад привлек еще больше народа. На этот раз пришли послушать «товарища Юрьева» не только социал-демократы, многие бундовцы, эс-эры и анархисты, но и беспартийные. Довольно вместительный зал был битком набит. Говоря о партии эс-эров, оратор сказал, что за границей, в особенности «тут у вас в Америке», люди имеют совершенно ложное представление о ней. Она, по прекрасному выражению тов. Мартова, — потому разве и называет себя «партия социалистов-революционеров», что «социализм ее не революционен, а революционность ее ничего общего не имеет с социализмом». Социал-демократы, бундовцы и даже некоторые анархисты шумно аплодировали.

Далее оратор указал, что в рабочей среде партия «социалистов-революционеров» не пользуется никаким влиянием. Она даже не претендует на звание пролетарской партии, какими являются социалистические партии всех стран. «Партия социалистов-революционеров — чисто мелкобуржуазная партия, — сказал оратор. — Когда в Петербурге, в Баку или в Варшаве бастуют десятки тысяч рабочих, когда в Ростове на Дону или в Лодзи происходят массовые рабочие демонстрации, то не только на среднего обывателя, но даже и на оппозиционно настроенную мелкобуржуазную интеллигенцию это не производит должного впечатления. Но вот когда «какой-нибудь Сазонов» бросит бомбу...»

«Вы не смеете называть великого героя и мученика — «какой-то Сазонов»! — послышался истерический крик женщины,

сидевшей в задних рядах. Оратор не успел даже закончить фразу, как в зале поднялся страшный шум. Женщина, прервавшая своим выкриком оратора, была Евгения Ароновна Гурвич, бывший член «Народной воли», потом одна из пионеров с.-д. движения в России, в свое время, сидя в московской тюрьме, она перевела на русский первый том «Капитала» Маркса, который вскоре был издан под редакцией Петра Струве. Потом она была сослана в Сибирь, откуда в конце 1903 года бежала в Америку. Е. А. Гурвич была социал-демократка и состояла членом «Бунда», но в противоположность большинству социал-демократов, она сочувствовала террористической деятельности партии социалистов-революционеров. Егора Сазонова, который идя на верную смерть, убил министра внутренних дел фон Плеве, она считала великим героем и мучеником, достойным всякого преклонения... Шум в зале не только не утихал, но скоро превратился в рукопашную между социал-демократами, сторонниками «тов. Юрьева», и его противниками анархистами, которых на докладе было довольно много. Собрание, конечно, пришлось закрыть.

Я с «тов. Юрьевым» потом встречался на всех собраниях «Русского Социал-Демократического Общества», открытых и закрытых. Он всегда говорил очень дельно, был хорошо знаком с марксистской литературой и обладал ораторским талантом.

В конце июня 1905 года, когда я уехал из Америки, он еще оставался в Нью-Йорке. Он, кажется, работал в какой-то конторе в Бруклине и не собирался ехать в Россию. Осенью 1908 года, когда я вернулся в Нью-Йорк, я «товарища Юрьева» уже не застал. Мне говорили, что он еще в ноябре или в декабре 1905 года, после амнистии, объявленной в России, вернулся на родину. В 1909 или в 1910 году, когда доктор С. М. Ингерман, один из основателей «Русского Социал-Демократического Общества в Нью-Йорке», тоже в конце 1905 года уехавший в Россию, вернулся в Америку, он рассказал мне, что «Юрьев» в 1906-1907 годах, как меньшевик, принимал деятельное участие в социал-демократическом движении, и что на лондонском съезде РСДРП в 1907 году был даже избран (заочно) членом Ц.К. партии от меньшевиков, но что с наступлением реакции в России, после разгона второй Государственной Думы, он постепенно отошел от революционного движения и «занился наукой». О дальнейшей его судьбе я ничего не знал и лишь ле-

том 1917 года, когда в Америку прибыл первый посол революционного Временного Правительства — профессор Борис Александрович Бахметьев, я к величайшему моему изумлению узнал, что Б. А. Бахметьев — никто иной как «товарищ Юрьев». За эти 10-12 лет он успел не только пополнеть, но и значительно «поправеть». В 1917 г. он уже был умеренным либералом, но с С. М. Ингерманом по-прежнему дружил.

Еще раньше «товарища Юрьева» в Нью-Йорк приехал рабочий социал-демократ Николай Иванович Афанасьев. Это был уже немолодой петербургский рабочий, токарь по металлу. Он был родом из Ростова на Дону и был одним из самых интеллигентных русских рабочих, которых я до того времени где-либо встречал. Он еще в начале 90-ых годов был членом петербургской социал-демократической организации. В 1903 году он был арестован в Ростове, сидел в тюрьмах в Петербурге и в Витебске. В октябре 1903 года был сослан в Сибирь, откуда в 1904 году бежал в Париж. Когда Афанасьев еще был в ссылке в Сибири, распространились слухи, что он на допросах в Охранном отделении выдал жандармерии кое-кого из товарищей. По прибытии своем в Париж, он немедленно потребовал партийного суда, который расследовал бы всю его деятельность. Такой суд скоро состоялся под председательством старого революционера Льва Дейча.

После того, как члены суда выслушали обвинителей Афанасьева и многих свидетелей, суд единогласно оправдал Афанасьева и решение суда было опубликовано в «Искре», выходившей тогда в Женеве. Афанасьев был противником направления «Искры». Он был сторонником того течения в русской социал-демократии, которое проповедовало, что социал-демократы должны свои усилия сосредоточить главным образом на экономической борьбе рабочего класса и стараться прежде всего добиться политических прав. Лидеры этого течения были также противниками централизма в партии. Они требовали, чтобы с.-д. организации были бы более демократичны, чтобы приблизить их к рабочим массам. Это было как раз противоположно тому, что проповедовала «Искра», главным образом, под влиянием Ленина, который был одним из ее основателей и до раскола в партии в конце 1903 года фактически ее главным редактором.

С Афанасьевым я познакомился в клубе «Бунда» и сразу подружился с ним. Он очень старался убедить меня, что

«Искра» все время вела ложную политику и что даже после раскола, после ухода Ленина из редакции, когда «Искра» стала официальным органом меньшевиков, в ней, как и в большинстве меньшевистских организаций, все еще царит дух Ленина. Афанасьев эти мысли развивал и в дебатах на открытых собраниях «Русского Социал-Демократического Общества в Нью-Йорке». Лидеры этой организации все были яркими «искровцами». На меня же слова Афанасьева производили впечатление. Афанасьев и его товарищ эс-эр Петр Каган, с которым он вместе приехал из Парижа, работали на металлургическом заводе в штате Нью-Джерси, недалеко от Нью-Йорка. По воскресеньям они обычно приезжали в Нью-Йорк и я должен был всегда с ними обедать и, конечно, с ними же выпить несколько рюмок. Афанасьев и Каган выпивали больше, чем «несколько рюмок». Перед моим отъездом из Америки, Афанасьев снабдил меня рекомендациями к видным русским социал-демократам его направления, проживавшим тогда в Париже и в Женеве. Когда я уехал, Афанасьев еще не собирался возвращаться в Россию, но когда в 1908 году я опять вернулся в Нью-Йорк я узнал, что он еще в ноябре 1905 года со своей женой и ребенком вернулся в Россию. В продолжение многих лет он принимал деятельное участие в профессиональном движении в Петербурге. В 1911 году он был членом нелегального Центрального Бюро петербургских профсоюзов. Он тогда примыкал к группе синдикалистов и энергично боролся с большевиками. Его бывший друг Петр Каган остался в Америке. В 20-ых годах он ездил в Россию и там узнал, что Николая Афанасьева большевики еще в 1918 году расстреляли в Петрограде, как «врага народа».

Январское движение 1905 года и начало русской революции

Вскоре после январских революционных событий 1905 года в России, среди молодых русских революционеров-эмигрантов в Нью-Йорке началось движение за скорейшее возвращение в Россию с целью активно участвовать в революции. Наиболее активных партийных деятелей их партии отправили в Россию. Другие же поехали на свой собственный счет, а те, у кого не было денег, чтобы купить себе даже билет третьего класса на пароходе, поехали на товарных пароходах, на которых отправляли скот из Америки в Лондон. Из Лондона они ехали в Женеву, где тогда находились генеральные штабы социал-демокра-

тов, социалистов-революционеров и «Бунда», а из Женевы партии уже отправляли своих членов на революционную работу в Россию. Многие из видных членов этих трех партий уехали в Россию уже в феврале-марте месяце. Три видных социал-демократа, Кашин, Гоникгберг и Девдериани, которые вместе со мной работали на одной мебельной фабрике в Бруклине, как полировщики, уехали еще в феврале и все трое потом играли видную роль в партии. Кашин в течение долгого времени был большевиком. Позже отошел от партии. Гоникгберг же и Девдериани в течение многих лет были активными деятелями меньшевистской партии. Гоникгберг и после большевистского переворота несколько лет активно работал в меньшевистской партии. Позже он был арестован, долгое время сидел в разных большевистских тюрьмах, потом был сослан куда-то и там погиб. Девдериани был одним из видных деятелей грузинской социал-демократии. Его расстреляли большевики в 20-ых годах.

Павел Орленев в Америке

В начале 1905 года в Нью-Йорк прибыл из России знаменитый актер Павел Орленев со своей труппой. Большим театралом я тогда не был. В Вильне в 1901-1903 годы я все же часто бывал в театре. В Вильне по пути из Москвы и из Петербурга в Варшаву останавливались на несколько дней, а иногда и на целую неделю, самые лучшие русские драматические и оперные труппы; и я имел возможность видеть и слышать почти всех выдающихся русских актеров в их лучших ролях.

Павла Орленева в России я никогда не видел, но я, конечно, знал о нем из газет. В Нью-Йорк Орленев приехал с пьесой Евгения Чирикова «Евреи». Пьеса эта была напечатана в 1904 году в одном из петербургских сборников «Знание», где печатались Горький, Л. Андреев, Вересаев, Бунин, Куприн и другие известные русские писатели. Евгений Чириков в те годы сотрудничал в марксистских журналах и сочувствовал социал-демократии. В конце 90-ых годов он жил в Минске и часто встречался там и дружил с представителями радикальной интеллигенции, в среде которой было много социалистов, бундовцев и сионистов. Между ними происходили постоянные дискуссии, и Чириков, по всей вероятности, присутствовал на некоторых из них. В своей пьесе «Евреи» он описывал еврейский погром и

еврейскую семью, в которой дети — сионисты и социалисты, и постоянные их дебаты. Пьеса «Евреи» имела большой успех, о ней много писали в газетах и журналах, но театральная цензура запретила ее в России и Орленев привез эту пьесу в Америку. Этой пьесой он открыл сезон своего театра в Нью-Йорке. Сам он в этой пьесе играл главную роль молодого сиониста Нахмана и имел колоссальный успех. Многие евреи, которые его видели в этой роли не верили, что он не еврей.

Я сам слышал при выходе из театра после одного из спектаклей, как один еврей сказал другому: «Он, вероятно, выкрест». — «Ты еще сомневаешься в этом?» — ответил другой еврей. Но Орленев, как известно, не был евреем, а был настоящий великоросс и даже никогда не жил среди евреев; но он был гениальным актером. В каждой роли, в которой он выступал, зритель видел перед собой совершенно другого человека. Когда он играл Освальда, полудегенерата из пьесы Ибсена «Призраки», никто не мог себе представить, что это тот же самый актер, который накануне играл царя Федора в пьесе «Царь Федор Иоаннович» Алексея Толстого; или когда он играл Дмитрия Карамазова из «Братьев Карамазовых», — трудно было себе представить, что это тот же самый актер, который несколько дней тому назад выступал в роли Хлестакова в «Ревизоре» Гоголя.

Драма «Евреи» в Нью-Йорке имела исключительный успех у евреев. В те годы в Нью-Йорке было еще очень много евреев, говоривших или во всяком случае понимавших по-русски. Но смотреть «Евреев» Чирикова в постановке Орленева и самого Орленева в главной роли шли и многие евреи, даже не понимавшие ни слова по-русски.

В этой пьесе нужны были статисты «погромщики». Некоторые из моих нуждавшихся товарищей участвовали в этом «погроме» и получали доллар за каждый «выход». Мне также предложили выступить в роли «погромщика». Я отказался, но зато скоро принял предложение быть статистом в пьесе «Царь Федор Иоаннович». В этой пьесе есть массовые сцены, когда бояре, собравшись около Кремля в Москве, для выборов нового царя, кричат: «Не хотим Бориса!» Для этой сцены нужны были двадцать статистов и я стал одним из «бояр». Я тогда уже не нуждался в долларе, который каждый из нас получал за то, что позволял себя загримировать боярином и потом крикнуть не-

сколько раз: «Не хотим Бориса!» Но как «актер», я мог много раз видеть эту пьесу и в особенности Орленева в роли царя Федора Иоанновича. Много лет спустя я видел эту пьесу в постановке Московского Художественного Театра с Москвиным и также с Качаловым в заглавной роли. Качалов в роли царя Федора Иоанновича мне совсем не понравился. Москвин был лучше, но Павел Орленев был несравненный Федор Иоаннович. Более полстолетия прошло с тех пор, как я видел в последний раз Орленева в этой роли и у меня все еще звучит в ушах его истерический выкрик: «Я царь или не царь?» и я вижу его пред своими глазами как живого.

Через много лет я читал в русской печати, что такого же мнения об игре Орленева вообще и о его царе Федоре Иоанновиче, были авторитетные русские театральные критики.

Главные женские роли в пьесах, которые Орленев ставил в Нью-Йорке, играла Алла Назимова. Это была молодая женщина симпатичной наружности с стройной фигурой и приятным голосом, но первоклассной актрисой она не была. Я в театре Орленева часто бывал также и «билетером» и не раз беседовал с Орленевым. Он был очень симпатичный, прогрессивный человек, но много пил и в таком виде часто скандалил. Назимова от этого очень страдала. Когда я в 1905 году покинул Америку, Орленев со своей труппой еще там оставался. Лишь осенью 1905 года Орленев с труппой уехал в Россию. Назимова же осталась в Нью-Йорке, научилась английскому языку и стала потом известной американской актрисой. Она умерла в Америке.

Перед моим отъездом из Нью-Йорка доктор С. М. Ингерман меня просил поговорить с Львом Дейчем, известным революционером еще 70-ых годов, который в 1904-1905 году был не то «экономом», не то «министром финансов» меньшевистской организации, чтобы партия послала в лекционное турне по Америке Плеханова или Троцкого. Житловский и Брешковская своими выступлениями в Нью-Йорке и других городах просто заслонили русскую социал-демократию, поэтому с.-д. организация и считала необходимым, чтобы партия прислала сюда Плеханова или Троцкого, — спасти, так сказать, положение. В Нью-Йорке я имел друга, социал-демократа Шенк. Это был образованный социалист, гораздо старше меня по возрасту. Он прибыл в Америку из Мюнхена, где учился химии. Некоторое время он жил также в Швейцарии и был дружен с социал-демократкой

Анжеликой Балабановой, которая тогда жила в Италии. Она тогда дружила с Дейчем, и так как Шенк возлагал на меня большие надежды, он написал Балабановой письмо, чтоб она написала Дейчу, что я еду в Россию на революционную работу, что пробуду несколько месяцев в Женеве, и чтоб он обо мне там позаботился.

Переезд в Европу

20 июня 1905 года мы, группа человек 10-12 русских социал-демократов, социалистов-революционеров и анархистов в маленькой конторке где-то на Канал-стрит в Нью-Йорке, заплатили по три с половиной доллара каждый и получили за это билет для поездки на пароходе: сначала из Нью-Йорка в Бостон, а затем из Бостона в Лондон на товарном пароходе, возившем скот не то из США, не то из Аргентины в Англию. Со мной вместе ехал один старый товарищ еще из Вильны — бундовец, по имени Лупец. Он в Вильне учился в Коммерческом училище и свободно говорил по-английски и по-французски. Путешествие наше из Бостона в Лондон было сплошным кошмаром. Ежедневно в четыре часа утра в «каюту», в которой все мы спали, приходил вечно пьяный ирландец и длинным шестом будил каждого из нас, чтобы мы немедленно одевались и шли кормить и поить огромных волов; и лишь в девять часов нам давали завтрак, после которого мы должны были таскать полные ведра воды и снова поить волов, у которых почему-то была неутолимая жажда. В 12 часов нам давали второй завтрак, состоявший из хлеба, куска холодного жирного мяса, а также с позволения сказать, кофе, которое нельзя было в рот взять. Час мы отдыхали. Потом мы должны были на канатах вытаскивать из трюма на палубу огромные мешки кукурузы для кормления волов, у которых был неимоверный аппетит. Они много ели и сколько мы их не поили, не могли утолить их жажду. Лишь поздно вечером нас освобождали от работы и мы могли идти спать. Апельсины и лимоны, которыми мы запаслись перед отъездом из Бостона, так же как и пачки папирос, которые мы взяли с собой, матросы в первый же день, когда мы оставили нашу «каюту» и пошли работать, у нас украли. Первые несколько ночей мы и спать не могли из-за огромных океанских волн, бросавших наш маленький пароходик. Некоторых из нас ирландские матросы

еще и избивали, если мы не так быстро исполняли их приказания.

Лишь на двенадцатый день мы, усталые, измученные и полуголодные прибыли в Лондон. Социал-демократы и эс-эры нашей группы сразу же отправились в социалистический Народный дом, анархисты пошли в анархический клуб. Когда мы потом рассказали лондонским товарищам о всех наших мытарствах на пароходе, они нам сказали: «Вы еще хорошо отделались! Должны благодарить Бога за то, что приехали живыми и здоровыми». И они рассказали нам, что несколько месяцев тому назад случилась такая история: молодой русский революционер так же, как и мы, ехал из Америки в Лондон на таком же товарном пароходе. По дороге матросы отобрали у него все, что у него было, а один матрос еще все время ему жить не давал. И вот однажды, когда этот матрос напал на него и начал его избивать, он не выдержал, схватил большую доску и ударил ею матроса по голове. Матрос упал мертвым. Если бы это случилось среди океана, другие матросы сразу выбросили бы русского в океан. Но так как пароход находился уже у ирландских берегов, недалеко от Лондона, то капитан приказал заковать его в кандалы и привезти живым в Лондон. В Лондоне об этом сейчас же узнали английские социалисты; они достали хорошего адвоката для защиты русского «арестанта». По этому поводу они также подняли большой шум в английской печати и в результате добились того, что суд оправдал русского революционера. Потом он спокойно уехал в Россию. Но не всем так повезло, как ему. Не одного из пассажиров на таких товарных пароходах матросы просто выбрасывали в океан и никто никогда не мог узнать куда они исчезли.

(Продолжение следует)

Д. Шуб

ВСТРЕЧИ С В. Н. ФИГНЕР

С Верой Николаевной Фигнер я связана была довольно тесно и эта связь длилась несколько лет. Отношения наши носили чисто «бытовой» характер: очень мало вели мы политических разговоров, заранее зная, что стоим на разных позициях и что нам было бы трудно, даже невозможно договориться и даже, может быть, до конца понять друг друга. О ней я знала, конечно, давно, с самого детства; и с детства привыкла думать о ней восторженно почтительно. Помню мои жадные расспросы Веры Ивановны Засулич о Вере Николаевне и ее рассказы о ней только поддерживали такое к ней отношение. Да и рассказы других «стариков» — думаю, не было человека, который сказал бы о ней непочтительное, невосторженное слово — все это действовало на мое воображение и на отношение к Вере Николаевне. В 1905 году после первой октябрьской революции, когда освободили некоторых шлиссельбуржцев, рассказы ее товарищей по неволе только подтверждали репутацию этой необыкновенной женщины, сумевшей сохранить «лицо» в годы невыносимо трудной обстановки Шлиссельбурга. Повидимому, она умела производить впечатление и на тюремщиков самых разных рангов, по крайней мере, помню, как София Александровна Савинкова, мать Бориса Викторовича Савинкова, член тогдашнего так называемого «Шлиссельбургского Комитета», рассказывала мне, что в одно из ее посещений Шлиссельбургской крепости — члены Комитета имели это право — это было одно из «завоеваний» революции 1905 года — посещать крепость, привозить «передачу» и получать от заключенных записки с получением посылки — один из надзирателей, принимая «передачу», пытался уверить Софию Александровну, что заключенные, в сущности, ни в чем не нуждаются, питаются хорошо и т. д., что раньше, правда, все

Эти воспоминания Лидии Осиповны Дан о В. Н. Фигнер мы получили от Д. Н. Шуба, которому их передала покойная Л. О. РЕД.

было строже, и режим суровее, а теперь — все очень хорошо, что, например, Вера Николаевна (он так и говорил: «Вера Николаевна», не называя фамилии), «когда прибыли сюда были из себя худые, ну, просто заморыш, а теперь — из себя очень вальяжные, просто, красавица...»

Подойти к ней не с точки зрения исторической или политической, а с бытовой, да и то не прямо, а косвенно, мне пришлось в 1907 году. После разгона 2-ой Государственной Думы я была арестована на квартире Церетели и препровождена в Рождественскую полицейскую часть, куда свозили многих арестованных, так как Дом Предварительного Заключения был уже переполнен.

В части, среди арестованных было не мало и имевших отношение к парти эс-эров. Среди них — молоденькая Вера Сергеевна Стахевич, родная племянница Веры Николаевны. С первого же взгляда Вера поражала своей внешностью — черноглазая брюнетка, с очень правильными чертами лица, похожая на итальянку, с необыкновенно красивыми руками и ногами. Какое-то особенное впечатление производили ее сверкающие глаза, на нее трудно было смотреть без улыбки удовольствия и восхищения. Глядя на нее, я сразу подумала — так вот какова была наверное Вера Николаевна в молодости... Но и помимо красоты Вера обладала всем, чтобы производить необычайно благоприятное впечатление — живая, неглупая, очень социальная. У нас сразу установились очень хорошие отношения и мы расставались через два месяца очень тесного сожительства на нарах Рождественской части настоящими друзьями — Веру освободили, меня перевели в больницу Литовского замка.

Через несколько месяцев мы встретились снова в Париже, куда я попала избрав «высылку за границу» вместо высылки в северные губернии, и куда Вера приехала учиться медицине. Я с тем большей радостью встретила с Верой, что оказалось, что она живет с Верой Николаевной, которая к тому времени тоже выбралась за границу. Мы начали часто встречаться и я даже не без некоторой гордости скоро почувствовала, что Вера Николаевна с большой теплотой относится ко мне, ко всем нам троим, — т. е. Мартову, Дану и ко мне. Мартов, хоть и жил отдельно от нас, но очень тесно переплетал свою жизнь с нашей. Тогда то и завязались мои очень тесные отношения с

Верой Николаевной; к моему большому удивлению Вера Стахевич скорее тяготилась своей совместной жизнью с Верой Николаевной, к которой в дни нашего первого знакомства (в Рождественской части) относилась с благоговейным обожанием; теперь она нередко жаловалась на нелегкий характер Веры Николаевны, на ее совершенно измученные нервы, на необходимость считаться с самыми неожиданными вещами... Помню, в ответ на ее сетования, Дан не раз говорил ей — когда Вера Николаевна была в Шлиссельбурге, вы с радостью отдали бы жизнь за нее, за малейшее улучшение ее судьбы, а теперь вас тяготит необходимость провести иногда вечер с нею, даже необходимость вернуться домой не в час ночи, а в половине 11-го...

Вера не отрицала, что в былые времена, действительно, была готова на все, чтобы облегчить жизнь мученицы и героини, ни того, что ей тягостно приспособливать свою молодую жизнь к ряду предрассудков Веры Николаевны. И мы с удивлением услышали, что Вера Николаевна, этот, действительно, большой человек, столько в своей жизни преодолевший, со столькими предрассудками своего времени и своего класса порвавший, в то время, когда мы ее узнали, во многих отношениях была еще во власти целого ряда идей и чувств, унаследованных ею «от дворянской усадьбы», в которой она выросла. Она могла со смехом вспоминать, как в ее семье, средне-состоятельной дворянской помещичьей семье, за столом прислуживал старый лакей, дворовый, натягивавший к обеду нитяные белые перчатки, в потертом сюртуке, подавая «господам» (только родителям и, если случалось, гостям; гувернантки и дети обходились без этого) какое-нибудь блюдо, говорил: «салфет вашей милости, красота вашей чести»; но некоторые другие старые привычки и обычаи не вызывали у нее смеха и отсутствие их ее скорее корбило. Так, например, она, очень любившая Веру и высоко ее ставившая, считала все же, что молодой девушке неприлично (правда, слово «неприлично» она никогда не употребляла), например, посещать ночные кабаре на Монмартре, что мы, грешным делом, все очень любили и иногда позволяли себе это удовольствие. Обычно мы звали Веру с собой, но она должна была во избежание лишних разговоров и огорчений Веры Николаевны, прибегать, в сущности, к недостойным приемам. Так, она го-

ворила Вере Николаевне, что я плохо себя чувствую и что поэтому она будет ночевать у нас. Уходя в университет на лекции, она брала с собой вечернее платье; по дороге к университету ее встречал Дан или Мартов, брал пакет с платьем и уносил к нам. Вечером, после «семейного» обеда дома, Вера уходила «на ночевку» к нам, переодевалась и мы все беззаботно отправлялись на Монмартр, где и просиживали всю ночь, выпивая бутылку вина, а то и шампанского, слушая разные песенки, словом, развлекались по своему. Все это было чрезвычайно невинно, но для Веры Николаевны совершенно неприемлемо. Неприемлемо и то, что заведомые революционеры, как Мартов или Дан, позволяют себе так развлекаться, и уж совсем отвратна была бы мысль, что в таких развлечениях принимает участие ее племянница, молодая девушка, революционерка.

Была ли Вера Николаевна аскеткой? Я и в те времена не раз задавала себе этот вопрос и всегда должна была ответить — и да, и нет... Еще в совсем молодые годы она стала аскеткой, это требовалось всем ее мирозерцанием, это было результатом общения ее с революционной средой того времени, это стало ее второй натурой, но только второй. И ее не-аскетическое «я», так сурово подавляемое в течение долгих, безрадостных лет в Шлиссельбурге, совсем не умерло и властно заговорило бы, если бы условия ее новой жизни безоговорочно не помешали этому. На нее смотрели не как на женщину, еще не старую, еще очень привлекательную, еще далеко не изжившую своей жизни, а как на икону. Где уж тут быть не аскеткой!...

Многое в нашей жизни казалось ей странным; странно было, что Вера, собираясь на каникулах отдыхать, ездила не в Швейцарию, не в Италию, как было принято в ее, Веры Николаевны, годы, хотя и тогда в Италию ездили только любители и знатоки искусства, а таких было немного и к ним, кажется, относились скорее подозрительно, а в Испанию, что было уж совсем непозволительным и непонятным новшеством, ездила не с большой компанией подруг и приятелей, а вдвоем с одним товарищем, эс-эром Слетовым. — «Что, он твой жених?», с беспокойством спрашивала Вера Николаевна.

— Нет, просто приятель, я за него замуж не собираюсь...

Так раньше не бывало и это как-то беспокоило Веру Николаевну. К разным новшествам нашего поколения она привыкала с трудом, вернее, не привыкала совсем.

Несколько позже, после революции 17 года, это приняло даже трагический характер... Мы снова встретились все в Москве, в 1918 году Вера приехала с фронта, где работала врачом, поселилась с матерью и теткой. Как и раньше, она нередко жаловалась на трудности совместного семейного житья. После войны и довольно длительного пребывания на фронте, язык Веры был, мягко выражаясь, сильно засорен. Часто, от какого-нибудь «выражения» Веры, а «выражалась» она почти умеренно, считаясь с настроениями матери и Веры Николаевны, Вера Николаевна вздрагивала и менялась в лице; Вера явно нервничала, атмосфера в доме становилась напряженной. Обе стороны иногда апеллировали ко мне — «скажите им»... «скажите ей...» Дошло до того, что Вера однажды пришла к нам и смущенно обратилась ко мне с несколько странной просьбой: «объясните маме и тете Вере, что я беременна»... Я удивилась и этому сообщению, и тому, что я должна объяснять это «старшему поколению», как мы шутивно называли между собой Веру Николаевну и Лидию Николаевну. Вера сказала, что она уже два раза принималась говорить с ними на эту тему, но обе дамы принимали это за шутку, и притом дурного тона, и отказывались дальше говорить об этом.

Пришлось мне пойти к ним и заговорить на эту деликатную тему. Лидия Николаевна просто начала плакать, а Вера Николаевна, остолбеневшая, сразу же спросила: «а кто же отец?» Я ответила, что Вера мне ничего об этом не сказала, видимо, предпочитая не касаться этого вопроса, и что поэтому я и не спросила ее. Посыпались вопросы, на которые я и не могла бы ничего ответить, так как и сама не знала никаких подробностей, и которые, конечно, странно звучали в устах двух старых революционерок, казалось, совершенно порвавших со старым миром. Нет, оказалось, старый мир еще властно держал этих женщин... «Ну, разлюбил, не любит, пусть уходит, но пусть женится, даст имя ребенку...» — «Что же, он и не будет встречаться с Верочкой, со своим ребенком?» — «Если Верочка не хочет с ним встречаться, это, конечно, ее дело, но как же ребенок? Без имени? Без отца?...» Напрасно я говорила, что у ребенка и так будет завидное имя — Стахевич, что после революции все эти старые понятия — незаконно-рожденный и т. д. — отменены и потеряли всякий смысл и содержание, что ребенок никогда и не почувствует этого

и т. д., но я видела, что все это просто отскакивало от Веры Николаевны, а бедная Лидия Николаевна только безутешно плакала...

После Вера уехала на службу в Орловскую губернию, на сахарный завод — надо было спасти обеих старых женщин от московской голодовки, да и самой Вере позаботиться о себе и будущем ребенке. Там же, на заводе, в «своей» больнице она и родила, там и работала сверх всякой силы, когда туда пришла эпидемия сыпняка. Там же она заразилась сыпным тифом, там же, в «своей» больнице и умерла... Во время похорон, стоя у незасыпанной еще могилы, Лидия Николаевна вдруг упала — у нее произошло кровоизлияние в мозг, довольно долго была она без сознания, после пришла в себя, но парализованная, без языка... Несчастная Вера Николаевна очутилась одна, отрезанная от всех, от Москвы (1919 год), с ребенком нескольких месяцев, с парализованной сестрой...

Страшно подумать, как прожила она эти несколько недель, пока не удалось, благодаря вмешательству Красина, послать за ней теплушку и привезти ее в Москву. За это время, к счастью, Лидия Николаевна уже умерла, а из Киева, тогда отрезанного от Советской России, пробралась к ней сестра Веры, Татьяна, которая и увезла с собой маленького Сережу, которого и воспитала со своими девочками. Звала она и Веру Николаевну с собой, но она отказала ехать «за рубеж».

Не помню теперь, жила ли тогда с ними в Москве их третья сестра, Ольга Николаевна Фроловская или она только поехала за Верой Николаевной в этой самой теплушке и привезла ее, совершенно разбитую всем пережитым. По приезде в Москву Вера Николаевна поселилась с Сажиным (за которым была замужем ее четвертая сестра, Евгения), старым бакунистом. В этот период я очень часто встречалась с нею, так как она с трудом оставалась одна и я много вечеров провела с нею.

Мы много разговаривали, вернее, я очень много слышала ее рассказов. Меня всегда поражала необыкновенная ясность Веры Николаевны по отношению к самой себе, она умела анализировать свои чувства и настроения и в своем анализе доходила до таких глубин, как я не видала ни у одного человека. С каким бесстрашием она не только видела все в себе, но умела выразить и в слове и сказать другому человеку... Как-то раз, в ответ на мое удивление по этому поводу, она сказала мне: «это-

му я научилась, мы все научились, в Шлиссельбурге. Доходить в анализе своих чувств до самой большой, до предельной глубины. Это помогало жить. Говорить об этом было некому, но самому себе сказать было возможно, важно, иногда необходимо. И поневоле надо было быть правдивым, самому себе человек длительно лгать не может... Так создаются привычки... Столько лет... Теперь можно сказать кое-что и другому человеку, иногда по крайней мере. Это и выпало на вашу долю. Такой 'разговор' помогает иногда освободиться от неотступно преследующей мысли»...

Так, почти в этих словах, она ответила мне однажды, когда я спросила ее, в каком состоянии была в последнее время, перед смертью, Лидия Николаевна. Она рассказала, что после удара Лидия Николаевна была совершенно парализована, не говорила, иногда что-то мычала и ясно не отдавала себе отчета ни в происшедшем несчастье, ни в окружающей обстановке. Ее приходилось кормить, обмывать, она ходила под себя, не реагировала ни на слова, к ней обращенные, ни на уход за ней. По признанию Веры Николаевны, это вызывало в ней сильнейшее раздражение. Ей трудно было осознать, что это бесчувственное, неопрятное тело — когда-то любимая ее сестра. Порой ее раздражение доходило до того, что ей казалось, что она способна грубо поступить с ней. «В такие минуты, говорила она мне, мне становилось понятным, что в больницах для умиротворенных служители бьют больных... Порой мне казалось, что и я способна ударить ее... Конечно, я никогда и пальцем не тронула ее, но душевно я была способна на это, я это твердо знаю. Это было счастье, что она, наконец, умерла. Это я ясно ощущала. Для меня она умерла раньше, в тот момент, когда упала у могилы Верочки; то, что жило, дышало после этого, вызывало во мне только раздражение, даже злость».

В эти же незабываемые для меня вечера Вера Николаевна говорила мне о своих переживаниях после освобождения из Шлиссельбурга. О самом Шлиссельбурге почему-то она говорила неохотно и даже неохотно отвечала на мои отдельные вопросы. В ее редких упоминаниях о Шлиссельбурге иногда проскальзывали, не жалобы, жаловаться она органически была неспособна, дьявольски гордая была женщина! — но неясные намеки на ощущения одиночества, которые с огромной силой, по-новому, видимо, снова охватили ее после освобождения.

Окруженная всеобщим поклонением, она не нашла одного человека, который сказал бы ей простое, немудреное любящее слово; она с каким-то особенным ударением говорила о Людмиле Волькенштейн, к которой после ее освобождения из Шлиссельбурга, после 14 лет возвратился муж, оставив для нее свою вторую семью. Она любила Волькенштейн, считала ее «счастливицей»: после стольких лет тюрьмы и одиночества нашла и хорошего сына и близкого человека, казалось, потерянного. «Конечно, он не стоил ее, в общем, средний человек, но он умел во время сказать ‘милая’ или другое такое же слово, а, ведь именно по этому слову всегда была тоска», так или почти этими словами говорила Вера Николаевна. И так остро ощущалось, что у нее-то эта тоска не прошла и после выхода из Шлиссельбурга, что этого простого, немудренного слова она так-таки ни от кого и не услышала, и, вероятно, именно об этом она и думала, когда говорила, что Шлиссельбург вообще не кончается, что он вечно держит, по крайней мере, ее в своих тисках.

Эту тоску по ласковому жесту, по ласковому слову я услышала от нее еще раз (и в такой ужасной форме!) — она рассказывала, как после освобождения из Шлиссельбурга она была выслана куда-то в глухую деревню в Архангельской губернии и жила там со своей старой приятельницей, Корниловой, приехавшей разделить и облегчить ее уединение. Жили они в крестьянской избе, куда, как и в другие избы, регулярно заходила деревенская нищенка со своим 4-х летним сынишкой. Нищенке подавали кусок хлеба, иногда старую тряпку. Давала что-нибудь и Вера Николаевна, разговаривала с мальчуганом, давая ему леденец или что-нибудь в этом роде. Мальчонка был привлекательный и Вера Николаевна охотно перекидывалась с ним словом. Раз она ему сказала:

« — Знаешь, Ванятка, иди лучше ко мне жить, я тебя научу грамоте, буду поить-кормить.

— Не, я с мамкой...

— Ну чего там с мамкой... у вас и дома нет, все по людям ходите, а я тебе каждый день буду леденец давать...

— Не, я с мамкой, ну что ж что дома нет, а мы, как придем куда вечером, да ляжем на печку, да обнимемся, да так и спим, в обнимку, тепло... »

Рассказывая это, Вера Николаевна, почти дрожащим го-

лосом сказала — «Обо мне никто не сказал таких слов. Ну, как не позавидовать нищенке?»

Вера Николаевна вышла из Шлиссельбурга еще не старой женщиной, была еще красива, хотя, конечно, далеко не так, как в молодости, когда ее покоряющая, сверкающая красота была, можно сказать, беспредельна и действовала на людей безотказно. Нам она казалась уже старой женщиной, больше реликвией, чем живой женщиной, нуждающейся в тепле и ласке; если не ошибаюсь, все ее товарищи по заключению быстро завязали новые личные связи, поженились, создали новую семью, нашли какой-то жизненный уют; на ее долю досталось только поклонение, а ей, вероятно, гораздо нужнее было услышать простое русское слово «милая», да теплые объятия детских рученок.

Она нашла многое, но только не это. При ее способности к анализу, к договариванию себе всего до конца, у меня нет сомнений, она ясно отдавала себе отчет в том, **чего** ей не хватает.

Уважение и почтение окружали ее до самой смерти, и в советские времена. Как бы она ни думала, что бы она ни делала, никогда рука ГПУ не коснулась ее — для органа революционной власти это было невозможно. Привилегированность и исключительность своего положения В. Н. переживала не легко. Когда ее, только ее, не арестовали (в августе 21 г.) вместе со всеми членами Всероссийского Комитета помощи голодающим («Голодного Комитета»), она, по словам Кусковой, горько плакала...

Некоторым казалось, что она как-то ужилась в новых условиях новой жизни. Но в одном из писем ко мне в Берлин, в ответ на мои сетования на тяжесть и одиночество эмигрантской жизни, она писала мне: — «Уж не вам жаловаться мне на эмигрантскую жизнь! Я тоже эмигрантка в собственном отечестве!...»

Лидия Дан

ЭПОХА НИКОЛАЯ II*

Настоящая статья посвящена лишь одной из трех основных, самых важных и жгучих проблем, сложное переплетение которых сделало из царствования императора Николая II один из узловых пунктов всей русской истории, из тех ее моментов, которые всегда будут привлекать к себе самое напряженное внимание не только историков-исследователей, но и всех русских людей, не безразличных к судьбам своей родине. Таких основных проблем было три: 1) проблема власти, 2) проблема социально-экономической перестройки и 3) проблема внешней политики. В дальнейшем я остановлюсь только на первой из этих проблем.

Говоря упрощенно и чрезвычайно схематично, проблема власти заключалась в том, что, с одной стороны, русская историческая власть перестала отвечать своему назначению, а с другой, в русском обществе давно уже родились такие группы, которые, по разным побуждениям, тянулись к власти и готовы были вести упорную борьбу с правительством за право участвовать в ней или даже за полный захват ее в свои руки.

Что старая власть в какой-то мере изжила или, по крайней мере, изживает себя, в этом сходились между собой не только ее заклятые враги и не только сторонние наблюдатели, но и многие из ее самых убежденных и преданных, по внешности, защитников. Для иллюстрации этого положения я приведу один

* Покойный Евгений Филимонович Максимович (1894-1965) был серьезный, но мало известный русский историк и архивист. В 1917 г. он окончил историко-филологический факультет Харьковского университета и был оставлен при университете для подготовки к профессорскому званию по кафедре русской истории. В 1919 г. вступил в ряды Белой армии и с 1920 года проживал за границей. Его опубликованные исторические труды были посвящены главным образом истории России 16-го века и историографии советского периода. Настоящая статья, написанная в 1943 году, не могла быть в свое время опубликована по обстоятельствам военного времени. РЕД.

только пример, но пример замечательный. Всем хорошо известно имя В. К. фон Плеве, который свою успешную бюрократическую карьеру закончил на самом ответственном в ту пору министерском посту, будучи назначен в 1902 г. министром внутренних дел, после смерти убитого террористом Балмашовым Сипягина. В глазах не только революционеров, но и просто оппозиционно настроенных обывателей, Плеве был настоящим олицетворением политической реакции, человеком бескомпромиссным, железной рукою схватившим за горло ненавистную ему гидру революции, человеком, который в этой борьбе готов скорее пасть, чем уступить. В то же время самые горячие его ненавистники не отказывали ему в признании за ним, наряду с выдающейся волей, также ясного и трезвого ума. Революционеры поэтому рассматривали его как сильного и опасного противника, и недаром такую бурю восторга вызвало в революционном лагере известие об его убийстве эс-эром Сазоновым 15 июля 1904 г. И вот, дневник видного бюрократа конца прошлого века, статс-секретаря Половцева, знакомит нас с довольно неожиданными, с точки зрения приведенной характеристики, интимными высказываниями самого Плеве о политическом положении, относящемся к тому времени, когда Плеве играл самую крупную роль в нашем государственном аппарате:

«По моему мнению, — говорил Плеве Половцеву в начале января 1903 г., — положение серьезное, но не безвыходное. Конечно, нельзя пренебрегать тем, что в России, за исключением небольшого числа людей, получающих значительное содержание и имеющих случай быть удостоенными высочайшей улыбкой, **все население поголовно недовольно правительством.** С этим надо считаться и изменить это желательно, но, к сожалению, в средствах к достижению такого изменения нет никакого согласия между министрами. Необходимо было бы некоторое изменение основных взглядов, но этого достигнуть невозможно».

«Без сомнения, необходимо выказать правительственное воздействие, которое в течение последних 30 лет в России не существовало, несмотря на то, что для десятков миллионов людей, подвластных правительству, накопились новые интересы, новые потребности, требовавшие направления, урегулирования...»

Эти высказывания свидетельствуют о государственном уме Плеве: он проник в самую суть дела и указывал на два

основных порока старой власти — 1) узость ее социальной базы и 2) отказ ее от руководства народной жизнью. Даже если считать преувеличением слова Плева о том, что все население поголовно за исключением лиц, получающих значительное содержание, недовольно правительством, то все же события 1905 г. показали, что ни в какой общественной группе правительство не могло найти себе активной поддержки. Эта его изолированность в значительной степени объяснялась вторым упомянутым его пороком: русское правительство перестало руководить народной жизнью. В лучшую пору русской монархии правительство смело и безбоязненно брало на себя функции водительства. Классическим в этом отношении образцом является, конечно, Петр Великий. Недаром крупнейший из русских историков С. М. Соловьев в своих замечательных «Чтениях о Петре Великом», характеризуя подготовленность реформы Петра всем предшествующим ходом исторического развития России, прибег к следующему образу: русский народ, страдая от бедности и культурной отсталости, не столько осознал, сколько почувствовал необходимость больших перемен, он взял в руки дорожный посох, собрался в дальнюю дорогу, но все не двигается в путь. Чего же или кого же он ждет? Он ждет вождя. Таким вождем и стал Петр. Петр, действительно, был и чувствовал себя не только и не столько Божиею милостию монархом всея Руси, сколько подлинным вождем русского народа. Он находил средства и пути для удовлетворения назревших потребностей народной и государственной жизни, создавал новое, не боялся пробуждать к жизни такие силы, которые при дальнейшем развитии должны были упразднить современный ему политический и социальный строй, но в то же время были необходимы, чтобы страна не впала в китайщину. И страна откликнулась на обращенный к ней призыв. Вокруг Петра образовалось, пусть небольшое, — как показывает история, количество, само по себе, никогда не имеет решающего значения, — но крепкое ядро убежденных, преданных Петру сторонников его дела, проникнутых духом необыкновенной бодрости, предприимчивости, общественного оптимизма и неукротимой энергии строителей жизни. И в продолжение всего XVIII века русское правительство, худо ли, хорошо ли, независимо от личных качеств его возглавителей, эти водительские функции выполняло.

В XIX веке эта функция в деятельности русского прави-

тельства ослабевает. Это являлось тревожным признаком. В последний раз сравнительно ярко вспыхнуло это начало водительства при императоре Александре II, но потом наступила полоса полного творческого маразма. Это как раз те «30 лет», в которые, по мнению Плеве, Россия была лишена всякого правительственного воздействия, когда нарождались целые новые общественные классы, новые потребности, новые интересы, требовавшие регулирования. Правительство же занималось регистрацией входящих и исходящих, а если и проявляло законодательную инициативу и административную активность, то главным образом для того, чтобы искусственными путями поддержать преобладание в общественной жизни экономически хиреющего дворянства, слишком долго затянувшийся союз с которым сделался для монархии роковым.

Упущенную правительством из своих рук инициативу в деле руководства народной и общественной жизнью пытались перехватить некоторые общественные круги, в которых естественный ход развития социальной жизни пробудил политический интерес и аппетит к власти. Вспыхнувшая в начале XX века борьба за власть сделалась очень опасной для правительства по причине сплошных неудач русско-японской войны, сильно расшатавших правительственный авторитет и поколебавших его уверенность в своих собственных силах, и далеко зашедшего социального нестроения, принявшего зловещие формы осенью 1905 г. На этом моменте необходимо остановиться подробнее ввиду того значения, которое он имеет в общем ходе русской истории.

Осенью 1905 г. силы правительства были ограничены, так как значительная часть армии находилась еще в Манчжурии, с нетерпением ожидая эвакуации на родину и довольно быстро разлагаясь в условиях потерявшего всякий смысл безделья, скученности громадных и притом плохо дисциплинированных людских масс и широко поставленной агитации социалистических партий.

Главнокомандующий престарелый генерал Линевич совершенно растерялся, занимался попустительством и не поддерживал тех немногих из подчиненных ему начальников, которые пытались доступными им мерами бороться с разложением армии. Он слишком дорожил своей репутацией в солдатских массах доброго «отца-командира», боялся ее потерять, да к

тому же, видимо, не был уверен в том, какой оборот примут события в России, и потому стремился лавировать. Тогдашний военный министр генерал Редигер рассказывает в своих воспоминаниях, что в конце 1905 г. он получил от Линевича письмо с изложением обстановки в манчжурской армии, написанное с явным расчетом не скомпрометировать себя даже в том случае, если бы к власти пришли революционеры, и письмо попало бы в их руки («Красный Архив», т. 45, стр. 109). В конце концов, ген. Линевича пришлось сместить, а в дальнейшем ставился даже вопрос о предании его суду по обвинению в преступном бездействии власти, но это дело было замято. Нет никакого сомнения, что в случае дальнейшего «углубления» революции позиция ген. Линевича в точности соответствовала бы позиции ген. Брусилова в 1917 г. Теперь же, осенью 1905 года, стремясь поскорее освободиться от буйных и распропагандированных еще до своего призыва в войска запасных, он, вопреки прямому высочайшему повелению, в первую очередь отправлял в Россию именно запасных, а не целые войсковые части, в которых в Европейской России испытывалась величайшая нужда для борьбы с беспорядками, получившими на некоторых окраинах, как мы убедимся, характер настоящих восстаний.

Однако, бунты на «Князе Потемкине» и «Георгии Победоносце» и признаки брожения во многих армейских частях показали, что нельзя вполне полагаться и на ту часть вооруженных сил империи, которая оставалась в России в непосредственном распоряжении правительства. В городах происходили шумные демонстрации, террористы убивали одного за другим наиболее энергичных и решительных администраторов, а из половины уездов Европейской России доходили известия об аграрных беспорядках, принимавших местами характер беспощадного разгрома помещичьих усадеб, сопряженного с кровавыми жертвами.

Первая вспышка аграрных беспорядков относится еще к ранней весне 1902 г., когда они вспыхнули в Константиноградском уезде Полтавской губернии, а затем перекинулись на соседние уезды Полтавской же и Харьковской губерний. Тогда беспорядки носили местный характер и были быстро подавлены, хотя все же за короткое время пострадало более 100 имений. В следующие годы аграрное движение открыто не

проявлялось, но весной 1905 г. в явной связи с военными неудачами и напряженностью общего политического положения в стране оно вспыхнуло с новою силою. Возникнув в середине февраля в Дмитриевском уезде Курской губернии, оно быстро перекинулось на соседние уезды Орловской и Черниговской губерний. Это все были губернии, где особенно остро чувствовалось аграрное перенаселение, уровень сельскохозяйственной техники был низок, а крестьянство бедно. Независимо от движения в центрально-черноземной полосе начались аграрные беспорядки и на Кавказе и в Прибалтийском крае. Если в начале года аграрные беспорядки были зарегистрированы в 74 уездах Европейской России, то летом число неблагополучных уездов достигает 91. Летом разгорается непосредственная борьба за землю: захват помещичьей земли, увоз урожая и т. п. По югу прокатывается волна сельскохозяйственных забастовок.

С еще большей силой движение развивается осенью 1905 года в связи с революционным движением в городах. Оно охватывает 240 уездов, т. е. до половины всех уездов Европейской России. Для характеристики его интенсивности приведу некоторые цифры, заимствуя таковые из официальных документов, а именно из отчетов генерал-адъютантов, по высочайшему повелению специально командированных для принятия соответствующих мер и личного воздействия на население в те районы, где аграрное движение приняло особенно крупные размеры и грозный характер. Генерал-адъютант Пантелеев, объехавший в начале 1906 г. Орловскую, Курскую, Черниговскую и Полтавскую губернии, доносил, что в них за время с октября 1905 г. по январь 1906 г. было разгромлено или подожжено 246 экономий, а причиненный убыток исчислялся в 7.150.000 рублей («Красный Архив», 1925, т. XI-XII, стр. 190). В трех прибалтийских губерниях число разгромленных и сожженных замков и имений, правда, за больший период, достигало 573, а убыток исчислялся свыше чем в 12.000.000 рублей (там же, стр. 279-280).

В Прибалтийском крае аграрное движение, тесно связанное с движением в городах и окрашенное в национальные тона, приобрело вообще исключительно острый характер, сопровождалось многочисленными убийствами как землевладельцев и их управляющих, так и должностных лиц, в особенности поли-

цейских чинов, и даже нападениями на воинские команды, — словом край был на пороге прямого вооруженного восстания. Напряженность положения характеризуется тем, что в одном только городе Риге за три осенние месяца (сентябрь–ноябрь) 1905 г. было совершено 276 революционных актов, в том числе 122 убийства или покушения на таковое (там же, стр. 279). Город Туккум 1. VII. 1905 г. перешел во власть мятежников после стычки с его гарнизоном, причем войска понесли чувствительные по масштабам борьбы потери (там же, стр. 283). Высший военный начальник в Риге ген. Поппен, начальник 29-й пехотной дивизии, настолько растерялся и исполнился такого страха перед террористами, что переодетый в штатское платье выехал в Петербург, чтобы укрыться на квартире своего сына, за что и был уволен в отставку, когда начальству сделалось известно его поведение. Это был, конечно, уродливый случай, но среди старших начальников, и штатских и военных, многие в это критическое время обнаружили полное несоответствие своему назначению. Генерал Редигер в своих записках признает, что «слабость и нерешительность в руководстве войсками, неумение распоряжаться ими при подавлении беспорядков были явлениями общими — таков уж был состав высших начальников, благодушных и приученных бояться инициативы и ответственности» (там же, стр. 99). Вообще вопрос о высшем командном составе в армии был вопросом большим. Русско-японская война не выдвинула ни одного крупного, пользовавшегося общим признанием имени. В самом конце 1905 г., ввиду обнаружившейся полной несостоятельности ген. Линевича как главнокомандующего, был поставлен вопрос о замене его на этом посту другим лицом. Но ген. Редигер так охарактеризовал всех троих тогда намечавшихся кандидатов. «Эти кандидаты на высокую должность, писал он в своих записках, — хорошо обрисовывают, насколько мы бедны толковыми генералами. Батянов был больше всего фигляр, ни на какое крупное дело не пригодный, Мейендорф — честнейший человек, но ограниченных возможностей, а Гродеков никогда не был выдающимся, а в это время уже стал заметно слабеть» (там же, т. 45, стр. 110). Тот же Редигер в качестве военного министра забраковал всех троих генералов, намеченных государем в начале декабря 1905 г. к назначению на высокие, а в ту пору особенно ответственные посты командующих военны-

ми округами: Московским, Виленским и Одесским (там же, стр. 100),

Вернемся, однако, к характеристике внутреннего положения России осенью 1905 г. Я уже упоминал о настроении в действующей армии и о симптомах брожения в частях армии и флота, остававшихся внутри страны, о беспорядках в городах, террористической деятельности революционных партий, об аграрных беспорядках, широкой волной прокатившихся по России, о состоянии близком к вооруженному восстанию в Прибалтийском крае, от которого недалеко отставал и Кавказ. В довершение всех этих бед в октябре 1905 г. разразилась всеобщая забастовка, которая перерывом железнодорожного сообщения, телеграфной и телефонной связи грозила окончательно парализовать воздействие правительства на страну и расстроить жизнь обеих столиц. В этот критический момент государь обратился за советом к государственному деятелю, не внушавшему ему никаких симпатий, ни даже простого доверия, но правительственная опытность и дарования которого пользовались всеобщим признанием, в том числе со стороны лиц, наиболее близких к государю, именно к графу С. Ю. Витте, безусловно самому крупному деятелю тогдашней правящей России.

Граф Витте, будучи призван к государю, дал ему совет твердо и бесповоротно принять и осуществить одно из двух мыслимых в тогдашней обстановке решений: или, вступив на путь конституционных реформ, расколоть единый противоположительственный фронт и в новых общественных слоях найти опору для власти в предстоящей ей жестокой борьбе с вплотную надвинувшейся на страну революционной смутой, или же приемами диктаторского управления безоглядно, не обращая внимания на жертвы, подавить революционное брожение, оставаясь при прежних формах бюрократического властвования. Лично граф Витте верил в спасительность для России первого пути, так как второй представлял собою борьбу не с существом переживаемой Россией болезни, а только с ее симптомами. Но он не исключал и методов диктатуры, лишь бы нашелся подходящий по свойствам натуры человек, лучше всего военный. Вместе с тем гр. Витте представил государю докладную записку с изложением основных начал потребных, по его мнению, преобразований государственного и общественного

стройка. Записка гр. Витте, переданная государю 9 октября, в ближайшие после этого дни подверглась обстоятельному обсуждению, в котором приняли участие некоторые из высших сановников государства и лично близких государю людей. Есть основания думать, что государю был более близок путь диктатуры, так как доводы Витте, хотя и произвели на государя впечатление своей логичностью и богатством аргументации, но все же не могли поколебать глубоко заложенной в нем антипатии к конституционным формам власти, противоречившим владавшему им чисто мистическому представлению о характере державной власти, унаследованной им от его предков. Но диктатура невозможна без диктатора. В придворных кругах единственно подходящего кандидата в диктаторы видели в великом князе Николае Николаевиче, так как он пользовался репутацией сильного, волевого человека, имел в это время большое влияние на государя и не мог внушать последнему никаких опасений персонального характера. Но когда с великим князем заговорили на эту тему, то с ним произошел чуть ли не истерический припадок. Последующую сцену я беру не из воспоминаний гр. Витте, мемуариста вообще очень пристрастного и к тому же заведомо недоброжелательного по отношению к великому князю Николаю Николаевичу, а из источника в этом отношении нейтрального, из воспоминаний генерала Мосолова, б. начальника канцелярии Министерства Императорского Двора, человека и по службе и лично очень близкого министру Двора графу Фредериксу, от которого он слышал этот рассказ, примерно в той же форме передаваемый и ген. Редигером в его записках.

15 октября 1905 г. великий князь, только что вернувшийся в Петербург из своего имения, где он развлекался охотой, явился на квартиру к Фредериксу. Последний, обрадованный его приездом, сказал ему, что его ожидали со страстным нетерпением, чтобы назначить его диктатором. Тогда великий князь, будучи в каком-то неестественном возбуждении, выхватил револьвер и закричал: «Если государь не примет программы Витте и захочет назначить меня диктатором, я застрелюсь у него на глазах из этого самого револьвера. Надо ехать к государю. Я заехал к тебе (он был с Фредериксом на «ты»), — чтобы сказать то, что только что сказал. Поддержи во что бы то ни стало Витте. Это необходимо для блага нас и России». — И

затем, по словам Фредерикса, он убежал как сумасшедший. Государю великий князь доложил о невозможности, за недостатком войск, прибегнуть к диктатуре. Воздействие великого князя, повидимому, сыграло решающую роль в событиях этих дней. Идея диктатуры была оставлена. Порочность ее в данных условиях заключалась в том, что, как учат нас и история и современность, диктаторов никто не назначает, они сами берут власть в свои руки. Назначить можно только обер-полицеймейстера. В тех условиях, в каких находилась Россия в 1905 году, недостаточно было прибегнуть к правительственной репрессии в чистом ее виде; диктатор должен был быть не только усмирителем, но и творцом, вождем, деятелем с широким государственным горизонтом, с ясным пониманием насущных потребностей России и определенной программой их удовлетворения. Но те, кто в это время склонялся к идее диктатуры, не имели такой программы, а те, у кого программа имелась, принципиально отрицали идею и практику диктатуры. Итак, победила точка зрения необходимости уступок требованиям общества, и через два дня после рассказанной мною сцены, 17 октября 1905 г., был дан знаменитый манифест, означавший начало совершенно нового этапа в политической истории России.

Вполне естественно, что осуществлять новую программу было поручено ее духовному отцу — гр. Витте, который стал первым в нашей истории премьер-министром, т. е. главою объединенного правительства. Как я уже отмечал, гр. Витте, склоняя государя к дарованию манифеста 17-го октября, исходил из мысли, что уступки требованиям общества, которые содержал этот манифест и которые сами по себе были весьма существенны, будут достаточны, чтобы вполне удовлетворить значительные и влиятельные круги русской оппозиционной общест-венности, разорвать протiwоестественный союз этих кругов, по своему социальному составу (в значительной мере землевладельцы, домовладельцы, промышленники, чиновники, иногда занимавшие видные посты), казалось бы, отнюдь не заинтересованных в полном ниспровержении существующего общественного строя и государственного порядка, с крайними политическими течениями, социалистически или анархически окрашенными, открыто ставившими такое ниспровержение основной целью своей деятельности и преследовавшими ее с полной беспощадностью и неразборчивостью в средствах.

Витте ожидал, что манифест 17-го октября, последовательно проводимый им в жизнь, ликвидирует принципиальную оппозиционность русской либеральной общественности и превратит вчерашнего скрытого недоброжелателя или явного врага в попутчика или даже активного союзника возглавляемого им правительства, союзника, который употребит все доступные ему меры воздействия, а в первую очередь печать, наиболее влиятельные и распространенные органы которой были в руках именно либеральной общественности, на борьбу с революционным движением, на оздоровление и успокоение общественной атмосферы. Одним словом, ставка гр. Витте была ставкою на элементарный здравый смысл русской общественности, которая поймет, что главный ее враг — не справа, а слева, не правительство, готовое идти на широкие и далеко идущие уступки, рекрутируемое из тех же социальных кругов и живущее в той же культурной атмосфере, что и общественность, а наши максималистски настроенные революционеры, освободившие себя от всяких исторических традиций, более того, впитавшие в себя лютую, болезненную ненависть к русской государственности и в ее настоящем и в ее прошлом.

Свой всеподданнейший доклад от 14 октября 1905 года, опубликованный одновременно с манифестом 17 октября и представлявший по существу авторский комментарий к этому манифесту, гр. Витте заканчивал словами: «Я верю в политический такт русского общества. И я убежден, что оно не может стать на сторону анархии, угрожающей, помимо всех ужасов дикого разгрома, государственным расчленением и подчинением России иноземцам» («Кр. Архив», т. XI-XII, стр. 66).

И вот, гр. Витте, осуществляя свою политическую программу в качестве премьер-министра, сделал, действительно, попытку опереться на русское общество, вернее на русскую прогрессивную общественность. В первую очередь он попытался обеспечить своим начинаниям положительное отношение периодической печати, в то время сильно способствовавшей возбуждению общественного мнения. Уже в самый день 17 октября редакторам всех больших или политически значительных петербургских газет и журналов были разосланы от имени гр. Витте повестки с приглашением явиться к нему на следующий день для собеседования. Эта беседа убедительно продемонстрировала глубокое расхождение между гр. Витте и представителями печати по вопросу о сущности переживаемого поли-

тического момента и о методах правительственной деятельности. Можно сказать, что собеседники говорили на разных языках и плохо понимали друг друга.

Несмотря на явную и довольно горестную неудачу попытки сговориться с печатью, гр. Витте, осуществляя начала манифеста 17 октября и получив от государя широкие полномочия по формированию нового совета министров, освободил его от сановников, явно не удовлетворявших требованиям нового политического курса, и приступил к переговорам с общественными деятелями прогрессивного толка, стремясь привлечь их в свой кабинет, кабинет обновления России. Ход этих переговоров также представляет чрезвычайный интерес, проливая, как и беседа гр. Витте с представителями печати, яркий свет на психологию русской прогрессивной общественности, т. е. социального фактора, сыгравшего огромную и в общем плачевную роль в новейших судьбах России.

Прежде всего гр. Витте обратился с просьбою о сотрудничестве к известному общественному деятелю, б. председателю Московской губернской земской управы Д. Н. Шипову, предложил ему пост государственного контролера. Последний, однако, указал гр. Витте, что вступление его в кабинет не произведет потребного политического эффекта, так как быстрый ход политических событий вызвал существенное расхождение во мнениях между ним и его бывшими соратниками, для которых Шипов, исповедовавший убеждения близкие славянофильским, является уже слишком умеренным деятелем, несозвучным требованиям момента. Поэтому Шипов порекомендовал гр. Витте обратиться к самой влиятельной в данный момент общественной организации — бюро съездов земских и городских деятелей, объединявшей в своей среде цвет русской интеллигенции и наиболее активных работников земских и городских самоуправлений. Бюро, имевшее свое местопребывание в Москве, для переговоров с Витте выслало в Петербург делегацию в составе кн. Львова, Головина и Кокошкина, — одного видного представителя либеральных земцев и двух членов только что сформировавшейся к.-демократической или, в просторечии, «кадетской» партии. И вот, эти лучшие люди самой зрелой в политическом отношении группы поставили Витте такие обязательные условия для вхождения общественных деятелей в его кабинет: созыв Учредительного собрания

на основе всеобщего, прямого, равного и тайного избирательного права, немедленное и полное осуществление свобод, возвещенных манифестом 17 октября, полная амнистия политических преступников; эти требования в бурной революционной обстановке октябрьских дней означали обращенное к правительству требование самоупраздниться под напором революционной стихии, т. е. тот рецепт, который названные лица и их политические единомышленники на деле осуществили в 1917 году.

Граф Витте, политик чрезвычайно реальный, менее чем кто-либо склонный к доктринерству, не мог не отнестись к этим требованиям как к детскому лепету политических младенцев, исключавшему возможность сколько-нибудь серьезного и ответственного разговора с людьми, представляющими собою цвет русской прогрессивной общественности.

После полной неудачи переговоров с Бюро съездов земских и городских деятелей гр. Витте продолжал разговоры с отдельными представителями русской либеральной общественности несколько более умеренного толка: Шиповым, кн. Трубецким, Стаховичем. Но и эти переговоры не привели к положительному результату, ибо все эти лица категорически отказывались иметь своим коллегой по кабинету П. Н. Дурново, намеченного графом Витте на пост министра внутренних дел, так как Дурново пользовался репутацией отъявленного реакционера, Витте же, не видя среди общественных деятелей никого, кто мог бы сравняться с Дурново богатством административного опыта, энергии и силою воли, наконец, трезвою оценкою обстановки, хотел во что бы то ни стало удержать столь ценного сотрудника на важнейшем в данный момент посту в Империи.

Итак, русская прогрессивная общественность в лице своих наиболее выдающихся представителей не захотела разделить с Витте бремя власти. Мало того, она не пожелала или не смогла дать ему даже никакого разумного совета. Признанный ее вождь, П. Н. Милюков, уже в эмиграции, после крушения Империи, с поражающим самодовольством вспоминал о том в своем роде классическом совете, который он дал графу Витте на поставленный последним при личном свидании между ними вопрос: что делать? Во избежание упрека в утрировке я приведу подлинную цитату из книги П. Милюкова «Три попытки»: «Произнесите слово: конституция. Для ускорения и упро-

щения дела позовите сегодня кого-нибудь и велите перевести на русский язык бельгийскую или, еще лучше, болгарскую конституцию, завтра поднесите ее царю и послезавтра опубликуйте. Это будет конституция октроированная, и вас будут бранить за такой образ действий, но потом успокоятся и все войдет в норму. Нельзя говорить, что мы, русские, не доросли до этого, раз я ссылаюсь на такую страну как Болгария, откуда я недавно прибыл. Одушевление Витте прошло. Он ответил мне просто и ясно: я этого не могу, я не могу говорить о конституции, потому что царь этого не хочет. Я так же просто сказал ему: тогда нам не о чем разговаривать, и я не могу дать вам никакого дельного совета...»

В 1905-1906 гг. русская интеллигенция, выйдя на широкую политическую арену, обнаружила специфические недостатки, присущие, впрочем, не только ей одной, а всякой вообще интеллигенции, получившей уже вкус к политической деятельности, но силою обстоятельств к этой деятельности не допускаемой. У такой интеллигенции неизбежно развивается любовь к безответственной критике, доктринерство, вера в спасительность универсальных схем и во всемогущество красивого, убедительного слова, оторванность от жизни, а в то же время постепенно атрофируется политическая воля, способность и умение действовать. Такова была не только русская интеллигенция в 1905 г. и позже в 1917 г., — с такими же чертами выступила на широкую политическую арену и французская интеллигенция в 1789 г. и германская в 1848 г. Недаром по Германии ходил шуточный стишок по поводу обилия профессоров в составе первого, революционного, общегерманского парламента, заседавшего в церкви св. Павла во Франкфурте на Майне.

Hundert zwanzig Professoren!

Vaterland, du bist verloren.

Охарактеризованная мною психология русской интеллигенции с чрезвычайной наглядностью проявилась и в 1905 и в 1906 гг., в эпоху 1-ой Государственной Думы, которую кадеты, не говоря уже о более левых элементах, пытались использовать не для органического государственного строительства, а для открытого штурма власти, будучи озабочены только тем, чтобы, как выразился Милюков на апрельском съезде партии 1906 г., — «вся тяжесть войны и ответственность за столкно-

вание с властью пали на власть». Они добивались в первую очередь захвата в свои руки администрации согласно знаменитой формуле Набокова: «исполнительная власть да подчинится власти законодательной!», формирования парламентского министерства, предоставления полной свободы действия революционным партиям, в дальнейшем же обрисовывался абрис Учредительного Собрания, что автоматически вело к коренной ломке всего политического и социального строя Империи. С правительством Горемыкина, которое перед самым открытием 1-ой Гос. Думы заменило собою кабинет гр. Витте, Дума отказывалась работать, требуя его немедленной отставки. Никакая совместная работа между правительством и Думою, открыто ставившей свою ставку на карту революции, оказывалась невозможна.

После роспуска 1-ой Думы уже не Витте, а новый премьер Столыпин сделал попытку привлечь к участию в правительственной работе приблизительно тех же прогрессивных общественных деятелей, с которыми в свое время вел переговоры Витте: Д. Н. Шипова, Милюкова, кн. Львова, гр. Гейдена, Гучкова и др. Но и из этой попытки ничего не вышло, по тем же причинам, что и ранее, при Витте. Более трезвые из этих деятелей понимали необходимость жесткой правительственной репрессии в условиях почти революционной ситуации лета 1906 г., когда с кафедры Государственной Думы в необъятные российские просторы неслись зажигательные речи, а потом из Выборга около 200 депутатов Думы обратились с явно революционным призывом к стране, когда продолжались террористические акты в городах и аграрные беспорядки в деревне, когда в течение июля 1906 г. произошли военные бунты в Свеаборге, Кронштадте и на крейсере «Память Азова». Но эти деятели, понимая необходимость репрессий и, в сущности, признавая их благотворность, в то же время не хотели принимать на себя их «одиум», предпочитая взвалить эту тяжелую и неблагодарную задачу на плечи правительства.

После неудачного исхода переговоров Столыпина русской общественности была дана переэкзаменовка во образе 2-ой Госуд. Думы, но она ее не выдержала. Правда, кадеты кое-чему научились за истекшие бурные 1½ года, но положение их во 2-ой Думе оказалось много труднее, чем в 1-ой, ввиду наличия очень сильного крайне левого сектора.

Роспуск 2-ой Думы означал собою новый переломный момент в политическом развитии России. Правительство и, в первую очередь, его глава Столыпин, оказались на перепутье. Двукратный опыт с Госуд. Думою, созываемую на основании избирательного закона 11. XII. 1905 г., который заполнял Думу громадным количеством серых, крестьянских депутатов, совершенно непригодных для законодательной работы в общегосударственном масштабе и легко попадавших в идейный плен революционных лозунгов, оказался неудачным, и повторять его в третий раз правительство не захотело. Но также невозможно было, зачеркнув манифест 17 октября, просто вернуться к старым формам бюрократически-полицейского властвования, оторванного от совершавшихся в стране мощных социально-экономических и идейных процессов. Старый строй был слишком сомпрометирован в глазах даже его собственных слуг. События Русско-японской войны и смуты 1905-1906 гг. убедительно показали, к какому измелчанию правящего слоя приводит долголетнее, растянувшееся на целое столетие господство канцелярского отбора людей. В канцеляриях утрачивалось чувство живой связи с жизнью, культивировались чисто бумажные достоинства, отдавалось предпочтение не людям волевым, инициативным, с самостоятельной оценкою жизненных явлений, а людям покладистым, эластичным, не нарушающим привычно мирного хода канцелярских дел. В условиях прочного социального мира и нормального функционирования правительственного механизма эти достоинства ценились высоко, а недостатки были мало ощутимы, но в моменты социальных потрясений и напряженной борьбы, как в 1905 или в 1917 гг., бедность в энергичных, волевых людях принимала характер прямо роковой. Расширить правительственную базу, изменить состав правящего отбора и условия его функционирования становилось задачей государственной необходимости.

Для решения этой задачи Столыпин не видел иного пути чем тот, на который он вступил своим законом 3-го июня 1907 года, изменявшим Положение о выборах в Гос. Думу. Это был путь конституционного воспитания русского общества, постепенного втягивания в работу правительственного аппарата хотя бы тех элементов нации, которые для такой работы были наиболее подготовлены и по своему социальному положению и по своему культурному уровню. Отрицательные же стороны

нового для России конституционализма должны были парализоваться наличием полубюрократического Государственного Совета и обширными прерогативами, оставленными основными законами за верховною властью императора, ибо последний, перестав быть самодержцем, не перестал быть монархом, который, в отличие от английского, не только царствует, но и управляет. Быть может, в том государственном строе, который установился у нас 3 июня 1907 г. и со стороны наших прогрессивных кругов презрительно именовался лжеконституционализмом, было даже слишком много сдерживающих, тормозящих элементов. В частности, далеко не всегда была благотворной роль Государственного Совета. Социальное, особенно рабочее, законодательство 3-ей и 4-ой Гос. Дум было очень скромным, но и те в высшей степени безобидные законопроекты, которые проходили через Думу, безнадежно застревали в комиссиях Госуд. Совета или отклонялись в его пленарных заседаниях. Однако, верховная власть имела в своем распоряжении достаточно ресурсов, чтобы регулировать отношения между обеими палатами и не позволять одной из них тормозить или вовсе парализовать все государственное строительство. В этом отношении громадное значение приобретало правительство, а особенно личность его главы.

Столыпин в общем и целом был на высоте положения и уверенной рукою вел государственный корабль, не позволяя ему уклоняться ни вправо, в стоячие воды безыдейного консерватизма, ни влево, где его могла захлестнуть и разбить в щепы революционная буря.

Столыпин принадлежал к тем редким в истории подлинным государственным людям, которым удавалось в своей деятельности гармонически сочетать понимание значения авторитета власти и умение нести ее бремя «честно и грозно», согласно красивому старорусскому определению, со столь же ясным пониманием необходимости для власти поступательного движения, соответствующего объективным условиям и потребностям эпохи. К сожалению, это счастливое сочетание среди наших государственных людей встречалось крайне редко. В соответствии с только что сказанным, в деятельности Столыпина необходимо различать две стороны: подавление революционного движения и проведение необходимых реформ.

Что касается репрессивной деятельности правительства,

то исторически она была оправдана. После того, как ставка гр. Витте на политический такт и политическую зрелость русской общественности была бита, правительство, не встретив у нее поддержки, по крайней мере, у ее наиболее влиятельных в то время кругов, вынуждено было обратиться для борьбы с революцией к старым мерам — администрации, войску, инерции повиновения народных масс. Хотя все эти ресурсы в 1905-1906 гг. действовали далеко не безупречно и не всегда безотказно, все же правительству удалось с их помощью справиться, по крайней мере, с наиболее острыми и непосредственно опасными проявлениями революционного движения, кульминационным пунктом которого было вооруженное восстание в Москве в декабре 1905 г., подавленное вновь назначенным московским генерал-губернатором энергичным адмиралом Дубасовым при помощи присланного из Петербурга, ввиду ненадежности войск московского гарнизона, л.-гв. Семеновского полка.

В непосредственной борьбе с революцией Столыпин шел тем же путем. Борясь с террором и попытками вооруженных выступлений, он изымал одну губернию и область за другой из действия нормального правопорядка и переводил на положение усиленной или чрезвычайной охраны или на военное положение. В начале августа 1906 г. из 87 губерний и областей Империи в 82 существовали разные виды исключительного положения. В том же августе 1906 г. во всех этих местностях были введены военно-полевые суды, а позже, когда эта мера была отменена, последовали новеллы, ускорявшие судопроизводство в военно-окружных судах с тою же целью большего эффекта правительственной репрессии.

Для характеристики напряженности положения в стране, которой обуславливались все эти репрессивные мероприятия правительства, можно привести следующие данные, относящиеся к первым 1½ месяцам возглавления правительства Столыпиным: — в дни 17-20 июля последовали бунты минной роты в Свеаборге, двух флотских экипажей в Кронштадте и команды крейсера «Память Азова». 12 августа произошло покушение на самого Столыпина (памятный взрыв на казенной даче министра на Аптекарском острове в Петербурге, когда погибло около 30 человек и были ранены малолетние дети министра); 13 августа был убит командир л.-гв. Семеновского полка, ген. иди хлзожолэж я илвнядо ичэноипошювад олоболож 'ниш

подавлении декабрьского восстания в Москве. 14 августа был убит варшавский военный губернатор ген. Вонлярлярский и т. д. и т. д.

Всего в течение 1906 г. было совершенно 4.742 террористических акта, причем было убито 736 представителей власти и 640 частных лиц. Из более крупных террористических актов, приходящихся на этот год, отметим, помимо уже упомянутых, убийства командующего Черноморским флотом адмирала Чухнина, члена Государственного Совета графа Игнатьева, главного военного прокурора генерала Павлова, петербургского градоначальника ген. фон-дер-Лауница, екатеринославского временного ген.-губернатора ген. Жолтановского, губернаторов: акмолинского ген. Литвинова, самарского — Блока, симбирского — Старынкевича, тверского — Слепцова, генералов Голошапова, Грязнова, Кузмича, Николаева, Полковникова, советников губернских правлений: полтавского — Филонова и тамбовского — Луженовского. Покушения были произведены на генерал-губернаторов: московского — адм. Дубасова и варшавского — ген. Скалона, командующего войсками Одесского военного округа ген. Каульбарса, губернаторов: минского — Курлова и черниговского — Хвостова, градоначальников: московского ген. Рейнбота и ялтинского ген. Думбадзе, генералов: Аларина, гр. Келлера, Неплюева, Ренненкампа, Соллогуба, Тимофеева и т. д. и т. д. В процессе борьбы с террором в 1906 и 1907 гг. было приговорено к смертной казни 2.717 человек (казнено 1.780), к каторжным работам — 3.873 чел., к более легким наказаниям — 11.684 чел. В то время цифры эти казались громадными: ведь за всю последнюю четверть XIX века в России было казнено по приговорам судов всех видов только 44 человека.

Репрессивными мерами правительству удалось в конце концов подавить революционную волну, которая разбилась на множество террористических и экспроприаторских ручейков, иногда смешивавшихся с чуждыми всякой политики и революционной идеологии элементами. В последующие годы террор резко пошел на убыль, а другие открытые проявления революционного брожения, как-то: бунты, вооруженные сопротивления органам власти, демонстрации, политические стачки и т. п. или вовсе прекратились или сильно сократились в числе и ослабели в интенсивности.

Переходя от обзора репрессивной деятельности Столы-

пина к его конструктивной, творческой работе, приходится отметить, что его правительственная программа по существу была очень близка к программе гр. Витте и, может быть, именно поэтому Витте, устранный от дел, доживавший свои последние годы в вынужденном и постылом для столь активного, бодрого и честолюбивого человека безделье, такую жгучую ненавистью ненавидел Столыпина. Он сознавал или, по крайней мере, чувствовал, что Столыпин с успехом играет ту историческую роль и пожинает те лавры, которые могли бы достаться ему, Витте. Но Столыпин, быть может, уступавший Витте и в силе природной интуиции и в яркости громадного, хотя плохо культивированного таланта, обладал некоторыми такими чертами, которые позволяли ему играть свою историческую роль с таким блеском, который Витте был совершенно недоступен. Я имею при этом в виду не ораторский талант Столыпина, которого Витте был совершенно лишен, но который в новых условиях русской политической жизни был очень важен для руководящего государственного деятеля. Неизмеримо важнее было то личное обаяние, которое было у Столыпина, тот пафос государственного строительства и служения государству, каким он обладал, словом, те черты вождя, которые его резко выделяли из плеяды всех правительственных деятелей предреволюционной России.

Приведу по этому поводу свидетельство одного из его ближайших сотрудников и одного из самых трезвых деятелей правительственного лагеря этой эпохи, товарища министра внутренних дел при Столыпине, а потом государственного секретаря С. Е. Крыжановского, мнение которого в данном случае особенно ценно, так как он не только отлично знал Столыпина, но и вовсе не принадлежал к числу безоглядных его восхвалителей, а напротив, относился к нему вполне критически. Тем не менее он считает возможным дать такую, по существу хвалебную, оценку личности и государственной работы Столыпина:

«Не в идейном творчестве заключалось значение Столыпина. Оно лежало прежде всего в области государственной психологии — создания атмосферы благоприятной правительству и его начинаниям. Блеском своего таланта и обаяния своей личности, умением идеализировать свою деятельность, подымать идею на пьедестал, Столыпин вдохнул жизнь в завешанную

прошлым программу устройства России, сумел освоить ее и слить со своею личностью. Он первый внес молодость в верхи управления, которые до тех пор были, казалось, уделом отживших свой век стариков. И в этом была его большая и бесспорная государственная заслуга».

«Столыпину удалось то, что не удавалось ни одному из его предшественников. Он примирил общество, если не все, то значительную его часть с режимом. Он показал воочию, что «самодержавная конституционность» вполне совместима с экономической и идейной эволюцией и что нет надобности разрушать старое, чтобы творить новое. И как бы ни расценивать Столыпина, одно бесспорно, что он работал для будущего России, и не какой-нибудь, а России великой, и не мало успел для этого сделать. Он разрушил общинный строй, так много вреда приносивший современной ему России, открыв выход для накопившихся в крестьянстве деятельных сил и направил их на путь хозяйственного развития и нравственного укрепления. Он разрушил тем и главную преграду — обособленность прав, — отделявшую крестьянскую массу от слияния с остальными слоями народа в одно национальное целое. Он правильно понимал и значение заселения Сибири и деятельно его поддерживал. На тучном черноземе сибирских полей, где народ наш завершил свой исторический путь «навстречу солнцу», вдали от отравленных социальной завистью равнин старой России, он стремился вырастить новые, более здоровые поколения борцов за русскую великодержавность в тех европейских столкновениях, грозный призрак которых уже надвигался».

Я не имею возможности подробно остановиться на творческой государственной работе Столыпина. Центр тяжести ее, как известно, лежал на аграрной и, шире говоря, крестьянской его политике, но это столь большая, сложная и ответственная тема, которая требует самостоятельного изложения. Такого же изложения потребовала бы и характеристика того бурного, в некоторых отношениях прямо небывалого, общехозяйственного подъема России, которым было ознаменовано последнее пятилетие перед Великой войной и который стоял в органической связи со Столыпинской социальной и экономической политикой, как об этом совершенно недвусмысленно свидетельствуют и некоторые из советских авторов, в общем злобно пристрастных и несправедливых и лично к Столыпину

и к старой России вообще, воспитанных в духе презрения и ненависти ко всему русскому историческому прошлому.

Для характеристики мощного всестороннего подъема России в предвоенные годы, я прибегну к наиболее убедительному на мой взгляд приему, а именно, я предоставляю слово как этим самым советским авторам, так и вообще писателям, исходящим во взглядах на старую Россию из совсем иных отправных пунктов, нежели я. Вот отзыв о Столыпинской аграрной реформе и ее результатах авторитетнейшего большевицкого историка, долголетнего главнокомандующего на историческом фронте советской науки М. Н. Покровского, которого сам Ленин аттестовал как лучшего советника по вопросам марксизма:

«При свете той условной жизни, в которую облекала столыпинщину кадетская пресса, мы, грешным делом, прозевали в значительной степени самый крупный момент столыпинской социальной политики, именно его аграрное законодательство, выражавшееся в указе 11 марта 1906 г. о землеустройстве, в указе 9 ноября 1906 о выходе из общины и в увенчавшем все это законе 14 июня 1910 г., который подвел итоги всему предшествующему. Теперь нужно прямо и открыто сказать, и это не будет никакой с нашей стороны уступкой самодержавию, что это была самая блестящая пора деятельности царской бюрократии после 60-ых годов и что в этом отношении Столыпин является прямым продолжателем Николая Милютина и его сверстников».

«Земельная политика Столыпина вовсе не была жалкой демагогией, как изображали ее кадеты, рассчитанной на то, чтобы приманить на сторону правительства кулаков..., а была весьма удачной попыткой раскрыть перед промышленным капитализмом в России последнюю дверь, которая еще оставалась закрытой, причем дверь была распахнута настежь, — операция была произведена столь четкая и столь решительная, как царское правительство, повторяю, еще не действовало со времен крестьянской реформы. Столыпин произвел ликвидацию поземельной общины, — вот в чем заключается сущность его политики».

«Объективный экономический результат разрушения общины и создания кулацкого строя был положительный. Урожайность и интенсивность увеличились и соответственно с этим увеличилось употребление сельскохозяйственных машин

русским хозяйством... Поскольку мы находимся в пределах до февраля 1917 года, мы должны этот факт учитывать, как факт экономического прогресса».

А вот характеристика общего, не только хозяйственного, но и культурного и политического прогресса России в период между первой революцией и Великой войной, принадлежащая перу одного видного эмигрантского историка-публициста «левого» толка:

«Восьмилетие, протекшее между первой революцией и войной, во многих отношениях останется навсегда самым блестящим мгновением в жизни старой России. Точно оправившаяся от тяжелой болезни страна торопилась жить, чувствуя, как скупы сочтены ее оставшиеся годы. Промышленность переживала расцвет. Горячка строительства, охватившая все города, кидалась в глаза. В деревне совершалась большая работа, обещающая подъем хозяйства, предлагавший новый выход крестьянской энергии. Богатеющая Россия развивала огромную духовную энергию. Университет, получивший автономию, в несколько лет создал поколение научных работников в небывалом масштабе. В эти годы университеты Московский и Петербургский не уступали лучшим из европейских. Помимо автономии и относительной свободы печати, научная ревность молодежи поддерживалась общей переоценкой интеллигентских ценностей. Вековое миросозерцание, основанное на позитивизме и политическом максимализме, рухнуло. Созревала жатва духа из семян, брошенных в землю религиозными мыслителями 19 века. Православная церковь уже собирала вокруг себя передовые умы, воспитанные в школе символизма или марксизма. Пробуждался и горячий интерес к России, ее прошлому, ее искусству. Старые русские города уже делались целью паломничества. В лице Струве и его школы — самой значительной школы этого времени — впервые после смерти Каткова, возрождались в России честная и талантливая консервативная мысль. Струве подавал руку Столыпину от имени значительной группы интеллигенции, Гучков от имени буржуазии».

Если таково было подлинное лицо предвоенной России, — а к приведенной характеристике я присоединяюсь целиком, — то является вопрос, была ли наша революция 1917 г. и последовавшая за нею государственная и национальная катастрофа историческою неизбежностью, которую ничто не могло пред-

отвратить, или же они явились результатом совершенно конкретного стечения определенных, в философском смысле, случайных обстоятельств? Нет, революция не была неизбежна! Российская катастрофа объясняется в первую очередь роковым скрещением основных, грандиозных проблем эпохи. Подлинный трагизм положения России заключался в глубоком несоответствии между насущными потребностями ее внутреннего строительства и основной линией ее внешней политики, слишком активной, слишком нервной, слишком близко подведившей Россию к краю пропасти, в которую она в конце концов и свалилась.

Россия быстро прогрессировала и экономически, и социально-психологически, и общекультурно, причем прогресс этот не был внешним, поверхностным и искусственным, а органическим, укорененным в подъеме, прежде всего хозяйственном, основной массы русского народа — крестьянства, призванного к новой жизни всею совокупностью столыпинско-кривошеинских землеустроительных мероприятий. Но мы все же не должны утрачивать из вида исторической перспективы: прогрессирующая, крепшая, богатевшая Россия продолжала оставаться страной отсталой и бедной, страной с чрезвычайно высокой смертностью, плохими санитарными условиями жизни, с низким уровнем народного образования и почти полным отсутствием в широких массах населения представления о задачах и потребностях государственной жизни, с низкими урожаями, с недостаточным общим развитием промышленности и с почти полным отсутствием некоторых ее отраслей, чрезвычайно важных в общей структуре современного государственного организма и приобретавших еще большее, совершенно исключительное значение в условиях военного времени, как напр., промышленность автомобильная или химическая. Для такой страны чрезвычайно опасно то исполинское напряжение абсолютно всех сил государственного и общественного организма, сил как материальных, так и нравственных, духовных, которого требует современная большая война и которое не учитывалось в полной мере некоторыми из руководителей нашей политики.

Столыпин считал, что требуется не менее 20 лет, чтобы его аграрная реформа и землеустроительные мероприятия могли в полной мере дать свои плоды, укрепив социальный

базис империи и подняв ее хозяйственное благосостояние и общий культурный уровень. Вот почему он называл бредом сумасшедшего правительства активную, инициативную внешнюю политику, проводимую в период коренной перекладки всего фундамента имперского здания. Но Столыпин трагически сошел с исторической сцены, события пошли своим чередом и его преемники подвергли Россию испытанию, которое оказалось ей не по силам, но не потому, что Россия была хилым, больным, обреченным на гибель организмом. Россия, как всякий живой организм, конечно, носила в себе многочисленные болезнетворные начала, но, как организм по существу здоровый, имела в себе достаточно ресурсов, чтобы с этими началами успешно бороться и их преодолевать. Болезни ее не были безнадежными старческими немощами, а преходящими болезнями роста, и катастрофа, которую она испытала, была вызвана непомерным напряжением здорового, но еще недостаточно окрепшего организма.

Е. Ф. Максимович

К ПРОБЛЕМЕ СОВЕТСКО-КИТАЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Политическое положение в Азии в 70-ые годы будет определяться балансом сил и формой отношений между четырьмя крупнейшими державами мира: Соединенные Штаты Америки, Советский Союз, коммунистический Китай и Япония. Уже события последних месяцев 1969 года: соглашение между Вашингтоном и Токио о возвращении Японии Окинавы; решительная победа правящей либерально-демократической партии на декабрьских выборах в нижнюю палату японского парламента, обеспечивающая сохранение и продление действия американо-японского договора о безопасности; неоднократные заявления руководящих деятелей Японии о готовности этой страны к более активной роли в Азии и т. д. — дают нам основание утверждать, что американо-японский договор о безопасности будет главным инструментом в азиатской политике свободного мира на протяжении нового десятилетия. Разумеется, существование американско-японского союза в форме договора о безопасности вовсе не предполагает, что США и Япония автоматически ставят себя во враждебные отношения к СССР и коммунистическому Китаю. Наоборот, и Вашингтон и Токио будут и впредь стремиться улучшать свои отношения с обеими указанными странами во имя поддержания мира. Но реализация этого стремления будет во многом зависеть от того, какие отклики в Москве и Пекине найдут призывы США и Японии к взаимопониманию и сотрудничеству.

Говоря объективно, позиция СССР и коммунистического Китая по вопросу о сотрудничестве с США и с Японией во многих отношениях будет складываться под влиянием дальнейшего развития тех процессов в политике КПСС и КПК, которые породили конфликт между Москвой и Пекином. Улучшение взаимоотношений между советскими и китайскими коммунистами может оказаться чреватым такими последствиями, которые за-

труднят для США и Японии сохранение мира и обеспечение безопасности стран Азии.

На сегодня, однако, отношения между СССР и коммунистическим Китаем далеки от дружественных. Идеологическая и политическая борьба между руководством КПСС и КПК, вылившаяся в острую форму еще в начале 60-х годов, с течением времени не только не затихла, а наоборот — становилась все ожесточеннее. С весны прошлого года мир стал свидетелем постепенного перерастания этой идеологической и политической борьбы в борьбу вооруженную. Москва и Пекин, исчерпав во взаимных нападениях главное оружие своего идейно-политического арсенала, решились расширить рамки борьбы, прибегнув к тактике «малой пограничной войны». Эта новая стадия борьбы между СССР и коммунистическим Китаем открылась в марте 1969 года боями за остров Даманский (Чжэньбао) на р. Уссури. Позднее, летом прошлого года, в пограничную войну был вовлечен и казахстано-синьцзянский участок советско-китайской границы.

Одновременно с пограничными боями СССР и коммунистический Китай, стремясь использовать эти события в своих целях, еще больше усилили накал политической борьбы. Особо ожесточенное пропагандистское наступление развернул Пекин. Пекинские коммунисты и до этого не стеснялись изображать советских руководителей «врагами китайского народа», «предателями революционного дела», «проклятыми ревизионистами». С весны же 1969 года Пекин стал клеймить советских руководителей «социалимпералистами» и «новыми царями», стремящимися отторгнуть от Китая новые территории, до которых в свое время «не дотянулись жадные руки царей». В соответствии с решениями IX съезда КПК по всему Китаю развернулась широкая антисоветская кампания. Столь же ожесточенная кампания против «предательской клики Мао Цзе-дуна» началась тогда и в Советском Союзе.

Политическая и психологическая обработка населения в обеих странах на случай большой, даже ядерной войны сопровождалась концентрацией крупных вооруженных сил по обе стороны советско-китайской границы, включая Внешнюю Монголию. К лету прошлого года положение стало принимать явно угрожающие формы. В печати, особенно в свободной прессе западных стран, начала усиленно обсуждаться возможность

превентивной атаки со стороны СССР на центры атомной промышленности и важнейшие военные базы коммунистического Китая, с целью попытки коротким ударом подорвать или уничтожить военную мощь этой страны. В некоторых случаях сведения о возможности подобного превентивного удара инспирировались источниками, стоящими близко к советским авторитетным кругам.

Рост напряженности на советско-китайской границе, перерастание идейно-политического конфликта между СССР и КНР в новую фазу — в фазу вооруженного пограничного конфликта послужил для многих западных публицистов и политических обозревателей серьезным основанием считать большую войну между СССР и коммунистическим Китаем не только возможной, но и почти неизбежной. Даже правительство США, в конечном итоге, видимо, тоже пришло к выводу, что такая война не исключена. Во всяком случае, Вашингтон, устами представителей госдепартамента, дал понять, что он рассматривает возможную советско-китайскую войну как угрозу общему миру и будет придерживаться в ней нейтралитета.

Свидание Косыгина с Чжоу Энь-лаем на пекинском аэродроме в сентябре прошлого года внесло драматический поворот в советско-китайские отношения. Оно не сделало их более дружественными, нет. Но уже сам факт, что встреча Косыгин-Чжоу Энь-лай могла произойти в такой напряженный момент борьбы между Москвой и Пекином свидетельствовал о стремлении обеих сторон предупредить катастрофу. С октября 1969 года в Пекине начались переговоры советских и китайских представителей, в круг которых вошли не только проблемы границы, но и другие вопросы, интересующие СССР и коммунистический Китай. Переговоры эти развиваются медленно и трудно. Очевидно, что даже при самых благоприятных результатах, которые могут дать пекинские переговоры, неприязнь между Москвой и Пекином будет чувствоваться еще долгое время. Тем не менее, сентябрьская встреча Косыгина и Чжоу Энь-лая, по меньшей мере, отодвинула на какое-то время перспективу войны между СССР и коммунистическим Китаем. Так, по крайней мере, расценивают эту встречу многие западные обозреватели.



Я уже отметил, что рост напряженности на советско-ки-

тайской границе в 1969 году послужил для многих европейских и американских обозревателей и публицистов основанием предсказывать неизбежную войну между СССР и Китаем.

Поскольку в советско-китайских взаимоотношениях до сих пор не произошло ничего такого, что позволяло бы считать угрозу возникновения большой войны между СССР и коммунистическим Китаем окончательно устраненной, будет интересно проанализировать причины, побудившие ряд политических наблюдателей считать, что нынешняя политика руководителей КПСС и КПК ведет их к неизбежному вооруженному столкновению. В данной статье я остановлюсь на высказываниях о возможности советско-китайской войны известного американского журналиста Гаррисона Солсбери и советского историка (как он сам себя называет) А. Амальрика.

Могут спросить, почему из нескольких сот зарубежных журналистов, публицистов и политических обозревателей, писавших и пишущих о советско-китайских взаимоотношениях, я остановился именно на Г. Солсбери? Мне могут указать, например, на статью Невилла Максвелла, бывшего многолетнего сотрудника лондонского «Таймс», а ныне профессора Лондонского университета. Статья его, под характерным заглавием «Китай и СССР на грани (войны)», появилась в августовском номере журнала «Нью Рипаблик» за 1969 год. Могут указать и на статьи известного американского журналиста Поля Вола, сотрудника газеты «Крисчен Сайенс Монитор», который еще летом прошлого года пришел к выводу о возможности советско-китайской войны в ближайшее время.

В защиту своего выбора я приведу следующие доводы. Гаррисон Солсбери, несомненно, один из самых даровитых американских публицистов наших дней. За его спиной огромный опыт журналистической работы, большое знание Советского Союза и Азии, почерпнутое не только из печатных трудов, но и из личных наблюдений и контактов во время многочисленных поездок по СССР и азиатским странам, включая Внешнюю Монголию и Китай. Обладая острым пером и ясной мыслью, Солсбери умеет убеждать своих читателей не только благодаря искусному подбору аргументации, но и последовательностью изложения, прямотой и искренностью взглядов. Это — во-первых. А во-вторых, для меня Солсбери является как бы представителем того многочисленного мира газетных и политических

деятелей западного мира, которые видят в нынешнем советско-китайском конфликте в первую очередь столкновение **национальных** интересов китайского и русского народов, продолжение «извечной» национальной вражды между Россией и Китаем. Такая форма отношений между Москвой и Пекином, для них, очевидно, понятней. К тому же она позволяет закрывать глаза на тот факт, что и СССР и континентальный Китай до сих пор управляются коммунистическими режимами, что коммунистическая, марксистская идеология — попрежнему господствующая идеология в этих странах и что мировая коммунистическая революция остается конечной целью и КПСС и КПК.

Солсбери строит свою гипотезу о неизбежности советско-китайской войны, опираясь, главным образом, на историю прошлого русско-китайских отношений и на те материалы о советско-китайских пограничных спорах, которые были опубликованы Москвой и Пекином за последние годы. Все остальные аспекты сложных взаимоотношений между советскими и китайскими коммунистами для него, если и существуют, то только как камуфляж, как вуаль, предназначенная прикрывать подлинную суть этих взаимоотношений — «борьбу исторических врагов». Как раз в этом я и не согласен с Солсбери. Я не отрицаю, что вооруженное столкновение между Советским Союзом и коммунистическим Китаем не исключено. Но если оно и произойдет, то произойдет по инициативе Сов. Союза. И вовсе не потому, что Китай угрожает отнять у СССР какие-то земли в азиатских его владениях или что быстрый рост населения континентального Китая повелительно диктует ему движение в территориальный «вакуум» Сибири и Дальнего Востока.

Нет, я полагаю, что если руководители КПСС решатся все-таки напасть на маоцзедуновский Китай, то только в том случае, если продолжающаяся раскольническая, антисоветская политика пекинского режима не оставит больше никаких перспектив для примирения и создаст нетерпимую для советских коммунистов угрозу распада и развала всего коммунистического лагеря. Советские вожди **всеми средствами**, до последнего, будут отстаивать свое верховенство в мировом коммунистическом движении, так как коммунистическая система, тоталитарный коммунистический строй с его методами насилия и подавления считаются ими единственным верным орудием для

сохранения их коммунистической империи и достижения мирового господства. Коммунистический же Китай не нападет на СССР, не может этого сделать в данный момент не в силу своего миролюбия, а только потому, что такое нападение было бы для Пекина равносильно самоубийству. Ведь даже сегодня, после 20 лет коммунистического правления, континентальный Китай не может — ни в военном, ни в экономическом, ни в морально-политическом отношении — противостоять тому удару, который в состоянии обрушить на него Советский Союз. Пекинские правители это отлично понимают, они больше чем кто-либо знают, где кончается пропаганда и начинается реальная опасность.

Солсбери, как я уже сказал, склонен игнорировать идеологические аспекты советско-китайского спора. Для него, очевидно, такие аспекты — голая пропаганда. Однако пропагандистские материалы о территориальных разногласиях между Пекином и Москвой он не только принимает, но отчасти и кладет в основу своей гипотезы о неизбежности советско-китайской войны. Весь клубок сложных взаимоотношений между советскими и китайскими коммунистами он сводит, по существу, к территориально-демографической проблеме. Это ясно уже из его статьи «Россия и Китай: угроза столкновения», появившейся в «Нью Йорк Таймс» 15 июня 1969 года. Следом Солсбери пишет другую статью на эту же тему о возможной войне между СССР и Китаем. Я имею в виду его большую статью «Будет ли война между Россией и Китаем?», напечатанную в «Нью Йорк Таймс Магазин» 27 июля прошлого года. В этой статье Солсбери, так сказать, уже «чувствует запах войны» между СССР и коммунистическим Китаем. Наконец, в начале нынешнего года вышла в свет новая книга Гаррисона Солсбери. Публицист назвал ее «Война между Россией и Китаем». Как видим, вопросительного знака уже нет: в возможности такой войны, автор, очевидно, ко времени написания книги уверился уже полностью. Книга Солсбери «Война между Россией и Китаем» основное внимание уделяет все той же территориально-демографической проблеме, рисует исторический процесс проникновения России в восточные районы Сибири и Дальнего Востока в прошлые столетия и взаимоотношения между двумя коммунистическими империями — СССР и континентальным Китаем, омраченные укоренившейся исто-

рической враждой. По существу, новая книга Солсбери лишь повторяет в развернутом виде мысли, уже изложенные им в его более ранних статьях.

Хотя книга Г. Солсбери появилась в продаже только в начале нынешнего года, но уже 30 ноября 1969 года в «Нью Йорк Таймс Магазин» была помещена рецензия на нее Оливера Клабба, профессора политических наук Сиракузского университета. Что же писал Клабб о книге Солсбери «Война между Россией и Китаем»? Приведем несколько выдержек из его рецензии, что избавит нас от необходимости оперировать длинными цитатами из статей и книги Солсбери: — «Важность последней книги Солсбери «Война между Россией и Китаем» вряд ли можно преувеличивать. Она блестяще разрешает проблему, которую обычно игнорируют, но которая предположительно может привести к ядерной войне. Успех Солсбери отражает прежде всего его способность постигать обнаженные реальности избранной им темы; идеология — это плащ, в который маскируют себя старые — русские и китайские — побудительные мотивы, не ввела его в заблуждение. Он открыто показывает, как нынешний конфликт между двумя странами вырос из исторических корней... Картина, нарисованная здесь, показывает историческую борьбу за обширные внутренние районы Азии, которая привела теперь Россию и Китаю на грань войны... Он (Солсбери. К. П.) считает войну между Россией и Китаем неизбежной, если только ее не предупредит вмешательство США или смерть Мао не откроет путь к примирению...»

Я целиком разделяю мнение Оливера Клабба о талантах Солсбери, о его способностях анализировать материал и сводить его в стройную систему. Рад я и тому, что «идеология... не ввела его в заблуждение». Однако, я должен сказать, что к анализу имеющихся у него материалов Солсбери подошел с известной субъективностью, не придав всего значения тому, что противоречит его взглядам, но что как раз помогло бы ему провести грань между политической пропагандой и реальной политикой.

Возьмем, к примеру, тот же территориальный вопрос, который, по Солсбери, является, в конечном счете, подлинной причиной грядущей советско-китайской войны. Говорить о войне между СССР и коммунистическим Китаем, базируясь на этом, можно только при условии, что Китай требует потерян-

ные территории обратно, а СССР возратить их не желает. Но вот что говорит по этому поводу официальное заявление правительства КНР от 7 октября 1969 года (журнал «Хунци», № 11, 1969 г., стр. 7):

«Вопрос о китайско-советской границе достиг в своем развитии такой остроты вовсе не по вине китайской стороны. Китайское правительство НИКОГДА НЕ ТРЕБОВАЛО И НЕ ТРЕБУЕТ ВОЗВРАТА ТЕРРИТОРИЙ, отторгнутых царской Россией с помощью неравноправных договоров. Наоборот, это советское правительство настаивает на дальнейшем захвате китайской территории в нарушение положения этих договоров. Больше того, оно безапелляционно требует, чтобы китайское правительство признало такой захват законным. Именно в силу экспансионистских позиций советского правительства на советско-китайской границе образовалось много спорных районов, ставших источником напряженности...

У КИТАЯ И СССР НЕТ НИКАКИХ ОСНОВАНИЙ ВОЕВАТЬ ИЗ-ЗА ПОГРАНИЧНОГО ВОПРОСА». (Крупный шрифт мой. К. П.).

Что же вытекает из этого заявления пекинского правительства? Прежде всего то, что Пекин категорически отрицает, что он требует обратно сотни тысяч квадратных километров территории, отошедшей к России в прошлые столетия. Вопрос идет не об этих обширных землях, а о гораздо меньших районах, включенных в состав России и СССР уже после заключения так называемых «неравных договоров». Могло это произойти при разных обстоятельствах. Надо иметь в виду, что пограничная линия между Россией и Китаем на многих участках точной демаркации не подвергалась. Поэтому расхождения на картах всегда возможны. С течением времени эти расхождения могли создаваться и в результате действия сил природы. Возьмем, например, тот же остров Даманский на р. Уссури, из-за которого в марте 1969 года между советскими и китайскими пограничниками произошли бои. По утверждению Пекина, водная граница между СССР и Китаем в этом районе р. Уссури проходит по главному фарватеру (см. Заявление правительства КНР, 24 мая 1969 года). Советское же правительство, ссылаясь на Пекинский договор 1860 г. и приложенные к нему протоколы от 1861 г., считает, что граница в районе острова Даманский проходит по китайскому берегу р. Уссури.

(Заявление правительства СССР, 13 июня 1969 г.). Между тем, историческая справка говорит, что о. Даманский — образование недавнего времени. Он появился в результате изменения в этом месте течения р. Уссури, промывшей себе дополнительный фарватер в прибрежном участке. В итоге между главным фарватером реки и берегом образовался остров. Еще и теперь в засушливые годы из-за мелководья этот дополнительный фарватер исчезает и о. Даманский соединяется с сушей.

Разумеется, существуют и другие причины, способствовавшие образованию на советско-китайской границе спорных районов, в том числе и прямая аннексия. Вспомним хотя бы судьбу Тувинской области. Рамки статьи, однако, заставляют нас воздержаться от более детального рассмотрения этого вопроса. Важно, что Пекин, — потерпевшая сторона в этом территориальном споре, — не находит никаких оснований воевать с СССР из-за пограничных недоразумений, как указано в заявлении пекинского правительства от 7 октября 1969 года. Между тем, Г. Солсбери строит свою гипотезу о неизбежности советско-китайской войны, исходя именно из того, что «корни исторического прошлого» не позволят Москве и Пекину договориться.

Но может быть октябрьское заявление пекинского правительства было неожиданным, представляет собой отступление от его прежнего политического курса под влиянием угрозы превентивного атомного удара со стороны СССР? Материалы советско-китайских отношений, начиная с 1949 года, подтверждают, что Пекин за все истекшие годы не предъявлял к СССР требований о возврате потерянных территорий. Не ставил он этого вопроса даже при Никите Хрущеве, когда полемика между КПСС и КПК достигла чрезвычайной остроты и когда на поверхность всплыла проблема «неравноправных договоров». Эти материалы о советско-китайских отношениях, разумеется, известны и Солсбери. Но он, очевидно, не придает им особого значения, поскольку они исключены из его анализа советско-китайских отношений.

По другому расценивают пекинские коммунисты и ту самую «идеологию», которую Солсбери хотел бы игнорировать, как нечто маскирующее подлинные, с его точки зрения, цели конфликта между Москвой и Пекином. Признав, что «китайское правительство неизменно считает, что вопрос о китайско-со-

ветской границе должен решаться мирным путем», Пекин временно вновь декларировал о своей непримиримости к СССР в идеологической борьбе. В заявлении от 7 октября по этому поводу сказано: — «Китайское правительство никогда не скрывало того, что между Китаем и Советским Союзом существуют непримиримые, принципиальные разногласия, и что принципиальная борьба между ними будет продолжаться в течение длительного времени».

Но принципиальная борьба это уже — идеология, идеологическая борьба. И в этой-то борьбе Пекин пока что не желает уступать ни на вершок, даже под угрозой советской атомной атаки. Может показаться абсурдным, что пекинские коммунисты, заявляя о том, что они не собираются требовать обратно огромные территории, отнятые у Китая в соответствии с договорами, заключенными в прошлые столетия и соглашавшись навсегда оставить эти земли у противной стороны, в то же время настаивают, чтобы противная сторона, то есть СССР, признала договоры «неравноправными». С позиции национальной политики, на которой строит свою гипотезу Солсбери, это, действительно, граничит с отсутствием логики. Но в борьбе принципов, в идеологической войне, какая идет между КПСС и КПК, требование Пекина имеет свой смысл. Ведь за отказом советских руководителей признать старые договоры «неравноправными» последовало обвинение их в том, что они не только изменили революции, переродились в буржуев, но и пали так низко, что защищают политику царей. И не только защищают, но и сами не прочь отхватить у Китая новые куски его территории; из «ревизионистов» они превратились в «социалимпералистов», в «новых царей». Для Солсбери это «идеология», «маскировка», но для китайских коммунистов это метод борьбы, средство нападения на КПСС и идейно-политического разложения советского лагеря. Так это советские руководители и понимают.

Не случайно также Гаррисон Солсбери в книге «Война между Россией и Китаем» говорит об одном миллиарде жителей коммунистического Китая. «Население Китая сегодня приблизилось к одному миллиарду, — пишет он на стр. 142 своей книги. — Если оно еще не достигло этой цифры, то сделает это, вероятно, в последующие два-три года». В короткой статье я не имею возможности касаться всего комплекса сложных

демографических проблем континентального Китая. Но должен заверить Г. Солсбери, что он первый определил на сегодняшний день численность китайского населения на континенте Китая в один миллиард. Правда, точной численности населения этой страны сегодня никто не знает, включая и правителей страны, как никто не знал ее и в прошлом. Однако, сам Пекин определяет ее в 700 миллионов. Эта цифра названа в упомянутом уже заявлении правительства КНР от 7 октября прошлого года, ее же мы находим в передовой газеты «Жэньминь жибао» и в журнале «Хунци» от 1 января 1970 года. Этот показатель численности населения Пекин неизменно повторяет уже в течение пяти-шести последних лет. На Западе за последние месяцы все чаще говорят о 800 млн. китайцев — жителей коммунистического Китая. Этой цифрой оперируют даже государственные деятели. Исходит она, очевидно, из ООН. А ООН, в свою очередь, берет ее из переписи 1953 года — единственной переписи населения при коммунистической власти. Между тем, данные этой переписи, включая и коэффициент прироста населения, были явно завышены. Завышенным, следовательно, надо признать и все последующие, основанные на этих данных, расчеты численности населения Китая.

Напомню в связи с этим о том, что сказал о численности населения Китая Мао Цзе-дун в беседе с американским публицистом Эдгаром Сноу во второй половине 1964 года. На вопрос Сноу, какова численность населения Китая, Мао ответил: «некоторые думают» 680-690 миллионов, но сам он «не верит, чтобы жителей в стране было так много». Когда же Сноу заметил, что численность населения можно определить по спискам на нормированную выдачу продуктов, Мао возразил: «сделать это невозможно — списки фальсифицируют, чтобы получать больше продуктов».

Можно понять мотивы, почему Солсбери увеличивает численность китайского населения на сотни миллионов человек, доводя ее чуть ли не до миллиарда. Такая масса населения должна, так сказать, «подписать» настоятельность для Китая получить обратно обширные сибирские и дальневосточные территории, потерянные столетия назад. С другой стороны, она же призвана подчеркивать военный потенциал страны. Но большая численность населения еще не означает большой военной мощи страны и далеко не является решающим фактором в

войне. Это одно. А второе: зачем пользоваться произвольными показателями численности населения коммунистического Китая в 800-900 миллионов, когда сами китайские коммунисты чуть ли не ежедневно в течение нескольких лет повторяют одну и ту же цифру — 700 миллионов? Могу уверить Солсбери, что делают они это не из излишней скромности.

Солсбери достаточно осторожен, чтобы воздержаться в своих работах от предсказания конечных результатов войны между СССР и коммунистическим Китаем. Он лишь дает понять, что война эта будет для СССР не легкой.



Гораздо определеннее в этом отношении высказывается автор другой работы о советско-китайской войне. Этот автор Андрей Алексеевич Амальрик. Проживает он в СССР, в Москве. Об Амальрике мы знаем ровно столько, сколько сведений приведено в краткой биографической справке о нем, приложенной к его статье — «Просуществует ли СССР до 1984 года?». Сам себя он называет «историком», утверждает, что даже написал работу о Киевской Руси, которая в СССР, однако, напечатана не была. Интерес к Китаю у Амальрика, надо полагать, существовал и раньше, а не родился лишь с потребностью написать статью, предсказывающую гибель Советского Союза. В биографической справке упоминается, что в 1963-64 годах Амальрик написал пять пьес, из которых одна — «Восток и Запад» — посвящена проблеме отношений между СССР и Китаем.

Статья «Просуществует ли СССР до 1984 года?», о которой мы будем говорить, написана Амальриком в прошлом году. В СССР она не могла быть опубликована даже по самому ее названию, не только уж по содержанию. Судя по всему, она и не предназначалась для советского читателя. Какими-то путями статья Амальрика попала на Запад. Здесь она издана на русском языке, появился и перевод ее на несколько европейских языков. Английский текст был, в частности, опубликован в журнале «Сюрвей», № 73, за 1969 год.

Статья Амальрика «Просуществует ли СССР до 1984 года?» разбита на две части: а) внутреннее положение в СССР, где дается краткий анализ социально-политической жизни советского государства в наши дни в связи с предсказываемым автором крушением советского режима в ближайшие 15 лет,

и б) война между СССР и Китаем, которая, по Амальрику, станет основной причиной распада советской империи.

Нас здесь интересует только взгляд Амальрика на советско-китайские отношения. К сожалению, приходится констатировать, что к анализу этих отношений Амальрик подошел очень поверхностно; изложение его местами противоречиво, предпосылки, из которых автор исходит в своем описании предполагаемого им развития отношений между СССР и Китаем в ближайшие годы, он ничем не доказывает и не подкрепляет. Взять, к примеру, тот метод, следуя которому Амальрик определяет примерную дату, когда произойдет крах советского строя. Сначала он предполагал, что это произойдет в 1980 году, рассматривая этот год как «ближайшую реальную круглую дату». Никаких объяснений, почему он принял именно эту дату за «ближайшую и реальную» автор не дает. Но он объясняет, почему позднее он перенес крушение советской системы на 1984 год. Действительно, почему? Может быть, его заставили это сделать дополнительные факторы, выявленные в процессе дальнейшего тщательного анализа международной обстановки, в том числе и советско-китайских отношений, играющих важнейшую роль в амальриковской теории распада советской империи? Вовсе нет. Дело обстояло совсем просто. «Специалист по древней китайской идеологии и вместе с тем поклонник современной английской литературы... посоветовал мне заменить 1980 год на 1984, — пишет Амальрик. — Я тем более охотно произвел эту замену, что мое пристрастие к круглым датам несколько не пострадало, если учесть, что сейчас 1969 год, и мы заглядываем в будущее ровно на полтора десятилетия». Разумеется, нельзя требовать от Амальрика точных дат его предсказаний. Но вряд ли все-таки допустимо произвольно переносить дату ожидаемого мирового катаклизма из-за «пристрастия к круглым датам» и считаясь только с советом «одного друга», пусть и отлично знакомого с древней китайской идеологией и, в придачу еще — с английской литературой.

Какие же причины толкнул СССР и Китай на разрушительный путь войны? Формулировки Амальрика довольно расплывчаты, а доводы очень не убедительны.

Амальрик родился не вчера, ему за 30 лет. Вырос он в коммунистической стране. Следовательно, ему, как человеку интеллигентному, да к тому же «историку», должны быть из-

вестны хотя бы основные вехи советско-китайских отношений за последние десятилетия. Борьба между этими двумя коммунистическими режимами — борьба прежде всего идеологическая и политическая, упорство которой усиливается деспотическим, тоталитарным характером этих режимов, казалось бы, должна была найти место в ряду тех причин, которые, по Амальрику, ведут к столкновению между этими крупнейшими коммунистическими государствами. Но Амальрик почти полностью обходит вопрос об идеологической борьбе. Для него теперешняя советская власть — это власть прежде всего бюрократическая. Так, во всяком случае, Амальрик упорно характеризует нынешний советский строй. И не поймешь, что он хочет этим сказать: — то ли, что правящий слой в СССР, превратившись в «бюрократический», тем самым утратил свою коммунистическую сущность и агрессивность, стал безобиднее и менее опасен, то ли он придает слову «бюрократический» тот презрительный оттенок, который китайские коммунисты вкладывают в эпитеты «ревизионистский», «буржуазный», говоря о советских руководителях.

Полностью обходя идеологические и политические факторы в советско-китайском споре, Амальрик утверждает, что Китай начнет войну только уже потому, что ему... «пришло время начать внешнюю экспансию». Разделив весь процесс революции в СССР на три этапа: интернациональный, национальный и военно-имперский, Амальрик автоматически делит на три таких же этапа и китайскую революцию. Своеобразных условий, в которых протекала коммунистическая революция в Китае, национальных особенностей этой страны и ее народа для Амальрика, видимо, не существует. «Как мне кажется, китайская революция проходит те же этапы: интернациональный период сменился националистическим и, по логике событий, вслед за этим должна последовать внешняя экспансия». Таков его довод. При этом в сноске Амальрик приводит одно-единственное доказательство тому, что установленная им «периодизация» истории коммунистической революции в России полностью отвечает и условиям Китая. Он видит это доказательство в том, что китайцы, на националистическом этапе революции, заимствуют «у нас даже терминологию — например, введенный Сталиным термин «культурная революция». Амальрик, очевидно, просто не знает, что термин «куль-

турная революция» был введен вовсе не Сталиным: им широко пользовались и Ленин, и Бухарин и другие коммунистические идеологи еще в начальной стадии коммунистической революции в России. И подразумевали они под этим — радикальные преобразования в области народного просвещения, распространение среди населения грамотности и т. п. А между тем подлинной целью маоцзедуновской «культурной революции» было не что иное, как тотальная чистка партийно-административного аппарата. Смешать эти два понятия равносильно тому, что спутать молебен с панихидой.

Итак, по Амальрику, Китай вступил в этап внешней экспансии и «неумолимая логика революции ведет Китай к войне, которая, как надеются китайские руководители, разрешит тяжелые экономические и социальные проблемы Китая и обеспечит ему ведущее место в современном мире. И, наконец, в такой войне Китай будет видеть национальный реванш за вековые унижения и зависимость от иностранных держав». Позволительно спросить, каким же путем стало Амальрику известно об этих надеждах китайских руководителей и кто они эти «китайские руководители», которые думают о реванше за вековые унижения? Увы, об этом у Амальрика нет ни звука: читателю, очевидно, предлагается верить Амальрику на слово.

При объективном анализе положения в Азии, Амальрик все же должен признать, что фактически внешняя экспансия со стороны континентального Китая началась уже несколько лет тому назад. Но ведется она не в форме широкой войны, которую имеет в виду Амальрик, а в соответствии с коммунистической доктриной о революционной войне. В маоцзедуновской редакции этой доктрины такая революционная война носит название «народной войны». И разные этапы «народной войны» мы можем наблюдать в Вьетнаме, Бирме, Тайланде, Лаосе, Камбодже, Малайзии, в Индии. Правда, прямого участия в «народной войне» в указанных странах китайские коммунисты пока не принимают, но и не скрывают своей заинтересованности в продолжении такой войны. Не скрывают они также и своей поддержки и помощи зачинщикам «революционных» войн в Азии. Амальрик претендует называть себя не только историком: он, по его же словам, и журналист. Как же могли пройти мимо его внимания указанные факты коммунистической экспансии Пекина?

Таким образом, перерастание национального этапа китайской революции в этап экспансии, строительства новой империи, а также стремление к ведущему месту в мире и жажда реванша за прошлые обиды — вот основные причины, которые заставляют сейчас Китай, по Амальрику, рваться к войне. Но мы были бы несправедливы к Амальрику, если бы сказали, что он целиком обходит молчанием территориально-демографические проблемы, которые многие на Западе считают ключем к пониманию всего узла советско-китайских противоречий. В сноске к замечанию о тяжелых экономических и социальных проблемах, которые Китай попытается разрешить средствами войны, Амальрик уточняет эти проблемы: «крайняя перенаселенность некоторых районов, голод, экстенсивное сельское хозяйство, которому необходимо развиваться не вглубь, а вширь, и которое нуждается поэтому в новых территориях». Двумя страницами дальше Амальрик упоминает и о «громадных малозаселенных пространствах Сибири и Дальнего Востока, некогда уже входивших в сферу влияния Китая». Мы не будем останавливаться на этих проблемах, отчасти потому, что уже говорили по поводу них раньше, а главное — потому что и сам Амальрик, видимо, не придает им первенствующего значения, раз упоминает о них только вскользь, да к тому же еще и в сноске.

Основное препятствие к достижению Китаем поставленных им перед собой «мировых целей» Амальрик видит в двух «современных сверхдержавках» — СССР и США. Многие политические обозреватели на Западе, к которым присоединяются голоса и в СССР, полагают, что главная задача пекинской дипломатии после ссоры с СССР заключается в том, чтобы столкнуть между собой эти мощные сверхдержавы, накопившие колоссальные запасы термоядерного оружия. Китайские коммунисты при этом рассчитывают, что США и СССР, истощив друг друга в ядерной войне или даже погибнув в ней, тем самым откроют Пекину путь к мировому господству и к мировой революции. По иному представляет себе политику Китая Амальрик. По его мнению, у Китая нет даже альтернативы — с кем воевать: с СССР или с США? Для него вопрос решенный: воевать коммунистический Китай будет с Советским Союзом. При этом Амальрик исходит, как будто, из правильной предпосылки: «реальных противоречий и возможности прямого

столкновения у Китая гораздо больше с Советским Союзом». Но для подтверждения своей предпосылки Амальрик мобилизует очень слабые аргументы, то и дело сам себе противореча.

США, как и СССР, рассматриваются пекинским режимом как враги. Амальрик считает аксиомой, что США на Китай не нападут. А Китай не сможет этого сделать, если даже захочет, по меньшей мере в течение ближайших 10 лет: у него нет общей сухопутной границы с Америкой, чтобы «использовать свое численное превосходство» и применить методы партизанской войны. Направить войска в США Китай тоже не может: у него нет флота. Правда, Китай может накопить известный ракетноядерный потенциал и затем атаковать США. Амальрик даже определяет необходимый срок для этого — 10 лет. Тем не менее, возможность ракетноядерной войны между Китаем и США Амальрик, в конечном счете, отвергает, так как такая война «приведет к взаимному уничтожению, что Китай совершенно не устраивает».

Амальрик убеждает нас, что «Китай в первую очередь заинтересован в расширении своего влияния и в приобретении территорий». Но куда эта страна направит движение своих человеческих волн: на юг или на север? Экспансию на юг Китай осуществлял в течение тысячелетий. Из северных районов Азии, из теперешних провинций Шэньси и Шаньси, китайцы неуклонно двигались на юг, покоряя другие народы, уничтожая их или ассимилируя. Миллионы китайцев, наводнивших страны южной и юговосточной Азии, свидетельствуют, что это движение Китая на юг продолжается и в наши дни, изменились лишь его формы. Продолжается и политическая экспансия Пекина в южном направлении. Однако, Амальрик отвергает возможность широкого движения Китая на юг. Доводы его при этом следующие: двигаясь на юг, Китай неминуемо столкнется с мощью США; результатом движения на юг будут локальные войны, вроде вьетнамской, которые ничего не решат, а только истощат Китай; страны южной и юговосточной Азии перенаселены и Китаю, если он захочет занять эти районы, необходимо будет или кормить население этих стран или его уничтожить. Доводы эти нельзя признать убедительными. Ведь и движение Китая на север не обещает быть легким, поскольку оно ведет к немедленному и прямому столкновению с другой сверхдержавой — СССР.

Но согласимся на минуту с Амальриком, что лучшей перспективой для Китая является движение на север, ибо он «должен как-то покончить» с государством, которое является «основным соперником его в Азии», чтобы самому «играть доминирующую роль в Азии и во всем мире». Примем положение Амальрика, что Китай неизбежно должен воевать с Советским Союзом. По расчетам Амальрика, советско-китайская война «начнется где-то между 1975 и 1980 годом». Лишние 5-10 лет Китаю, по Амальрику, нужны для того, чтобы накопить ракетноядерное оружие. Довод, как будто, кажется логичным.

Но вот Амальрик переходит к описанию того, как может сложиться ход войны между Китаем и СССР. И тут он немедленно отмечает им самим же выдвинутые аргументы, свои же утверждения, заменяя их надуманными и даже нелепыми предположениями. Оказывается, ждать 5-10 лет Пекину вовсе и не требуется, так как СССР на ядерную войну с Китаем все же не решится. Почему? Доводы Амальрика следующие: атомные атаки СССР на Китай могут оказаться для первого самоубийством; в ходе атомной войны Китай уничтожен не будет, разгромлены будут только его ракетные базы; «остальные ядерные державы не допустят этого». Не страшен Китаю и превентивный ядерный удар со стороны советских ракетных войск. Начав на советско-китайской границе локальную, партизанскую войну и маневрируя мелкими отрядами, Китай, — утверждает Амальрик, — не позволит советскому командованию установить, «в какой же момент наносить ядерный удар». Напомним Амальрику, что термин «превентивный удар» сам по себе уже говорит о неожиданном нападении. Амальрику трудно заставить нас поверить, что Советский Союз, сосредоточив на границах с Китаем громадную военную машину, будет спокойно смотреть на действия «китайских партизан» и выжидать годы.

Опыт прошлой мировой войны и высказывания советских военных теоретиков свидетельствуют о том, что в расчетах советских стратегов в будущей войне одна из важнейших ролей отводится бронетанковым силам. Признает это и Амальрик, когда говорит о подготовке советской армии. Однако, в войне с Китаем, как подсказывает нам автор статьи, советские бронетанковые войска окажутся бездейственными и бессильными потому, что Китай «немедленно начнет в ответ изнурительную партизанскую войну, одинаково страшную для СССР, будет

ли она происходить на советской или на китайской территории». Партизанская война китайцев в Сибири и на Дальнем Востоке! Амальрик явно пытается сказать «новое слово» в военной науке.

Пекин не делает секрета из того, что НОА Китая, действительно, готовится к военным операциям в соответствии с доктриной Мао Цзе-дуна и Линь Бяо о «народной войне». Но «народная война» это вовсе не эквивалент понятия «партизанская война»; она предусматривает применение и крупных воинских соединений и крупные сражения. Партизанская война это только один из тактических элементов «народной войны».

Мы сомневаемся в том, что Пекин мог бы организовать широкие партизанские действия против советских войск даже в своих пограничных районах: в Синьцзяне, Маньчжурии и Внутренней Монголии. В этих районах компактно проживают некитайские этнические группы, в целом враждебные пекинскому режиму. К тому же и китайское население в этих районах далеко не всё лояльно Пекину. Амальрик замечает, что советские бронетанковые силы, вступив в пограничные районы Китая, постепенно будут отрываться от своих основных «экономических и демографических центров». Но отрыв этот будет относителен. В той же Маньчжурии, в Северном Китае, а отчасти и в северозападных районах Китая и во Внутренней Монголии, где по сей день сосредоточено огромное число современных промышленных предприятий Китая, советские войска найдут лучшую промышленную базу и более развитую транспортную сеть, чем в собственных пограничных районах.

По недостатку места я лишен возможности подробнее рассмотреть взгляды Амальрика на взаимоотношения с СССР и Китаем Соединенных Штатов Америки. В соответствии со своей концепцией распада и гибели советской империи между 1980 и 1985 годами, главным толчком к чему послужит война между СССР и Китаем, Амальрик еще в первой половине прошлого года призывал США изменить их политику по отношению к Пекину и воздерживаться от помощи Советам в войне с Китаем. Было это, таким образом, за несколько месяцев до того, как вашингтонское правительство объявило о своем нейтралитете

в советско-китайском конфликте и предприняло шаги к улучшению отношений с коммунистическим Китаем. Но Амальрик идет гораздо дальше в своей «прокитайской пропаганде». Он предвидит даже период либерализации в Китае. Эта либерализация режима, «в сочетании с традиционной верой в духовные ценности», — утверждает Амальрик, — сделает Китай замечательным партнером демократической Америки. Мы бы согласились с Амальриком, если бы речь шла о каком-то ином режиме, а не о «либерализованном» коммунистическом режиме сталинского типа, который сейчас существует в континентальном Китае. Опыт «либерализации» советского режима, вкупе с чехословацкой трагедией, учит даже самых безудержных оптимистов осторожному подходу к «либералам» типа Брежнева. К тому же Амальрику следовало бы помнить, что апелляция к «традиционной вере в духовные ценности» нынешнего коммунистического режима в Китае граничит с насмешкой над теми, к кому он обращается на Западе. Здесь знают, что именно с традиционной верой китайского народа в духовные ценности этот режим и ведет беспощадную борьбу вот уже два десятилетия.

К. Павлов

СПОР О ПРОИСХОЖДЕНИИ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

О всех славянах, имеющих свою литературу, вполне известно, как и когда сложился их литературный язык, будь это лужичане, сербохорваты, чехи, поляки или белоруссы. Однако, уже давно идут споры о происхождении и составе русского литературного языка. Следует сразу уточнить, что одно дело это язык письменности вообще, а другое, хотя и связанное с первым, литературный язык народа или нации. Юридический акт не литература, а житие, летопись, сатирическое произведение, уже литература. Почему же идут и шли ранее споры именно о составе и происхождении литературного языка самой значительной славянской нации?

Происходит это из-за неизменного присутствия древнеславянского, ныне церковнославянского языка русского извода (версии), некогда бывшего болгаромакедонским наречием, на который были переведены книги св. Кириллом и Мефодием около 863 г. В русском языке, из этого югославянского, бытует множество нерусских слов, форм и целых фразеологических единств. Слова кажущиеся русскими — **время, небо, юноша, юг, истребить, вождь, обратить** и т. п., югославянского происхождения, тогда как **веремя, ирей, вожь** — русские и ныне встречаемые в некоторых диалектах.

При мысли об истории и развитии любого из языков я всегда вспоминаю мудрые слова В. Гёте, сказанные им Эккерману: «Не сам в себе и по себе язык правилен, силен, изящен, а это исключительно дух (его), который в нем воплощается» (перевод мой). Но судьбы нашего русского языка совершенно особенны. Акад. А. А. Шахматов справедливо написал: «Русский язык представляет явление глубокого культурно-исторического интереса. Едва ли какой другой язык в мире может быть сопоставлен с русским в том сложном историческом процессе, который он пережил». Интересно отметить, что уже ино-

земец Генрих Лудольф в своей «Русской грамматике» (Оксфорд, 1696 г.) заметил: «Разговаривать надо по-русски, а писать по-славянски»; он же приводит дублеты типа **правда — истина; сказал — рекл; всегда — выну** и т. д. В XVIII веке М. Ломоносов, разбирая состав русского языка, создал теорию трех стилей — высокого, среднего и низкого. Для од, трагедий — высокий, для сатир и комедий — низкий, а драмы, напр., следует писать средним стилем, так как в них «требуется обыкновенное человеческое слово к живому представлению действия». Ломоносов обращал внимание и на звуки в одинаковых словах при их произношении в разных стилях типа **звезды, звёзды**. Если разобраться в стиле разных произведений Гоголя, то очень ясна картина продолжающегося влияния теории Ломоносова (сравните «Жизнь» и «Женитьбу» в их словарном составе и конструкции предложений).

Сто двадцать лет назад первый в России доктор славянской и русской филологии — И. Срезневский опубликовал свои «Мысли об истории русского языка» (1849 г.). Ученый отделял историю народного языка масс от истории книжного языка. По его мнению, в первом периоде (X век) язык богослужебных книг отличался от «народного наречия очень немногим». Однако, выделились постепенно, как два наречия, язык письменный и язык простонародный. Историю русского языка Срезневский делил на две части: история языка простонародного и история языка письменного, литературного. Но и в истории литературного языка Срезневский находил и период возвратного сближения книжного языка с народным, книжной литературы с народной словесностью (см. «Мысли об ист. рус. яз.». Москва, 1959, стр. 9, 26). Сама история языка — указатель хода литературы, и в XV-XVI вв. отличия народной речи от книжной возрастают. В летописях он видел смешение церковнославянского и русского.

Другим важнейшим этапом в оценке роли церковнославянского языка были работы крупнейшего ученого А. Шахматова. Придерживаясь трудов Шахматова, а равно и их оценки В. Виноградовым, можно так представить концепцию знаменитого исследователя: 1) Около 1898-99 гг. «Родоначальником **письменного** русского языка следует признать церковнославянский... который был перенесен к нам из Болгарии... В скором времени русский язык получил доступ и в самостоя-

тельную, зародившуюся в центре русской земли письменность: летописи, исторические сказания и юридические акты пишутся языком, **близким к живой речи** и только в подборе слов и синтаксических оборотов обличающим свою зависимость от церковной письменности». 2) 1910-1911 гг. «Язык образованных классов древней Руси был по происхождению своему языком церковным, **постепенно обрусевшим**». Однако, уже в XI веке наличествует **«преобразование древнеболгарского... претворение его в русский литературный язык»**. 3) 1915 г. По мнению Шахматова, церковнославянский язык (древнеболгарский), перенесенный на Русь, сближался в течение веков с живым народным языком. Но с конца XIV века, в XV и XVI вв. приходит второе южнославянское влияние (с Балкан югославяне бегут от турок); архаизируется грамматический строй, распространяются сербизмы и болгаризмы. Со второй половины XVII в. «основное движение русского литературноязыкового развития сводилось к все **большему расширению и углублению народных потоков и стихий**» в составе литературной речи. 4) Около тех же лет, и позже, при обзоре (в 1913-1914 гг.) словарного состава современного русского языка, Шахматов полагал, что «он по крайней мере наполовину, если не больше, остался церковнославянским».

Сразу после последней войны была опубликована работа С. Обнорского «Очерки по истории русского литературного языка старейшего периода», 1946 г. Акад. Обнорский считал, на основании анализа грамот, «Русской правды», «Слова о полку Игореве» и других памятников, основой русского литературного языка прежде всего народный язык. Возможно, что частично мнение ученого находилось под влиянием политическо-патриотической тенденции тех лет. В. Виноградов занимал в этом вопросе среднюю позицию и отмечал ошибки С. Обнорского.

Совсем недавно этот же вопрос был поднят в лекциях и статьях Б. Унбегауна и другими учеными. Основную литературу последних лет разбирал в своей интересной статье «О новых исследованиях по истории русского литературного языка» В. Виноградов в журнале «Вопросы языкознания», № 2. Москва, 1969 г. Наиболее ярким представителем новой оценки истории русского литературного языка, заострившим взгляд Шахматова, представляется мне Б. Унбегаун. Особенно типична его лекция

в Макгилльском университете в академическом 1968-69 году и статья «Русского ли происхождения русский литературный язык?». По мнению проф. Унбегауна, природа, сущность русского литературного языка церковнославянская. Лексика, ряд префиксов типа «пре» (преступить), словообразование, церковнославянское во многих и многих случаях. «В своей основе словарный состав современного русского литературного языка продолжает оставаться церковнославянским... Такие новые слова как «здравоохранение», «соцсоревнование», «истребитель», «хладотехника» и др. просто доказывают, что церковнославянский, по происхождению русский литературный язык, **продолжает существовать и развиваться**, как каждый живой язык, по своим собственным законам». Но разве природу языка меняет «соц» в словах соцдоговор, соцобеспечение, где вторая часть слова может быть и французского, и русского, и церковнославянского происхождения? Кроме того и вопрос о проценте слов церковнославянского происхождения совсем неясен: одни считают, что таких слов около 16%, другие — 50%, третьи — свыше 70%. Если есть «прохлада», есть и «холод», наряду с «хладотехникой» «холодильник», «холод», «холодильная техника» (см. Советскую энциклопедию), «холодная прокатка» (металлов), «холодная сварка» и т. д., и т. п. Таких русских слов значительно больше в технике. Далее ряд слов нельзя отнести без сомнений ни к древнерусскому, ни к церковнославянскому. Древнерусское «водить» (водить) слово и церковно и общеславянское. Древнеславянское (прославянское) *zvěgь*, древнерусское «зверь», современное зверь. Но это не доказывает, что в русском, как правило, более древнеславянских слов, чем, например, в чешском, хотя по-чешски зверь — *zvěrže*.

Ф. П. Филин в книге «Образование языка восточных славян» (изд. Ак. Наук, 1962) приводит ряд примеров по несколько гипотетическому восстановлению **общеславянской лексики**. По мнению Т. Лер-Сплавиньского в польском современном языке их несколько больше 1700; по О. Трубачеву, в русском этимологическом словаре М. Фасмера их свыше 3190! Речь здесь о словарном составе **общеславянского** языка позднейшей эпохи. Проф. Филин подчеркивает в своем прекрасном и объективном труде, что «восточнославянская (русская) зона резко выделяется среди других славянских зон **своим внутрен-**

ним единством». Далее тот же ученый, приведя ряд древних русских слов типа: «ирий» (=юг), «куст», «лог» (=лощина), «радуга», «осока», «хомяк», «белка», «бурый», «рокотати», «коврига», «коровай», «круживо» (=кружево), «чара», «погост», «девяносто», «сорок» и др., замечает: язык восточных славян отличался от других славянских языков «не только наличием или отсутствием в нем локальных слов и значений слов, но и структурой своих лексико-семантических групп».

Мне кажется, при вопросе о лексических заимствованиях в русском языке из церковнославянского, следует вспомнить историю английского языка. Язык этот остается в группе германских языков, хотя с XI века постоянно обогащался за счет французского,* а порою латинского и греческого, не редко и через французский. В истории английской лексики и французского влияния мы тоже находим два периода, как у нас две волны церковнославянского влияния.

И все же английский язык не продолжение французского в иной форме! Невозможно же считать, как это однажды сделал проф. Г. Винокур, славянизмами в современном русском языке причастия вроде «телефонирующий», «транслирующий». Проф. Б. Унбегаун полагает, что во второй половине XVIII века русские образованные сословия стали пользоваться литературным языком, как языком разговорным и «это была новая победа церковнославянской стихии, не менее важная для дела дальнейшего развития литературного языка, чем сохранение этим последним церковнославянских традиций в Петровскую эпоху».

Основываясь главным образом на работе Н. Смирнова «Западное влияние» (Спб. 1910) и диссертации проф. М. Полторацкой, а равно и истории русского языка, именно в эту эпоху мы переполняем язык (прежде всего в администрации) западноевропейской лексикой: апроши, ассамблея, аппробация, губернатор, президент, арестовать, адресовать, церемония, апеллировать, нация, бриг, рей и т. д. Тут и целые словосочетания типа «в авантажном месте» и т. д. Не случайно Петр Великий в письме к подчиненному писал: «В реляциях твоих употребе-

* См. О. Jespersen, "Growth and Structure of the English Language", 1905; J. Orr, "The Impact of French upon English", 1948.

Очень много параллелей с развитием русского литературного языка можно найти в этих двух трудах.

ляешь ты зело много польские и другие иностранные слова и термины, за которыми самого дела выразуметь не(воз)можно. Того ради впредь тебе реляции свои к Нам писать все российским языком, не употребляя иностранных слов и терминов». Картину переполнения своего языка ненужным чужестранным балластом дают и автобиографические записи кн. Б. Куракина: «И в ту свою бытность был инаморат в славную хорошеством одною читадинку...» Далее следуют «медреса», «амор», «на меморию», «персона» и т. д.

В произведениях И. Посошкова, при всем смешении западных, церковнославянских, польских элементов, в языке господствует стихия русского разговорного языка среднего (купеческого и городского) сословия. А позднее «попович» В. Тредьяковский уже писал о церковнославянском языке, что он, как уже отмечено, «жесток ушам моим слышится». В XVIII веке русский технический язык уходит все дальше от церковнославянского. Напрасно, мне думается, проф. Унбегаун утверждает, что культурные термины западных языков «лучше и естественнее укладывались в словарную структуру церковнославянского языка, чем в структуру русского», ср. хотя бы металлургию! В. Виноградов прав, указывая в цитированной статье на **живой процесс** движения исконно русской народной лексики в научную терминологию медицины, сельского хозяйства и т. п. Кроме всего прочего В. Виноградова да и меня более чем удивляет почему некогда общеславянский церковный язык **только** в России «превратился в национальный литературный язык русского народа» по утверждению проф. Унбегауна. В. Виноградов подчеркивает народную русскую речь в произведениях Ломоносова, Державина, Пушкина, Л. Толстого, Тургенева, Достоевского и многих других писателей.



Теперь я коснусь проблемы раннего развития русского языка и позволю себе привести примеры, взятые из литературного языка XX века. Несомненно, изменения в эволюции языка в основном постепенны и идут от этапа к этапу. (Ср. Филин, стр. 76) Все живущее во времени и пространстве изменяется. Изменение жизненных условий изменяет язык. Постоянно влияют и другие языки то завоевателей, то культуртрегеров. Обобщающе-абстрагирующий характер каждой грамматики

удерживает или устанавливает в языке те или иные системы в организации языка. Язык детей и его влияние. Смена поколений. Морфологический строй языка меняется и под влиянием накопления элементов нового качества, под давлением синтаксических особенностей на морфологию языка, где изменяется часть элементов в самой структуре слов под влиянием новых построений предложений. **Сами фонетические изменения** отражаются и на звуковом составе морфем. В силу аналогии архаизмы и их склонение влияют на другие группы слов. В истории русского языка сперва идут фонетические и лексические изменения и несколько отстают морфологические.

Древнерусский язык вырос из общеславянского. Характернейшей звуковой особенностью древнерусского языка было известное и у других славян «первое полногласие». В нем перед согласным звуко сочетания «ор», «ол», «ел» при восходящей интонации дали «рат», «лат» — рало, рамо, лаком и т. п. О русском полногласии (берег, береза, голова, холод, солод, волос, голос и т. п.) писали очень многие слависты (Ф. Фортунатов, А. Шахматов, А. Мейе, Т. Лер-Сплавинский, Ф. Мареш, Р. Якобсон, Р. Экблом, Е. Курилович, Сёренсен и др.), но ни точного времени начала его развития, ни причин, пока не установлено. Ряд слов неполногласных типа хлад, глава, брег, град, влечь (русское — волочь, волочить) вошли в состав русского языка из югославянского (болгарский, сербский) через церковнославянский, но это **«нисколько не мешает** полногласию быть характернейшей особенностью русского языка» (Филин, стр. 241). В еще большей мере, м. б., это относится к древнерусскому языку. Полногласие же есть важнейшая черта фонетики русского языка, его конструктивная особенность. Это явление, по мнению А. Вайяна и В. Кипарского, вполне проявилось в русском языке уже в восьмом-девятом веке. Ф. Филин полагает, что сочетания «оро», «оло», «ело», «ере» произносились уже «по крайней мере в IX веке». К. Менгес указывал, что название города Тьмуторокань доказывает, что в IX веке было полногласие, ибо тюркское слово было *taṃaṃ-taṃqan*.

В историческую эпоху засвидетельствован период исчезновения редуцированных гласных, т. е. «ъ» и «ь». Ранее произносился, напр., глухой «ъ» — вълкъ, а после падения редуцированных гласных (ъ и ь) преобразуется их звучание при закрытом слоге в сильной позиции в «волк», «днь» дает день,

«пнь» — пень. В сербохорватском же церковнославянские «ъ» и «ь», под ударением, дали один звук: «сѣнь» (русское сон) — сан, «дѣнь» — дан, «пнь» «пань». В чешском сильные «ъ» и «ь» перешли в «е» около X века и т. д. Для истории звуков в русском языке существенно, что «ъ» и «ь» в древнерусском сохранялись *дольше*, чем у югославян и западных славян; вероятно, что они звучали еще и в XII веке. Носовые же гласные (юс малый и юс большой) исчезли очень рано. Проф. Н. Дурново в Остромировом Евангелии 1056-1057 гг. насчитал сотни ошибок в словах с юсами. Равно и изоглосса «ч» выделила говор восточных славян, обособив его от других славян. Очень важен и вопрос о древнерусской особой лексике. К сожалению, он мало изучен. Начал им заниматься А. Соболевский в поисках отличий русского извода рукописей от югославянских. Позже, в 1946 г. этим же вопросом занялся покойный В. Виноградов в работе «Русская наука о русском литературном языке».

Речь идет о таких **русских** словах как: вал (в море), глаз, керста (гроб), дешевый, ковш, насад, пирог, посадник, пьря (парус), семья, сизый, смуглый, селезень и др. По мнению Ф. Филина, эти слова образовались м. б. в VIII-XI вв., но среди этих слов могли быть и слова общеславянские, утраченные позднее в других славянских языках, новообразования, а равно и заимствования из других, неславянских, языков (ср. лошадь — старинное заимствование из тюркских языков). Русская лексика заметна и в русском народно-разговорном языке и в литературно-книжном. Хотя В. Виноградов в 1969 г. подчеркивал значение церковнославянского языка в развитии русского литературного языка, он прав говоря, что вопрос о значении церковнославянского «еще очень далек от окончательного решения». Следует учесть особо XVII век, особо научную терминологию в ряде дисциплин (горное дело, кораблестроение, сельское хозяйство, медицина и металлургия).

Я не согласен с проф. Унбегауном и в том, что «попытки некоторых русских писателей, начиная с Даля и кончая Солженицыным, обогатить литературный язык за счет диалектов не могли не кончиться неудачей. Отдельные немногочисленные заимствования не идут в счет». Язык в «Один день Ивана Денисовича» жив, свеж и силен; такие слова в других произведениях Солженицына, как «переклонился» (перегнулся) «сто-лешница», «чутконосый стукач», «разляпистый нос», «испере-

полошиться», «здоровяга», «недокурок», «невподым», «вбирчиво» (дышать, слушать) прекрасны и их сотни и сотни. Здесь все дело в привычке к живой народной речи, ну и дело вкуса. После лекции проф. Унбегауна в Макгилльском университете, где он приводил примеры из разных подобранных текстов (русский, польский, украинский) в доказательство господства именно в русском церковнославянской лексики, я сделал опыт. Подобрал два больших абзаца из советских областных газет (один о работе гидростанции в Сибири) и послал в шутовом письме шефу русского департамента в Макгилльском университете проф. Дж. Никольсону. Я утверждал, что так как в обоих отрывках более 75% слов иноземных, то русская лексика на 3/4 нерусская. Все зависит, увы, от подбора, области языка и автора. Вот, к примеру, еще два-три очень **кратких**, а можно и по-русски — **коротких** — примера. Первый взят из публикации о брошюре акад. Сахарова, а второй — из романа наших дней В. Войновича. В первой (см. «Грани», № 72, стр. 194) на девяти печатных строчках, распространилось десять греческих и латинских слов, и всего два церковнославянизма.

Второй отрывок — обычное описание поступков героя действия: «Чонкин разнуздal лошадь и привязал ее неподалеку к дереву, чтобы она могла щипать траву, а сам себе выбрал место впереди бойцов, подальше от руководителя занятий. Он сел поджав под себя ноги, и только после этого огляделся». Слово «руководитель» встречается в древнерусском языке, но является ли оно церковнославянизмом, — это другой вопрос. Сравните составные с «рука» в сербском и хотя бы чешском языках типа: «руковeт», «руковeд» и т. п. А что бы вы нашли церковнославянского в таком начале статьи М. Кольцова: «Неуёмной кондовой тоской притаилось корявое расейское болото»?

Суммируя, скажу: фонетика, в основе и морфология, большая часть фразеологии вполне русские. И если звучат по церковнославянски слова «надменный», «современный», то и тут находим в речи интеллигента «совре^{ме}нный». Звуки, мелодика предложения, формы слов — русские. В синтаксических же конструкциях в разное время легко найти влияния и латинской, и французской, и немецкой и церковнославяно-греческой конструкций.

Р. Плетнев

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

ДАВИД АЛЕКСАНДРОВИЧ ДЖАПАРИДЗЕ

В ночь на 27 января в своей квартире в Нью Йорке, 48 лет отроду скоропостижно скончался профессор Давид Александрович Джапаридзе. Это большая утрата для славистики за рубежом. И для «Нового Журнала», членом корпорации которого он состоял.

Д. А. родился в Грузии в 1921 году. Шестимесячным ребенком родители вывезли его за границу, после занятия Грузии большевиками. Короткое время семья Джапаридзе — Александр Иванович, известный грузинский общественный деятель и его жена Ольга Антоновна урожд. Иоселиани, — жили в Германии. Потом переехали во Францию, в Париж, где и получил свое образование покойный Давид Александрович. Здесь он окончил лицей Анри IV (1937-38), Сорбонну (1947) и Школу Современных Восточных Языков (1947).

Специальностью Д. А. была русская филология, история языка и древне-русская литература. Он был учеником знаменитого французского слависта проф. Поля Буайе, а также известных профессоров Пьера Паскаля и Рауля Лабри. В Сорбонне, в Эколь дез'От Этюд, 6-я секция, у него была пожизненная кафедра древне-русской истории и литературы.

В 1953-54 гг. Д. А. приехал в Америку и вскоре получил предложение остаться здесь преподавать. Сначала он был профессором в университете штата Индиана, потом (1960-61) перешел в Принстонский университет будучи Senior Fellow of the Council of the Humanities.

В Принстонском у-те Д. А. был основателем и первым директором Славянского Отдела. В эти годы кроме того Д. А. читал лекции в Оксфордском у-те (в Англии), в Колумбийском у-те и в Штатном у-те в Олбани.

За годы своей профессорской деятельности Д. А. опубликовал ряд научных работ, из которых отметим «Средневеко-

вые Славянские Манускрипты» (издание Американской Академии по Средневековью) и «Грузинская литература», вышедшая на французском языке в Энциклопеди де ля Плеяд. Последней работой, над которой Д. А. работал несколько лет, было «Руководство для изучения древних русских текстов». Эта работа должна была выйти в Оксфорде у Кларендон Пресс. Два года Д. А. работал для Домбартон Окс Рисёрч Лайбрари, подготовив к печати оригинальный манускрипт грузинской Библии 12 века, который издал в Домбартон Окс Роберт Блэк. В 1966 году Д. А. ездил в СССР по приглашению Российской и Грузинской Академий на чествования, связанные с 800-летием рождения Шота Руставели.

Неожиданная кончина прервала научную работу Д. А., серьезного и талантливого ученого. 29 января он был похоронен в Покипси (Н. И.), где у семьи Джапаридзе усадьба. На похоронах присутствовало много друзей.

Надо сказать, что Д. А., как человек, был совершенно необыкновенных для нашего времени душевных качеств. Я особенно хочу подчеркнуть его исключительное благородство по отношению решительно ко всем. Этот человек никогда, ни при каких обстоятельствах не мог совершить даже просто какою-нибудь нетактичного поступка в отношении других. Это было некое наследственное «грузинское благородство». Такими же были и его родители. Недаром некоторые близкие называли его «Баяридзе» — по аналогии с знаменитым французом Пьером де Баяр, получившим в истории прозвище «рыцаря без страха и упрека». Но может быть именно эта его «незащищенность» от всяких интриг, подсиживаний, наговоров, чем так богата академическая жизнь некоторых университетов, и свела его преждевременно в могилу. Все эти интриги, объектом которых он был долгое время, вероятно, оказались слишком тяжелы для его сердца.

Мы выражаем глубокое соболезнование его вдове — проф. Ю. Джапаридзе, рожд. Бешаровой, и сыну Людвигу.

Роман Гуль

НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ НАРОКОВ

Недавно в Монтерей, в Калифорнии, на 82 году жизни скончался писатель Николай Владимирович Нарок. Настоя-

шая его фамилия была — Марченко. Покойный был постоянным сотрудником «Нового Журнала» и смерть его для нас ощутимая потеря. Кроме «Нового Журнала» Н. В. сотрудничал в «Новом Русском Слове», в «Русской Мысли» и в других газетах и журналах зарубежья.

За рубежом Николай Владимирович напечатал много рассказов и статей на литературные темы, но самым большим его успехом был, конечно, роман «Мнимые величины», в пятьдесят третьем году вышедший в Нью Йорке в издательстве имени Чехова. Несмотря на то, что до «Мнимых величин» на эту тему вышли два нашумевших романа «Темнота в полдень» А. Кёстлера и «Дело Тулаева» Виктора Сержа, роман Н. В. имел очень большой успех, как на русском языке, так и на иностранных. Этот роман был переведен на девять иностранных языков и до выхода книгой печатался в больших иностранных журналах — в американском «Сатурдэй Ивнинг Пост» и в немецком «Вельт-бильд». Тема «Мнимых величин» — большевизм и человек, причем Н. В., беря тему большевистских застенок, не задавался вовсе дать какие-то «разоблачения». Его тема была гораздо сложнее, психологичнее и интереснее: это тема вечной борьбы добра и зла в человеке и перехода зла в некую страшную инфернальную силу. Сейчас на нашем зарубежном рынке роман «Мнимые величины» стал почти библиографической редкостью. И его следовало бы переиздать.

После первого романа Н. В. написал второй — «Могу!» Тема этой книги — созданный большевизмом, так называемый, «новый человек». Над этой темой Н. В. много работал, и я помню, что еще в 1949 году, когда я познакомился с ним в Гамбурге, куда я приехал из Парижа, — Н. В. дал мне свою крайне интересную работу «Человек другой породы». Но второй роман такого успеха, как первый, не имел, хоть и был по-своему интересен.

В Гамбурге, когда я познакомился с Н. В., он был полон энергии, литературных замыслов, о которых говорил очень интересно. По основной своей специальности — математик, Н. В. довольно тут, зарубежом, стал литератором и сразу же завоевал себе место и признание. За границу Н. В. с своей семьей попал, пройдя страшный путь войны, бомбардировок, советских домогательств о выдаче т. н. «новых эмигрантов», т. е. советских граждан, не пожелавших возвращаться после войны в СССР.

Встречался я с Н. В. и в другой, уже совершенно мирной и приятной обстановке — в Монтерей, в Калифорнии, где обособилась вся его семья и где он мог спокойно литературно работать. Но тут подошли болезни, недомогания и Н. В. не смог все-таки дать всего, чем был щедро одарен от природы. У него был меткий писательский глаз, прекрасный язык, подлинное знание Советского Союза и неисчерпаемость острых тем, выношенных за жизнь в СССР. С уходом Н. В. русская зарубежная литература понесла большую невозградимую потерю.

Мы выражаем наше искреннее соболезнование его вдове Елизавете Петровне, сыну Николаю Николаевичу и всей их семье.

Роман Гуль

А. В. ТЫРКОВА-ВИЛЬЯМС

К СТОЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

26 ноября 1969 г. исполнилось столетие со дня рождения Ариадны Владимировны Тырковой-Вильямс. Эта выдающаяся женщина родилась в Петербурге 13 ноября (ст. ст.) 1869 г. и скончалась в Вашингтоне 12 января 1962 г.

А. В. происходила из старинного новгородского рода, провела свою молодость в Петербурге, где училась в гимназии и на курсах, и в имении Вергежа, пожалованном Тырковым сразу после Смутного Времени. Смолоду А. В. увлекалась радикальными идеями, но социалисткой не была. Первым браком она была замужем за инженером-кораблестроителем А. Н. Борманом. Но брак этот был недолог.

В начале столетия А. В. связалась с земско-либеральными кругами, вошла в Союз Освобождения. За перевоз нелегальной литературы из Финляндии (журнал «Освобождение», издававшийся в Германии П. Б. Струве) была арестована и отправлена в Дом предварительного заключения в Петербурге. Просидев в тюрьме около двух месяцев, А. В. была взята на поруки своей гимназической подругой, тогда уже женой командира л. гв. Конного полка.

Весной 1904 года А. В. судили и приговорили к двум с по-

ловиной годам тюрьмы и лишению всех прав. После тюрьмы А. В. перенесла тяжелую болезнь и потому ей было разрешено остаться короткое время на свободе. Воспользовавшись этим А. В. бежала через Финляндию в Германию, где поселилась около семьи Струве. Там А. В. встретила своего будущего мужа, новозеландца Гарольда Вильямса. Из Германии вместе с редакцией «Освобождения» А. В. переехала в Париж, где прожила целый год, вернувшись в Россию сразу после Манифеста 17 октября 1905 г.

Вернувшись в Россию А. В. стала писать в столичных газетах на текущие темы и занялась политической работой. Она участвовала в организации кадетской партии и с момента ее возникновения была членом ее Центрального Комитета.

Деятельность А. В. в этот период была разнообразна. Она пишет в газетах, ее рассказы печатаются в толстых журналах. Она опубликовала несколько романов — «Жизненный путь», «Ночь», позже «Добыча». Вскоре А. В. вышла замуж за Гарольда Вильямса, который был в Петербурге корреспондентом английских газет. В ее доме собирались писатели, поэты, политические деятели. Часто ее политические друзья, кадеты, приезжали прямо с заседаний Государственной Думы.

Накануне войны А. В. пишет свое первое историческое исследование — «Анна Павловна Философова и ее время». Книга эта дает красочную картину помещичьей жизни первой половины XIX-го столетия. Во время войны А. В. уезжает в прифронтовую полосу почти на год с санитарным отрядом.

Когда началась февральская революция А. В. вначале ее приветствовала. Однако, очень скоро поняла, что ошиблась в своих надеждах и этого не скрывала. Летом 1917 года А. В. была выбрана по кадетскому списку в Петроградскую городскую думу. От городской думы она едет на Московское Государственное совещание, где убеждается, что только военные еще могли бы спасти Россию от полного развала. Этой верой объясняется ее стойкая поддержка Белого движения и идеи Белой борьбы в течение последующей жизни. Она считала, что большевики могут быть свергнуты только вооруженной рукой.

Россию А. В. покинула вместе с мужем и дочерью весной 1918 г. В Англии она написала книгу на английском языке — «От свободы к Брест-Литовску». Книга эта обратила на себя внимание английской печати. Весной 1919 года муж А. В. был

командирован двумя лондонскими газетами на юг России. Она едет с ним, но остается в России только полгода. Для нее и для ее мужа быть свидетелем поражения белых было не легко.

В эмиграции они обосновываются в Лондоне, где Гарольд Вильямс делает большую журналистическую карьеру. Они вместе написали по-английски роман из времен русской революции. Затем А. В. садится за самый большой труд ее жизни — биографию Пушкина. Первый том «Жизни Пушкина» был издан в 1928 году, а второй был закончен только в 1936 году. Работа над ним была перебита смертью Г. Вильямса и составлением его биографии, вышедшей по-английски в 1935 г. под названием, которое вольно можно перевести «Щедрый собеседник».

Вторую войну А. В. пережила с семьей сына во Франции, под Греноблем. Несмотря на трудные материальные условия она написала там два тома воспоминаний. Первый был издан после войны в Париже, а второй под заголовком «На путях к свободе» в изд-ве имени Чехова в Нью Йорке. Восьмидесятилетие А. В. было отпраздновано в Версале, куда она переехала с семьей сына после войны.

В 1951 году она переехала с семьей сына в Америку, сначала в Нью Йорк, а потом в Вашингтон. Жизнь ее в Америке была омрачена сперва смертью любимой внучки, а потом невестки. Это были большие удары для А. В. Она осталась в Америке только с сыном. Большим ее утешением была пра-внучка Катя.

До последних дней своей жизни А. В. продолжала писать. Последние ее статьи были одна о «Докторе Живаго», другая о ее посещении Ясной Поляны. Под конец жизни А. В. все больше углублялась в православие. Церковь была для нее большой поддержкой. Об ее отношении к Богу, религии, церкви много можно найти в ее биографии, написанной ее сыном Аркадием Борманом и вышедшей по-русски под названием «А. В. Тыркова-Вильямс по ее письмам и воспоминаниям сына».

Редакция

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

ПИСЬМА А. Ф. ДОСТОЕВСКОГО

В сентябре 1968 года в Ленинграде скончался внук Достоевского, Андрей Федорович. В 1965 году у меня с ним завязалась переписка, которая оборвалась в 1967 г. Она представляет, по моему мнению, некоторый общий интерес. Сначала, небольшое вступление.

В 1922 г. в Москве я познакомился с сыном Ф. М. Достоевского в Доме Ученых Центрального Комитета Улучшения Быта Ученых. Знакомство было мимолетным, оно оставило по себе, скорее неблагоприятное воспоминание какой-то его игривости, несерьезности. Воспоминание довольно смутное. Да и я тогда не интересовался специально Ф. М. Достоевским. Тридцать лет спустя, однако, перечитав вновь все, написанное Достоевским, я стал изучать его творчество.

В 1964 г. на съезде американских славистов в Нью-Йорке я сделал доклад о некоторых новых книгах о Достоевском, вышедших в СССР. Один из американских литературоведов, побывавших в СССР, сказал мне, что внук Достоевского хлопочет об издании альбома с портретами и документами о жизни и творчестве Ф. М. и хотел бы знать мнения иностранных ученых о желательности подобного издания на других языках. Он дал мне адрес А. Ф. Достоевского.

В начале 1965 г. я написал А. Ф. Достоевскому письмо, высказав мнение о желательности выхода такого пособия на английском языке. Он ответил любезным письмом, из которого я понял, что Андрей Федорович, не будучи по профессии литературоведом, а инженером-механиком и строителем, посвятил тем не менее остаток своей жизни увековечению памяти своего великого деда и оказанию помощи тем, кто интересуется его жизнью и творчеством.

В связи с приближением столетнего юбилея выхода в свет «Преступления и наказания» у меня появилась мысль пригласить

сить А. Ф. Достоевского приехать в Канаду, чтобы рассказать о своей работе по «достоевсковедению».

Как видно из прилагаемых писем А. Ф., эта идея ему понравилась и он с охотой на нее отозвался. Много пришлось сделать, чтобы в Канаде заинтересовались его приездом. Некоторые администраторы университетов не думали, что следует его приглашать только потому, что он был внуком Достоевского. Пришлось им объяснить его деятельность за последние годы, всецело направленную на изучение творчества писателя.

Одно случайное обстоятельство особенно оживило переписку: в русской программе Радио-Канады я дал интервью о Достоевском. Эту передачу услышал Андрей Федорович в СССР и написал мне об этом («только что прослышал Ваш голос... Ваш голос побудил меня написать»).

Андрей Федорович Достоевский не дожил ни до ноября 1969 г., когда должен был быть открыт Музей Достоевского в Ленинграде, о котором он много хлопотал, ни до выхода в свет 30-томного полного академического собрания сочинений его деда, в подготовке которого он принимал участие, ни даже до выхода из печати его трудами созданного «Учебно-педагогического Альбома Достоевского», который давно уже должен был выйти из печати (в конце 1966 г.). Прошло уже три года после предполагаемого срока выхода (текст был совершенно готов). Невольно возникает вопрос, почему же такая задержка?

А. Ф. Достоевский выполнил последнюю волю своей бабушки, Анны Григорьевны: его усилиями ее прах был перевезен в Питер и похоронен в бывшей Александро-Невской Лавре, рядом с могилой Федора Михайловича. Та, которой великий писатель писал «твой вечно», соединилась с ним в вечном сне.

По сообщению «Русской мысли», это перенесение праха состоялось 9 июня 1968 г. Останки А. Г. Достоевской, похороненной в Ялте, были перевезены в Москву для кремации. Урна с пеплом была доставлена в Ленинград. Сделанная из уральского мрамора урна с прахом бабушки была установлена ее внуком А. Ф. Достоевским справа от памятника Ф. М. Достоевскому в бетонированной нише в Некрополе Александро-Невской Лавры. На бронзовой дощечке, которой закрыта бетонированная ниша, выгравированы имя, отчество и фамилия и даты рождения и смерти А. Г. На церемонии присутствовало свыше ста литераторов, на памятник и могилы возложены были многочисленные

венки от ленинградских писателей, от студентов и профессоров Ленинградского университета и др. и были произнесены речи.

Род Ф. М. Достоевского (по мужской линии) со смертью А. Ф. Достоевского прекратился.

А. Ф. ДОСТОЕВСКИЙ Н. В. ПЕРВУШИНУ,
17 МАРТА 1965 ГОДА ИЗ МОСКВЫ.

Многоуважаемый Н. В., вчера отправил в Ваш адрес бандероль («Известия АН СССР», серия литературы и языка, вып. 1 за 1965 г.). Может я запоздал, но там есть ответы на Ваши вопросы о труде Бахтина, кроме того, кое-что о маленькой (к сожалению) книжечке Чиркова и о статьях Зунделевича. Прошу извинить меня, но уже который месяц нахожусь в Москве и совершенно предельно занят в связи с подготовкой к изданию уч. педагогич. Альбома «Ф. М. Достоевский в документах, портретах и иллюстрациях», который стоит в плане этого года, но запаздывает. Будет на полках библиотек в 1965 году. Я не оставляю надежды более обстоятельно ответить Вам, возвратясь в Ленинград, но, право, не знаю, когда это станет возможным. Со своей стороны позволю себе задать Вам вопрос, **как предполагается отметить в 1966-67 гг. СТОЛЕТИЕ «Преступления и Наказания»** в Мак Гилл Университете? Очень буду благодарен.

Всего доброго, уважающий Вас

А. Достоевский.

А. Ф. ДОСТОЕВСКИЙ Н. В. ПЕРВУШИНУ,
12 ФЕВРАЛЯ 1966 ГОДА ИЗ ЛЕНИНГРАДА.

Многоуважаемый Н. В., уж очень давно все тшусь Вам написать (сверх-чудовищно занят!), а только-что прослышал Ваш голос по Радио-Канада... и, как видите, немедленно сел за письмо к Вам.

Прежде всего, надлежит несколько отойти назад, — я не поздравил Вас с Новым годом, т. к. «вдруг» утерял Ваш адрес! Ну, может же такое быть!? Декабрь и январь я не был дома, следовательно, это произошло, когда я не был в состоянии искать и найти. Вернувшись же попал в такую полосу каторжной занятости — все по достоевским вопросам, что только мог

«платонически» мыслить о письме. Теперь, слава аллаху, сразу решился — Ваш голос побудил меня!

Прежде всего вопрос, достали ли Вы последнюю книгу о творчестве Достоевского — «Литературное наследство», т. 77... Т. к. тираж маловат (7 тысяч), — до Вас книга могла не дойти. Немедленно же **по получении этого письма**, ответьте мне авио-открыткой, если надо, я Вам немедля же вышлю книгу... Жду Вашего ответа в любом случае. Какие у меня интересные для Вас новости? Скажу лишь о главнейших: 1) Учебно-педагогич. Альбом, «Ф. М. Достоевский в документах, портретах и иллюстрациях» запланирован выходом из издательства «Просвещение» на 4-й квартал с/г., т. е. я жду его на прилавках магазинов (тираж до 35 тыс. экз.) в январе-феврале 1967 г. — это оптимизм. На реализацию моей затеи потребовалось, в лучшем случае, — 4½ года. Главная вина задержки за Ред. комиссией, состоящей из научных сил.

2) Медленно, но неизменно положительно решается вопрос Музея Ф. М. Достоевского в бывшем Петербурге-Ленинграде. Он будет в доме 5 по Кузнечному переулку (угол ул. Достоевского), где последняя квартира писателя («Братья Карамазовы» и последняя книга «Дневника»). Правда, дело будет очень медленным, т. к. необходима еще перестройка дома, которая не затронет квартиры писателя. Сейчас «ломаются копыя» по поводу ведомственной принадлежности будущего музея, следовательно штатов, инвентарного обеспечения и т. д. Музей сможет начать функционировать к 1969 г., если не позже (мешает перестройка «дома клинкостроен»). Лыщу себя слабой надеждой дожить в исправности до этого времени, — три дня назад мне стукнуло 58 годов, а обстоятельства потратили меня значительно!

3) Ленингр. студ. научн. фильма уже приступила к небольшому кинофильму «Петербург Достоевского» (летом прошлого года я добился разрешения на него и включения в план 1966 г., когда был в Москве). Мне предложено быть консультантом по сценарию и по съемкам. Конечно, приложу немало усилий!

4) С начала этого года Институт русской литературы АН СССР («Пушкинский дом») начал работать над 30-томным изданием всего письменного наследия Достоевского, — это будет академическое издание (тираж 40-50 тысяч экз.). План работ

с 1966 по 1976 гг. Так как по этому вопросу мне приходилось обращаться в прошлом году в ЦК КПСС (к покойному уже Поликарпову — отдел науки и культуры), я включен в состав рабочей группы Достоевского. Кстати, в последний вторник этого месяца на заседании группы буду делать критическое сообщение о трех книгах, изданных в США — Давид Магаршак «Достоевский» (1963); Дональд Фангер «Достоевский энд романтик реализм» (1964) и «Крайм энд Пенишмент, Бэкграунд энд сорсез, эссеи ин критисизм» (Джордж Гибиан, 1965). Учитывая то, что я инженер-конструктор механик, не скажу, чтобы мне было в литературоведческо-филологической области работать легко! (о книге Магаршака, возможно в апреле-мае будет от меня в нашей «Иностр. литературе»).

5) Сейчас уже начал на бумаге, а с весны продолжу на натуре, совместно с Исполкомом Октябрьского Райкома Совета Ленинграда (самый «достоевский» район города!) приводить в порядок (под «эпоху») и сдавать на хранение общественности места, детали и черты, связанные с жизнью Федора Михайловича и действующих лиц его произведений (гл. обр. «Прест. и наказ.», мало «Идиота», немного «Униженн. и оскорбл.»). Надеюсь, это «мероприятие» провести полно и удачно. Вероятней всего должно быть а) присвоение имени Ф. М. Достоевского одной из библиотек Района и б) установление памятной доски на «доме Ив. Макс. Алонкина».

Что Вы могли бы подсказать о статьях (о писании) некоего Спилка? Имею в виду его статью «Юмен ворт ин зи Брозерс Карамазов», и вообще.

Всю весну и все лето должен, возможно, пробыть в Ленинграде, никуда не отлучаясь. Что осенью — не знаю еще! Ввиду того, что **три столетия** («Прест. и наказ.», «Игрок» и приход в жизнь Достоевского Анны Григорьевны, — ее согласие на замужество), вероятно, много по этим темам буду занят и действовать (уже проводил несколько бесед в «высоких сферах» и еще предстоят).

Вот, — приехал бы к Вам, в Монреаль, мог бы провести две беседы (об Анне Григорьевне, об условиях жизни Федора Михайловича в период создания «Прест. и наказ.» и иметь с собой два кинофильма «Достоевский» (1956 г.) и «Петербург Достоевского», последний в лето будет готов полностью. Тут всё в

порядке культ. обмена, т. е. Ваша инициатива и пр. Думаю, наши писатели к этому отнесутся по-хорошему. Эти дела очень медленно делаются, поэтому, если начать, то следует немедленно. Все в связи **со столетием!**

Сейчас здоровье и пр. вполне позволяют. Жаль, что не поспеет к осени-зиме (в двадцатых числах декабря 66 г. Федор Михайлович совместно с Анной Григорьевной закончил последние главы «Преступления и нак.» и 8 ноября 66 г. Анна Григорьевна дала согласие быть женой Достоевского). Есть ли Общество дружбы Канада-СССР? Узнаю, кто у нас председатель его. Если надо на Университет Ваш прислать соответствующее письмо, то — готов! Как по Вашему, стоит ли сделать подобное? К сожалению, других Достоевских (не женщин, а мужчин) не сыщете. Остался один, как перст из этого рода!

Из своих частных дел у меня единственный интерес: на прикупленном кусочке земли к участку моих друзей (50 км. от города) начну строить полузимний «коттедж», и, главное, деревянную баню при нем! Уже заказал бревна. Это — большая морока и деньги стоят, но мне все более несносно, неприятно торчать в городе — уж очень люблю тишину, одиночество, природу (напротив — лес), белизну снега и чистоту воздуха! Там есть домик, но не по нашим морозам! Есть еще очень нелегкое — надо оперировать заднюю левую у моей старушки-спаниэля. Несмотря на большую охоту у нее еще «свежий» дух и молодое сердце, а нога-то совсем сбракковалась. Надо помочь, но что-то эскулапы собачьи трудно берутся за дело (рентген очень плохо помогает им).

Вот, Вы видели всю мою жизнь. Не упомянул о множестве текущих, конечно, достоевских дел. Справляетесь ли Вы с моим почерком? Скажите откровенно! Что у Вас нового (книги, оттиски, журналы, газеты) по Достоевскому? А в театрах, кино? Если что можно прислать, то очень прошу. Из Канады к нам мало поступает. Шлите простой, не авио, но обязательно заказной бандеролью. Тоже афиши, программы, оповещения, или пригласительные билеты (на Достоевского).

У меня завязалась интересная связь с Достоево (Брестская область, бывшая Пинщина), оттуда повелся наш род Достоевских. К осени, возможно, туда соберусь съездить.

Всего Вам доброго, теперь постараюсь быть регулярным в переписке.

Уважающий Вас *А. Достоевский.*

А. Ф. ДОСТОЕВСКИЙ И Н. В. ПЕРВУШИНУ,
ИЗ ЛЕНИНГРАДА 16 АПРЕЛЯ 1966 ГОДА.

Дорогой коллега,

На-днях Вы получите заказной бандеролью очень симпатичную и искреннюю книжечку «По местам Ф. М. Достоевского в Омске». Надеюсь, она Вам будет полезна и тоже понравится? А если так, то хорошо, если бы Вы в коротеньком письмеце помогли бы Издательству ориентироваться в современности и насущности этой темы... Я так занят, устал и нет свободного времени.

Имею удовольствие дать кратчайшую верную информацию о некоторых достоевских темах:

1. Учебно-педагогическое пособие АЛЬБОМ «Достоевский в документах...» уже частично пошло в машину и намечено выходом из печати на IV кв. с/г. Ввиду того, что есть еще ничтожные незаконченности в рукописи, все же думаю, что Альбом выйдет в 1-м квартале 1967 г. Теперь я к нему отношения не имею, т. к. я свое дело сделал, а «машина» покрутится и без меня, а я тем временем займусь другой насущностью, которых становится все более по Ф. М. Достоевскому.

2. Сейчас я всесторонне и постоянно занят постепенным рождением **Музея Ф. М. Достоевского в Ленинграде**. Очень много этапов и трудностей, но вижу его открытие 11 ноября 1969 г. Уже узаконены под будущий музей 280 кв. м., изъятых из фонда жилплощади. Вопросы штатов, финансов и обеспечения сейчас в Министерстве Культуры, по имеющимся у меня сведениям, продвигаются по-малу.

3. Уже ведутся работы в Академии наук СССР, в Институте русской литературы, по подготовке **АКАДЕМИЧЕСКОГО 30-томного издания** всего творчества Ф. М. Достоевского, — вхожу в рабочую группу по изучению творчества писателя, недавно делал доклады о работах Д. Магаршака (см. журнал «Иностранная литература» № 2 за 1966 г.), Д. Фангера и Дж. Гибиана (последние две, конечно, серьезнее, чем Магаршака), — в заседании Группы в последний вторник каждого месяца. В Главной редакции 30-томника — 1 академик, 4 доктора наук (В. Ермилов помер) и 1 кандидат наук. К сожалению, длинен срок издания — с 1967 по 1976 (или долее).

4. Издательство Художественной литературы готовит расширенное издание произведений Ф. М. Достоевского (включая

«Дневник» и «Письма»), но план работы окончательно еще не утвержден Комитетом при Совете Министров СССР по печати. Это было бы доступное, народное, массовое издание, приуроченное к юбилею 1971 г. Прилагаю усилия, чтоб оно состоялось, имеется широкая поддержка, но все же это издание входит в противоречие с изданием АН СССР, — есть опасение, состоится ли ?

О себе говорить нечего, — я обязан быть «на зубах» одновременно по многим вопросам, некогда чувствовать себя нездоровым, нечего тратить энергию на что-либо сугубо личное, вот времени бы побольше в каждой неделе добыть, а то нехватает! Конечно, утомлен, но об отдыхе, об отпуске думать пока невозможно.

Итак я все время дома, т. е. в Ленинграде, прошу на меня не претендовать, если молчу, — значит, «зашиваюсь»! Провел несколько бесед об условиях жизни Федора Михайловича и несомненном влиянии их на создание «Преступления и Наказания», говорят, неплохо. Рад, если так! Жаль до Вас далеко, не слетаешь запросто, а то бы поделился тем, что приобрел за эти годы в ДОСТОЕВСКОМ.

Всего Вам самого успешного и спокойного, прежде всего — здоровья. Что у Вас нового о Достоевском?

С уважением А. Достоевский.

В мае, июне и в октябре 1966 г. я написал А. Ф. Достоевскому три письма, которых он, вероятно, не получил. В них я писал ему о планах нашего университета (МкГилл в Монреале) ознаменовать столетнюю годовщину выхода «Преступления и Наказания» и его возможного участия в них. В письме от 16 октября я писал:

«Я не получил ответа на мое письмо от июня. Хотелось бы узнать о возможности Вашего приезда для чтения лекций в Монреале о Вашем деде. Мои канадские коллеги, в частности в провинциях Онтарио и Квебек, были бы рады, если бы Вы могли приехать и прочитать по 2 лекции... Ваше пребывание в Канаде и частично расходы по приезду можно было бы обеспечить с финансовой стороны. Вы писали о возможности Вашего приезда к нам к концу этого года. Осталось не так уж много времени, учитывая формальности с визами и т. д. Я буду читать в декабре

1966 г. лекции о «Преступлении и Наказании» на русском языке, и в феврале 1967 г. на английском языке».

Последнее письмо от А. Ф. Достоевского я получил в январе 1967 г., вот оно:

Ленинград, 21 декабря 1966 г.

«Многоуважаемый Н. В.,

На весь 1967 г. шлю Вам пожелания в удачах и радостях. Что-то оборвалась переписка между нами, — почему? С моей стороны: занятость, утомление, все очень трудно дается. Может это не причина? Значит, вряд ли быть мне в Монреале ко всемирной выставке? А жаль!

Сейчас еду в Москву, будут новости по Достоевскому — напишу.

Всего Вам доброго, уважающий Вас *А. Достоевский*».

В ответ на это письмо, я написал ему, что мы рады пригласить его в 1967 г. в связи со Всемирной выставкой, но ответа уже не получил. Явно, что-то мешало ему и получать мои письма, и приехать в Монреаль. Вероятно, не только утомление и состояние здоровья. Еще в 1968 г. он съездил в Омск, на место ссылки своего знаменитого деда и, вернувшись, написал своему многолетнему другу в Москву: «Обессилен, изнеможен до предела. Но надо тянуть, во что бы то ни стало еще тянуть... Стараюсь держаться» (в «Литер. Газете» от 25 сентября 1968 г.).

Андрей Федорович умер 60 лет. Ему выпала трудная судьба, — так пишут о нем в некрологе в СССР; очевидно, он побывал в местах «не столь отдаленных» и вернулся уже почти инвалидом, «тяжело больным человеком», по словам некролога. Последнюю часть своей жизни он посвятил благородной задаче: воздать должное памяти своего великого деда.

Н. В. Первушин

СОВЕТСКИЕ ГРАФФИТИ

Граффити (от итал. “graffiti”, мн. ч. от “graffito”, буквально — «нацарапанный», от греч. «графо» — «пишу») представляют собой надписи бытового характера и рисунки на стенах зданий, сосудах и т. д. Граффити существуют давно, с самого начала письменности. Археологи обнаружили многочисленные граффити в помпейских руинах, в древней Греции, Риме, Египте. В Риме, недалеко от Порта

Портуенсис, даже нашли одно граффито, в котором просили не марать стен. На Руси граффити появились тоже очень давно, но речь будет идти не о надписях десятого века, а о граффити, списанных мною в Ленинграде со стен Храма Воскресения в июне 1967 года.

Храм этот иногда называется ленинградцами «Спас на крови» или «Собор на крови». Как известно, он был построен на том месте, где был убит Александр II. Несмотря на богатство и даже роскошь здания, вот уже пятьдесят лет, как оно является «неработающим»; сказывается и отсутствие ухода за ним на протяжении полустолетия, заметны и легкие повреждения от немецких бомб.

На одной из стен (у канала) висит Распятие. До него трудно добраться из-за высокого железного забора; тем не менее, ноги Распятия буквально «исцелованы» ниже колен. К собору постоянно подходят старушки, становятся на колени у двери и втыкают в трещины стен листья вместо цветов. Молодые тоже останавливаются, внимательно осматривают стены, разговаривают, смеются. Если подойти близко, то увидишь, что они читают многочисленные граффити на стенах. Приведу образцы этого жанра и некоторый их разбор.

Средняя надпись содержит всего лишь семь слов и чаще всего представляет собой одну фразу. Например: «Господи, дай счастья, помоги через 4 г. поступить в Академию художеств. 7/11-67». Граффити эти на стенах храма «Спаса на Крови» можно классифицировать соответственно с **кажущимся** авторским замыслом. Вот, вероятно, серьезные, искренние: «Жить, ничего не делая — трудно (дай Бог нам трудностей) А. П. Л. А.» «Господи, мы же должны быть вместе! (13/5-67)». «Счастья, здоровья мне и Володе (РИВ) 1/V-66 г.». «Спасибо тебе, Господи! Не забудь и в этот раз». «Господи, помоги мне в любви!» Есть насмешливые, юмористические: «Господи, задави Тарицына!» «Господи — помоги мне избавиться от Валерки».

Полная уверенность в определении отношения автора к своему граффито часто невозможна: «Господи, помоги, чтобы меня полюбила Шарлотта». «Господи, голоден!» А вот некоторые граффити, неизвестно смешные ли по мысли автора или смешные помимо его воли: «Господи, помоги мне сдать марксистско-ленинскую философию». «Господи, помоги сдать политэкономию». «Господи, помоги сдать экзамены: 1) По электротехнике, 2) По ЭВП (электро-вакуумным приборам). 3) По марксизму-ленинизму. Пи... (Подпись нельзя было разобрать)».

Иногда язык некоторых граффити торжественный и даже архаичный: «Господи, помоги студенту найти хлеб насущный». «Господи, подай помощь о моих нуждах». Но есть иногда и жаргон:

«Господи, сделай так, чтобы мы все поехали на целину и заработали не менее 5 кусков (тысяч). Комната 55». «Помоги мне, Господи, получить права» (шоферские). Иногда бросается в глаза несоразмерность языковых плоскостей в отдельном граффито: «Господи, спаси раба Божьего, помоги сдать экзамены в ЛВХПУ» (Ленинградское высшее художественно-промышленное училище). Приписка: «И мне тоже».

Почти каждая надпись снабжает читателя биографическими данными о «сочинителе», такими, как возраст, пол, профессия и т. п. Например, вышеприведенная надпись «Г-ди, подай помощь о моих нуждах», вероятно, была написана человеком пожилым. Или: «Господи, не пускай нас в Михайловский сад»; это граффито было истолковано одним теперешним жителем Ленинграда, как сочинение проститутки. Но и здесь, как во всех граффити, такие догадки, конечно, рискованны.

В противоположность античным граффити, богато сопровождавшимся рисунками, здесь нашелся только один рисунок (непристойный) на всех стенах. Судя по мелу, которым он был сделан, автор надписи и рисунка один и тот же. Только две из найденных мною граффити (вышеупомянутое и еще одно) непристойны.

Некоторые из «серьезных» надписей повторяются много раз, например: «Господи, помоги мне поступить в вуз». Повидимому, неоднократное воспроизведение одних и тех же граффити носит ритуальный характер. Но не отрицается возможность, а порой даже и вероятность, случаев шутивого дословного подражания.

В трех случаях я нашел прямые отклики, в виде приписок на отдельные надписи: «Господи, помоги достать транзистор АП-2-14. 25/III-67». Приписка — «Есть П-201. Архангел Гавриил». «Господи, помоги нам выиграть машину». Приписка — «Надо накопить и выиграешь». И еще надпись: «Господи, спаси раба Божьего Бориса, помоги сдать экзамены в ЛВХПУ». Приписка — «И мне тоже». Были ли написаны первые две надписи (не включая приписок) в серьезном или шутивом тоне, нельзя установить. Из сюжетных граффити: «Господи, сними спесь с жены».

Все эти граффити были сделаны или мелом или карандашом, не нацарапанные на стенах, как в древности. Поэтому можно заключить, что их давность не превышает двух-трех лет, так как дожди должны были бы их смыть. Из датированных, самое раннее 1966 года. Большинство надписей можно было разобрать только с большим трудом, а многие и вовсе невозможно. К сожалению, нельзя установить, с каких именно пор стали писаться граффити на этих стенах. Вспоминаются слова Пимена: «А прочее погибло невожатно...»

Джон Глэд

ОТ БОЛЬШЕВИЗМА К ПРАВОСЛАВИЮ

Автор этой заметки об известном большевике Г. Е. Евдокимове — Иосиф Михайлович Бергер. Бергер в свое время был «иностранным коммунистом», приехавшим в СССР из Палестины (теперешний Израиль). Он работал долго в Коминтерне, в еврейской секции. При Сталине был арестован и пробыл в тюрьмах, лагерях и ссылке с 1935 по 1956 год, когда был при Хрущеве реабилитирован и выехал с семьей в Израиль.

В Израиле И. М. Бергер выпустил книгу на иврит о советских концлагерях. Его воспоминания готовятся по-английски к изданию в Лондоне. Надо сказать, что после всего пережитого И. М. Бергер (еще в концлагере) стал ортодоксально религиозным евреем. Случай Г. Е. Евдокимова — уход от большевизма в православие — тоже очень интересен. И потому нам кажется нужным сказать несколько слов о биографии Г. Е. Евдокимова. Григорий Еремеевич Евдокимов, старый большевик, рабочий (р. 1884). С 15 лет — матрос. В партию вступил в 1903 г. Как подпольщик был несколько раз арестован. В 1915 г. был сослан на 4 года в Верхотенский уезд. После февральской революции — агитатор Петроградского комитета. Во время Октябрьской революции — активный большевик. В годы гражданской войны был начальником политотдела 7 армии. С 1922 г. — председатель Петроградского совета проф. союзов, зам. председателя Петроградского совета и ЭКОСО. Был членом комиссии партийного контроля. В 1925 г. — секретарь Ленинградского комитета партии. Позднее — член ЦК партии. На XIV съезде — один из руководителей оппозиции. Как фракционист-троцкист исключен из ЦК, а затем из партии. В 1928 г. восстановлен в партии. РЕД.

Мне хотелось бы коснуться отношения заключенных, бывших «партийцев», к религии. Среди них были такие, которых этот вопрос занимал, хотя они и не высказывались открыто из-за осторожности. Были, конечно, и другие, многие даже в условиях заключения продолжали провозглашать себя «воинствующими безбожниками». И когда им приходилось сталкиваться с верующими, они относились к ним, с подчеркнутой враждебностью. Это были закоренелые партийцы-карьеристы.

Были, однако, люди, хотя и немногочисленные, но совершенно другого рода, другого отношения к вопросам веры и религии. Мне хочется рассказать, в частности, об одной моей такой встрече за полярным кругом, в Норильске. Но прежде всего — об «обстановке».

В Норильск я попал в 1940-ом году, по дополнительному приговору «особого совещания». Я был переведен туда из закрытой тюрьмы на Соловках. Сначала я попал на «общие работы». В климатических

условиях Норильска это было очень тяжелым испытанием. Ведь температура там в зимние месяцы нередко доходит до 55 градусов ниже нуля, а ветер зачастую дует со скоростью 30 м/сек. Общие работы продолжались от темна до темна (т. е. гораздо дольше, чем светлая часть дня). Светло же бывало с 11 часов до 1 часу дня. Так в темноте, или в сумерках, на жестоком морозе, работали люди, часто даже мало приспособленные и вообще-то к физическому труду. Конечно, в моем случае долго так продолжаться не могло. И на этот раз мне помогла счастливая случайность.

В Норильск приехал из Москвы бывший следователь по моему делу, фамилия его Ильюшенко. Ильюшенко назначили начальником 3-его отдела (т. е. политического). Конечно, после работы в Москве это была высылка и для него, но на несколько ином уровне. Благодаря вмешательству, или покровительству Ильюшенко, по «спецнаряду», я был переведен на работу в «проектный отдел», по современному — в отдел специальных проектов. Этот отдел в Норильске был примерно то же, что описано «В круте первом» у Солженицына. (Для меня, правда, «круг» этот не был ни первым, ни последним).

В этот «круг», как и описано у Солженицына, попадали «сливки общества». В первую очередь, конечно, технические специалисты и ученые, а заодно с ними и просто «интеллигенты». Знающие, например, иностранные языки. Меня назначили экономистом. Хотя «экономика» тогда была неведомой мне пустыней. На норильской «шарашке» мне довелось повстречаться с интереснейшими, незаурядными и разносторонне образованными людьми. Жили мы на особом режиме, все вместе, в кирпичных зданиях, а не в бараках, как другие заключенные. У многих был огромный интерес к жизни в «большом мире», в особенности за границей. Разговорам, как и в солженицынской «шарашке», не было, кажется, конца. Множество интереснейших бесед было у меня со старыми партийцами, с теми, кто были в числе делавших октябрьскую революцию.

К сожалению, память сохранила далеко не все. Но кое-что сохранила. Припоминаю, например, как однажды, когда дело шло к «отбою», пришел один из моих знакомых и сказал, что со мной хочет познакомиться один заключенный, в комнате на 3-ем этаже. И нам будет интересно поговорить. Я пошел туда. Встретил меня человек замечательно крепкого сложения, еще не старый. Русоволосый, словом, как с картины «русские богатыри».

Инженер, который нас свел, сказал, уходя: «Вот вы оба состоите в одной партии. Потолкуйте-ка обо всем!» Фамилия моего собеседника была Г. Е. Евдокимов. Евдокимов был в партии еще до революции. Он был из рабочих. В Петрограде попал в «партактив». В 1917-ом году был «по особым поручениям». Выполнял некоторые «особо опасные» поручения. Я спросил его, значит ли это, что он был в «органах», но, кажется, не получил прямого ответа. Евдокимов

предпочитал на эти темы не разговаривать. После гражданской войны он был выдвинут на руководящую работу. В середине 20-х годов Евдокимов был — член комиссии партийного контроля.

После «анкетных данных» наступила наиболее интересная часть разговора, то, для чего нас и познакомили. То, в чем у нас было что-то, хоть и далекое, но общее.

Разногласия с линией партии впервые возникли у Евдокимова в самом конце 20-х годов. В отличие от меня и от огромного большинства партийцев Евдокимов был исключен из партии по собственной инициативе, по «приказу совести», как он это понимал. Евдокимов отдал свой партбилет и по собственному желанию сделался «честным беспартийным». А впоследствии — и идеологическим противником линии партии. В основе этого лежали пробудившиеся у него религиозные настроения, возврат к православной религии и несогласие с воинствующим атеизмом и с атеизмом вообще, бывшим в основе партийного курса.

Смущенно улыбаясь, Евдокимов достал и показал мне небольшую книжку. — «Вот моя идеологическая платформа», — сказал он. Это было Евангелие с тисненым на обложке Распятием. Евангелие это было связью его с Православной церковью в ее самом широком аспекте. Его обращение к вере было последним, неожиданным результатом той дискуссии, которая развернулась в партии после смерти Ленина, и несколько раньше — в последние годы его жизни.

Евдокимов принимал близкое участие в дискуссиях, связанных с «рабочей оппозицией», а также со сторонниками демократического централизма («децисты»). Каким образом эти дискуссии завели его так далеко, трудно сказать. Однако, по рассказу Евдокимова, все оппозиционные лозунги казались ему далеко недостаточными. Он видел слабость партии в том, что даже и в дискуссиях людям не удавалось подойти к «коренным вопросам». Как ни странно, в первые годы после выхода из партии Евдокимова «не трогали». Он на некоторое время уехал из Москвы в деревню. В начале 30-х годов он снова работал на электrozаводе в Москве. Он говорил, что не только он, но и некоторые рабочие и сотрудники администрации читали Евангелие и посещали церковь. Поводом к его аресту было заявление, поданное на него одним из работников завода. Он был арестован, получил статью 58-8 (в то время как раз на его беду ощущался дефицит в «террористах»). Был приговорен к 10-ти годам в 1936-ом году. Убеждения его даже не были включены в обвинительное заключение, представленное Особому совещанию. «То, что ты православный нас меньше всего касается, — заявил ему следователь. — У нас по конституции — свобода религии. Конечно, удивительно, что ты, знакомый с основателями нашего государства, попал в такое изуверство. Надеемся, что лагеря тебя подлечат».

О дальнейшей судьбе Евдокимова мне, к сожалению, ничего не

известно. Знаю только, что весной 1942-го года он значился в списках «на дальний этап».

И. М. Бергер

ПИСЬМО А. И. СОЛЖЕНИЦЫНА

Мы получили из СССР копию письма А. И. Солженицына, которое связано с празднованием его 50-летия, что было отмечено во всем мире, за исключением СССР и его «братских» республик. Приводим полный текст этого письма. РЕД.

В редакцию «Литературной Газеты».

Копия — в журнал «Новый Мир».

Я знаю, что Ваша газета не напечатает единой моей строки, не придав ей искажительного или порочного смысла. Но у меня нет другого выхода ответить моим многочисленным поздравителям иначе, как посредством Вас:

Читателей и писателей, приславших поздравления и пожелания к моему 50-летию, я с волнением благодарю. Я обещаю им никогда не изменить истине. Моя единственная мечта — оказаться достойным надежд читающей России.

А. Солженицын,

Рязань, 12 декабря 1968 года.

ОТВЕТ НА ОТВЕТ ПРОФ. Н. УЛЬЯНОВА

В моих заметках «На полях статьи профессора Ульянова 'На гоголевские темы'» («Н. Ж.», 96) я только хотел обратить внимание на то, что проблема влияния Пушкина на Гоголя и в особенности вопрос «Кто подлинный создатель 'демонического' Петербурга» (это подзаголовок статьи Ульянова) не так уже неизвестны, как это кажется автору. Я упомянул несколько ученых, которые об этом писали и писали как о вещах довольно известных.

Но оказывается, что я не имел права упоминать имена этих ученых, ибо они писали «не на эту тему». Так как в ответе Ульянова есть нападки на ученого, который не может уже сам ответить, я вынужден сказать еще несколько слов.

Ульянов пишет: — «В проблеме литературного родства Пушкина с Гоголем не вносит искры нового света ни один из названных Фолеевским авторов (Мережковский, Томашевский, Мирский, Ледницкий). Они попросту не касаются этой темы». Но я ведь в моих заметках вообще не входил в то, кто что сказал *нового*, а только сказал, что тема эта довольно известна. Когда Томашевский говорит, что «система Гоголя выросла из системы Пушкина», разве это «не

на эту тему»? Когда Ледницкий приводит, что писал Ходасевич о «борьбе человека с демонами» в «Медном всаднике», когда Мирский (м. п. не считая даже нужным сослаться в связи с этим на Ходасевича) говорит о «страшной, демонической, нечеловеческой победе Петра над бедным бунтовщиком», то разве это «не в связи» с темой демонического Петербурга Пушкина и Гоголя?

Особенно я не могу оставить без возражения такие утверждения проф. Ульянова: — «Никакого собственного вклада не видим и у Ледницкого. Но профессор Фолеевский так усложнил эту фигуру, что под его пером она впрямь выглядит создательницей интересующей нас версии в пушкинистике. Недостаток места не позволяет мне рассказать, как Ледницкий, не в пример академически-честному Мирскому не только не признает заслуги Ходасевича, но все делает, чтобы устранить его и его открытие из своего обихода. В польской своей работе, написанной через 16 лет после статьи Ходасевича, он даже не упоминает его имени, а в английской привлекает внимание читателя не к статье об «Уединенном домике на Васильевском», а к другой, имеющей лишь косвенное отношение к нашей теме».

Странно говорить, что я делаю Ледницкого создателем «интересующей нас версии». Я упомянул Ледницкого, как одного из тех, которые писали о демонизме Петербурга Пушкина и Гоголя. Я говорю о «большом материале», как раз потому, что этот материал существует и Ледницкий в своей последней книге о «Медном всаднике» его приводит (библиография, цитаты), но не делает вид, что он открывает Америку.

Мирский в своей дискуссии о демонизме в «Медном всаднике», так же как и Ледницкий в своей «польской» работе об этой поэме, не упоминает Ходасевича. Ледницкий упоминает других (Мережковский, Анциферов), которые писали о трагических аспектах «города Марса и Аполлона».

В английской же работе о «Медном всаднике» Ледницкий цитирует отрывок из статьи Ходасевича, как самый лучший синтез сложных вопросов поэмы. Один из этих вопросов: “The Bronze Horseman is one of the links in the chain of Pushkin’s Petersburg Tales, representing the *struggle of man with demons*”. Разве это тоже «не на тему»?

В связи с возможностью отзвуков польского восстания и влияния Мицкевича на поэму Пушкина, о чем писали такие ученые как Спасович, Третьяк, Ледницкий, Ульянов говорит: «При таком взгляде опасно было предоставлять право голоса Ходасевичу». Это неправда. Не только Ледницкий не побоялся предоставить голос Ходасевичу на тему демонизма «Медного всадника», но в этой же самой цитате мы видим, что Ходасевич вовсе не побоялся «увлечь в сторону и исказить всю тональность своей версии», предоставив голос «польской версии»:

“One cannot forget, however, that *The Bronze Horseman* at the same

time echoes the events in Poland in 1831, that the revolt of Eugene against Peter might symbolize the rebellion of Poland against Russia...

... And finally, we would not be wrong in paying a deserved tribute to the introduction of the poem, with its allusions to Mickiewicz, as an example of a brilliant polemic”.

З. Фолеевский

ОТВЕТ ПРОФ. З. ФОЛЕЕВСКОМУ

«Ответ на ответ» бывает понятен, когда сопровождается новыми мыслями и аргументами. Но повторение одного и того же вряд ли его оправдывает. Опять ссылки на «нескольких ученых», писавших о гоголевско-пушкинских сюжетах, «как о вещах довольно известных», но ни одного ответа на мои возражения по поводу этих писателей. И опять цитаты, употребляемые, порой, чисто механически. В предыдущем моем ответе проф. Фолеевскому я доказывал несостоятельность одного из его утверждений и привел выдержку из Томашевского; с удивлением вижу сегодня эту выдержку в его «ответе на ответ», где она приспособлена к тезису прямо противоположному высказываниям Б. В. Томашевского.

Это не говорит об академическом интересе дискуссии. Похоже, что тут есть стремление во что бы то ни стало приписать Ледницкому примат в том открытии, которое сделано не им. Негодуя на то, что я не упомянул в своей статье имя Ледницкого, проф. Фолеевский не захотел принимать во внимание характер моей статьи, к которой ни книга Ледницкого, ни высказывания «нескольких ученых», указанных Фолеевским, не имеют отношения. Не от них исходил стимул наблюдений над гоголевским сюжетом. Стимулом была работа Ходасевича об «Уединенном домике на Васильевском», замалчиваемая Ледницким. Там ясно показано, что Пушкин поселил в Петербурге не байронического, не лермонтовского демона, а гоголевского чорта с хвостом и рогами. Найдите его у Ледницкого.

В подзаголовке моей статьи, правильное было бы назвать Петербург не «демоническим», а «диаблическим» или «инфернальным». Тогда бы не было соблазна смешивать «чертовщину» Ходасевича с «демонизмом» Ледницкого.

Но неужели эта терминологическая схоластика всерьез занимает проф. Фолеевского?

Н. Ульянов

БИБЛИОГРАФИЯ

Н. О. ЛОССКИЙ. *Воспоминания. Жизнь и философский путь*. Вступ. статья В. Н. Лосского. В. Финк Ферляг. Мюнхен. 1968 (334 стр.).

Редактор этой книги, В. Н. Лосский, сын философа, называет ее автобиографией. Такой она и является, хотя читатель, судя по названию, склонен был бы занести ее в класс чисто мемуарной литературы. «Воспоминания» заключают в себе элементы семейной хроники, автобиографии и систематического изложения развития философского мировоззрения автора. Отсюда проистекает некое смешение планов повествования: биографическая струя пересекается часто струей чисто философской. Для философски образованного читателя это не недостаток; читатель же среднего уровня испытывает некие перебои в напряжении внимания и заинтересованности.

Не имея возможности в краткой рецензии обсуждать философское учение автора, ограничимся только рассмотрением чисто биографического материала.

Стиль писания отражает в себе темперамент, характер, профессиональные особенности пишущего. Напр., мемуары артистов, художников, писателей, вообще людей, занимающихся искусством, должны отличаться изобразительной живостью; в мемуарах политиков и общественных деятелей чувствуется живой ритм борьбы, конфликтов, динамика волнующих социальных явлений. И одним, и другим, присуща некая страстность, и простительна даже — при страстность: портреты людей, живописуемых ими, должны быть яркие, выразительны. Философам, наоборот, должна быть свойственна добродетельная умеренность суждений, объективность и взвешенность оценок... Воспоминания Н. О. Лосского именно и обладают таким целомудренным достоинством.

Род Лосских древнего, польского происхождения. С XVII века Лосские проживали в Белоруссии, Витебской губ. Дед Николая Онуфриевича был униатским священником, а мать — католичкой; отец же, и все братья и сестры, — православные. Все члены семьи Лосских чувствовали себя русскими. Когда позже, после революции, Н. О. Лосский мог получить кафедру философии в Польше, он отказался от этого предложения, так как предвидел, что ему, русскому, среди поляков будет стеснительно, из-за его происхождения. Лосские всегда питали симпатию к своим польским родственникам, в них отсутство-

вала национальная нетерпимость и шовинизм. Правдивостью, открытостью и расположением к людям, независимо от их вероисповедания или национальности отличался характер Н. О. Лосского уже с детства.

В гимназии, по своему душевному и интеллектуальному складу, он принадлежал, скорее, к типу одиночек. Все свое свободное время он посвящал самообразованию, чтению, изучению языков. С детства он полюбил природу и сохранил эту любовь на всю свою долгую жизнь. Другой отличительной чертой его характера была исключительная деликатность. Он вспоминает, что оценивая человека, он никогда не произносил резких слов осуждения и даже мысленно не решался формулировать их. Это сказалось и во всей последующей жизни: даже говоря о противниках, он всегда выражается мягко и осмотрительно. Воспитывая свою волю по отношению к себе, он не был волевым человеком по отношению к другим.

В семье Лосских было несколько трагических случаев. Отец умер от разрыва сердца, когда мальчику было всего лишь одиннадцать лет; в разное время скончались самоубийством его два брата и сестра.

Усиленная работа над самообразованием принесла плоды, когда ему пришлось зарабатывать на жизнь уроками и лекциями. Блестящие успехи в высших учебных заведениях награждены были государственными стипендиями. Но еще до того, как он поступил в университет, ему пришлось испытать довольно горя и нужды, когда он попал на некоторое время за границу.

В Петербурге Н. О. Лосский поступил на естественно-научное отделение физико-математического факультета, а с четвертого курса проходил параллельно и историко-филологический факультет, специализируясь по философии. Участвуя в занятиях философского кружка, Н. О. Лосский познакомился с М. Н. Стоюниной, основательницей и директрисой известной во всей России женской гимназии. Он начал бывать в доме Стоюниных, затем преподавал латынь, логику и психологию в этой гимназии. Позже он женился на дочери Марии Николаевны, Людмиле Владимировне. Интересны воспоминания его (из первых рук), об организации и жизни этого передового, прекрасно поставленного учебного заведения.

Ученая карьера автора «Воспоминаний» представляется очень внушительной и по количеству написанных и изданных трудов и по многообразной профессорской деятельности. Лосские пережили тяжелые годы войны и революции в России, и затем, в 1922 г., вместе с группой других видных ученых и мыслителей, были высланы большевиками за границу. Заграницей — профессора в Чехословакии (23 года), затем Париж, Соединенные Штаты, затем снова Франция... Много заграничных поездок, много ученых трудов, много интересных встреч... и так все время, почти вплоть до кончины. Умер Н. О. Лосский в 1965 г. в возрасте 95 лет и похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа, в этом русском Некрополе.

В этой краткой рецензии я хочу все-таки отметить две-три вещи. Н. О. Лосский описывает печальные события 1935 г., развернувшиеся вокруг богословского творчества о. Сергия Булгакова. Сам философ занимает правильную позицию относительно формальной, так сказать, процессуальной, стороны спора, но, согласно своему миролюбивому характеру, старается смягчить некие черты и детали этого спора. И это не удивительно, так как одним из главных зачинщиков всей истории был его старший сын, Владимир. Объяснения, даваемые Николаем Онуфриевичем, имеют целью защитить и оправдать своего сына, но они не совсем убедительны. Письмо же Владимира Николаевича Лосского, приведенное «ин экстензо», оставляет впечатление пристрастного и тенденциозного письма. Имена таких представителей русской науки и культуры, как о. Сергия Булгакова, о. Василия Зеньковского, Бердяева, Вышеславцева, Карташева и друг., порицавших грустную инициативу Св.-Фотиевского Братства, говорят сами за себя. Кстати, «номен омен»: название этого Братства, по ассоциации с именем известного архимандрита Фотия, навевало некие аналогии из истории русской Церкви.

В перечне книг и статей, напечатанных при жизни философа, я не нашел «Общедоступного введения в философию», изданного в 1956 г. («Посев», Франкфурт на М.). Статья п. н. «Христианство и буддизм» была напечатана в Богословском сборнике Св.-Тихоновской Духовной Семинарии (вып. IV, 1958), который я в то время редактировал. В той же типографии была напечатана статья «Учение отца Сергия Булгакова о Всединстве и о Божественной Софии» (1959).

И еще одно замечание. На стр. 148 «Воспоминаний» Н. О. Лосский пишет: «Спор, который произошел по поводу моего доклада, был образцом того, как трудно новому направлению пробить толщу привычных представлений и **быть хотя бы точно понятым**» (подчеркнуто мною, И. Г.). «Мутатис мутандис» это применимо к самому автору. В 1954 г. у меня была переписка с Н. О. Лосским по поводу триадической философии,* переписка, имевшая характер полемики. У меня сложилось впечатление, что мой маститый оппонент не пожелал вникнуть в суть дела, чтобы **точно понять** характерную особенность нового триадического течения в философии, хотя в одном из писем ко мне писал: «Я согласен с Вами, что Гоэнэ-Вронский замечательный философ. Многие учения его в высшей степени ценны...». В своих «Воспоминаниях» Н. О. Лосский скрупулезно отмечает всякие философские встречи, личные и письменные. Почему-то он не счел нужным упомянуть об этой полемике.

Воспоминания Н. О. Лосского обрываются в конце 1958 г. В 1960 году ему минуло девяносто лет, и, как пишет в примечаниях сын философа, «это была грань, за которой богатая восприятием впечатлений и внутренне осмысленная жизнь очень скоро превратилась

в тусклое и тягостное существование». Мощный мозговой аппарат, так напряженно и плодотворно работавший в течение столь многих лет, начал сдавать. Со смертью Н. О. Лосского русская культура лишилась человека, выдающегося не только своим интеллектуальным творчеством, но и всей своей жизнью, в которой он сочетал мудрость с добродетелью.

Игумен Геннадий (Эйкалович)

* См. статью «Триадическая философия Гознэ-Вронского» в 97-й кн. «Нового Журнала».

ДМИТРИЙ КЛЕНОВСКИЙ. *Стихи.* Избранное из шести книг и новые стихи. Изд. Междун. литературн. содружества. Мюнхен, 1967.

Однотомник стихов Кленовского дает возможность обозреть и оценить творческий путь поэта за последние 20 лет. Это издание — результат взыскательного авторского отбора и поэтому имеет совершенно особое значение, как для русской поэзии в целом, так и для самого автора. В связи с этой книгой я хотел бы высказать ряд соображений о художественной проблематике Кленовского и его месте в русской поэзии.

Основным приемом Кленовского является закрепление ярко пережитой и скульптурно оформленной художественной детали в рамках религиозно-идеалистического мирозерцания. Поэт постоянно ощущает себя на грани или у порога того бытия, которое именуется вечностью. Одновременно в творчестве Кленовского ярко звучит любовь к жизни, своеобразная упоенность жизнью. При отборе художественных впечатлений огромную роль для поэта играет память, не помять в смысле простого припоминания, а память в смысле творческой преображающей стихии. Память поэта как бы сама творит образы и осмысливает их в плане крупного эстетико-философского синтеза. При анализе художественного творчества Кленовского именно творческую функцию памяти следует выдвинуть на первый план. Одним из основных качеств Кленовского является способность ярко пережить и с предельным мастерством закрепить пережитое в образе. Кленовский — великолепный мастер стиха. Раз увиденное и пережитое под его пером сохраняет всю непосредственность и свежесть художественного впечатления и, кроме того, приобретает черты вневременности, черты классичности в самом истинном смысле этого слова. Характерная для Кленовского акмеистическая манера сближает его именно с классицизмом (вплоть до античности), а связь с гумилевско-ахматовской традицией, хоть она и налицо, играет для оценки творчества Кленовского значительно меньшую роль. При всех преемственных связях с акмеизмом очень большую роль играет,

конечно, то, что Кленовский живет совсем в иную эпоху, чем акмеисты.

Одна из художественных заслуг акмеизма — классическая преемственность этой школы. Классическая преемственность (в данном случае имеется в виду французский классицизм, но не только он, а и принципы античной поэзии) организует, оформляет, оскультурирует художественное мышление поэта-акмеиста. Но поэт-акмеист кроме того прошел школу романтизма, с ее утонченным психологизмом, с ее философичностью, с ее религиозной проблематикой. Поэзию Кленовского следует рассматривать не столько на фоне акмеизма, сколько вместе с акмеизмом на пересечении классицизма и романтизма. Таким образом Кленовский окажется в русле пушкинско-гетеанской традиции, обогащенной опытом 20-го века.

Во французской поэзии Кленовского можно сопоставить с Андре Шенье, творчество которого в общем определяется теми же координатами, конечно, с поправкой на время и индивидуальную тематику.

Рамки рецензии не позволяют полностью охватить творчество Кленовского. Книга его говорит сама за себя. Приводимые ниже, почти произвольно взятые выдержки, могут иллюстрировать только одну сторону творчества поэта — его классико-романтическую преемственность:

Двоился лебедь ангелом в пруду.
Цвела сирень. Цвела неповторимо!
И вековыми липами хранима
Играла муза девочкой в саду.

Вспомним ивы, овсы, малину
Между пнями на солнцепеке,
Бархат полночи соловьиной,
Колокольчик голубокий.

Если мальчик бредет из школы
И, насупившись, смотрит вбок —
Подари ему нож веселый,
Смастерить ружье и свисток.

Каждое из этих четверостиший, помимо своей свободной и широкой лиричности, отмечено пронзительной остротой писательского зрения в соединении с высоким классико-акмеистическим мастерством. Тема памяти оправлена в формы почти античной строгости и пластичности. Великолепное стихотворение «Пирог с грибами стынет на столе» развивает ту же тему в соединении с темой художественного мастерства. Концовка подводит итог:

Уменью жить цезурой стиха,
Как эти вот дворцы, аллеи, шлюзы,
Как тот кувшин в бессмертных черепках,
Откуда пили ласточки и музы.

В этом стихотворении имеется в виду известная статуя в Царско-сельском парке, описанная Пушкиным.

Блестящим образцом поэтического мастерства Кленовского является стихотворение о подснежнике:

Подснежник узкой льдинкою в горсти,
Как та, чер~~ез~~з которую прошел он.
Еще он весь морозной тайны полон,
Морозной тайны своего пути.

И пальцы холода прикосновеньем
Мне греет сердце медленный цветок,
Который лишь терпеньем превозмог
Всю невозможность своего рожденья.

Соединение тончайшего лиризма с предельной ясностью и классичностью формы является характернейшим признаком поэтического почерка Кленовского. В однотомник включены избранные стихи из шести книг. При этом сохраняется тематическая задуманность и порядок расположения стихов. Каждый сборник Кленовского представляет собой законченное целое. Во всех звучит сквозная религиозная тема, а также тема художественно-символического осмысления космоса:

В каждой капле, камешке, листе
Шумный космос дремлет изначален.
Оттолкнулся — и глядишь, причален
К самой невозможной высоте.

В этих стихах — художественно-философское обобщение поэзии Кленовского. В них ключ ко всему его поэтическому мирозерцанию. Однотомник Кленовского — след жизни крупного поэта, жизни вдумчивой, глубокой и плодотворной.

Олег Ильинский

HARRISON E. SALISBURY. *The 900 Days. The Siege of Leningrad.*
Harper & Row, Publishers. New York. 1969. 635 pages.

Гаррисон Солсбери написал замечательную книгу о блокаде Ленинграда. Свой большой труд он начал вскоре после 27 января 1944 года, когда советские войска окончательно разомкнули кольцо блокады. Побывав в Ленинграде в первые же дни после снятия осады,

Солсбери беседовал с жителями города, рассказавшими ему об ужасах и страданиях, которые выпали на их долю. Жители города и участники боев — первоисточник книги. Но дальнейший материал, собиравшийся в течение лет и послуживший написанию книги, чрезвычайно велик. Помимо пяти официальных трудов об осаде Ленинграда, автор использовал 320 книг, вышедших после смерти Сталина и принадлежащих перу советских генералов, адмиралов, писателей, поэтов, журналистов; около 180 статей из советских газет и журналов; больше 50 книг иностранных авторов.

Казалось бы, зачем такая обширная библиография? Ответ ясен из слов автора — ни одна из официальных историй не объясняет полностью всего происшедшего. В одной что-то замалчивается; в другой делается упор на отдельные стороны событий; в третьей факты «смягчаются». Нужен некий «перекрестный допрос». И даже многочисленные сопоставления неясных и спорных мест все же не дают возможности воссоздать совершенно точную картину страшной трагедии Ленинграда.

В своей книге Солсбери не навязывает своих мнений. Он предлагает читателю многочисленные факты и документы. Подает их просто и убедительно. И вместе с тем, несмотря на кажущуюся перегруженность, захватывающе интересно. Каждая глава книги прекрасно написана.

В белые ночи 1941 года никто из жителей Ленинграда не предполагал, что так скоро придут кошмары блокады. Каждый был занят своим делом, беспечность поддерживалась Сталиным и советской печатью, убавкивавшей людей июньским заявлением ТАСС. Лишь некоторые военные — нарком военно-морского флота адмирал Н. Г. Кузнецов, командующий Балтийским флотом адмирал В. Ф. Трибуц, генерал армии К. А. Мерецков и другие, пытались как-то исподволь подготовиться к отражению гитлеровского нашествия. Но при отношении Сталина к вопросу о войне с немцами их скромные усилия больших последствий не имели.

Солсбери наглядно показывает, как дело дошло до осады Ленинграда. Главная вина — на Сталине, который был глух ко всем предупреждениям о близящемся нападении Гитлера на СССР. Солсбери собрал огромное количество сведений об этом, и перечень этих данных представляет по сути дела обвинительный акт против «отца народов». Начиная с конца 1940 года, со всех сторон поступали тревожные сведения. Отметим только некоторые.

29 декабря 1940 г. советской разведке стали известны основные линии плана «Барбаросса», включая приблизительную дату начала военных действий. В конце января 1941 года японский военный атташе в СССР Ямагучи, вернувшись из Берлина в Москву, поделился своими впечатлениями о поездке с видным советским моряком и

высказал ему свое мнение о близости вооруженного конфликта между Германией и СССР. 30 января эта информация была доведена до сведения Ворошилова. 7 февраля Сталин был извещен о том, что немцы устанавливают береговую и зенитную артиллерию в болгарских портах Варна и Бургас и готовят эти порты на случай войны. В то же время штаб Ленинградского военного округа сообщил в Москву о передвижениях немецких войск в Финляндии и о беседах немцев со шведами о пропуске войск через Швецию. 15 февраля рабочий немецкой типографии принес в советское консульство в Берлине немецко-русский разговорник, явно предназначенный для армии, которая должна была вскоре вторгнуться в СССР. Ежедневные бюллетени Генерального штаба и Морского штаба перечисляли многочисленные факты, указывавшие на усиленную подготовку немцев к войне с СССР. Частые полеты разведывательной авиации немцев отмечались советскими гарнизонами в Либаве, Таллине, Риге и других городах.

По собственному почину адмирал Кузнецов приказал зенитной артиллерии стрелять по разведчикам. Но, узнавши об этом, Сталин, в присутствии Берия, отменил приказ Кузнецова. 22 марта НКВД располагал сведениями о концентрации 120 немецких дивизий вблизи советских границ. Советский военный атташе во Франции, генерал Суслопаров, сообщал в Москву о том, что нападение немцев состоится в конце мая. Знаменитый шпион Рихард Зорге сообщал 5 марта о дате нападения — середина июня. 15 мая тот же Зорге уточнил свои сведения, указав 20-22 июня как дату начала военных действий. И уже в самый канун роковой даты со всех сторон в Москву шли тревожные сообщения из разных источников, в том числе от послов в Берлине Деканозова и из Лондона от Майского. Хотя сведения, приходившие из различных и даже антагонистических источников, говорили об одном и том же, Сталин не предпринял ничего для защиты страны от немецкого удара. Вполне основательно Солсбери пишет: «Сталин не мог бы иметь более точной, более подробной, более исчерпывающей информации. Кажется, ни одна страна в мире не была так хорошо осведомлена о грозившем ей вражеском нападении».

Отсюда и последствия — быстрое продвижение немцев на всех фронтах вообще, и немецкой группы армий «Север», в частности, по направлению к Ленинграду. Благодаря Сталину, некоторые части Красной армии были захвачены немцами в казармах без единого выстрела.

Преступный «просчет» Сталина усугубился рядом непредвиденных обстоятельств. Так, оказалось не на высоте командование Северо-Западного фронта, прикрывавшего дальние подступы к Ленинграду. Генерал-полковник Ф. И. Кузнецов, знавший от расположен-

ных на границе частей о близившемся нападении немцев, не вырабатал плана защиты. Не было у него и какого-либо плана эвакуации учреждений и гражданского населения из Прибалтики. Под впечатлением немецких ударов и вызванного ими хаоса, Кузнецов растерялся и выпустил из рук управление крупными массами войск. Его приказы не соответствовали боевой обстановке. Впрочем, такая же картина наблюдалась и на других фронтах.

В течение первых трех недель войны из 31 дивизии армий ген. Кузнецова (8-й, 11-й и 27-й) 22 дивизии потеряли в боях свыше 50% своего состава. Под непрерывными ударами немцев, советские войска быстро откатывались к Ленинграду. На короткое время, при поддержке подошедших из Ленинграда резервов, они задержались на реке Луге. Но уже в середине августа, после жестоких боев, наскоро устроенная на Луге оборона была прорвана войсками фельдмаршала фон Лееба. Начались бои в окрестностях Ленинграда. 2 сентября станция Мга под Ленинградом оказалась в руках немцев. Закрепившись здесь, немцы двинулись дальше на север. 8 сентября взяли Шлиссельбург. И кольцо блокады замкнулось.

Но «просчет» Сталина и роковые ошибки советского командования не были единственными причинами ленинградской трагедии. Первый секретарь Ленинградского обкома А. А. Жданов, второй секретарь А. А. Кузнецов и председатель исполкома Ленсовета П. С. Попков проявили чрезвычайную неадаптивность и не озаботились своевременной эвакуацией гражданского населения из Ленинграда. В начале блокады, не считая войск, в Ленинграде проживало около 2.887.000 человек. Незадолго до взятия немцами станции Мга, 27 августа в городе имелось: муки на 17 дней, круп на 29 дней, рыбы на 16 дней, мяса на 25 дней, сушеной рыбы на 22 дня и сливочного масла на 28 дней. Но и по этому небольшому запасу продовольствия немцы сумели нанести сокрушительный удар. 8 сентября немецкие самолеты сбросили сотни зажигательных бомб и подожгли деревянные здания складов. Вскоре в Ленинграде начался голод.

Единственный путь доставки продовольствия пролегал по водам, а зимой по льду Ладожского озера. Но здесь не было ни нужного количества судов, ни причалов, ни помещений для складов. Для организации снабжения этим путем требовались время и большие усилия со стороны военных и гражданских властей. Поступавшее водным путем продовольствие было количественно ничтожно для вымывавшего Ленинграда.

С фотографической точностью Солсбери описывает ужасы голода — людоедство, черный рынок, грабежи, груды трупов, похороны умерших на детских салазках в гробах и без гробов. А рядом едва теплящаяся жизнь еще живых, пытающихся как-то добыть кусок хлеба и в то же время занятых своей обычной работой в учреждениях города.

Страшен своей лаконичностью дневник 11-летней школьницы Тани Савичевой: «Женя умерла 28 дек. в 12.00 утра 1941 г.» «Бабушка умерла 25 янв. в 3 ч. дня 1942 г.» «Лека умер 17 марта в 5 час. утра 1942 г.» «Дядя Вася умер 13 апр. в 2 часа ночи 1942 г.» «Дядя Леша 10 мая в 4 ч. дня 1942 г.» «Мама 13 мая в 7.30 час. утра 1942 г.» «Савичевы умерли все». Но Таня была спасена и весной вывезена из Ленинграда. Правда, от перенесенного голода и она не оправилась и умерла летом в детском доме в окрестностях Горького. А сколько тысяч семей погибли в эту страшную голодную и холодную зиму 1941-1942 гг.? Солсбери приводит советскую официальную цифру — 632.253 человека от голода и 16.747 человек от немецких бомб и снарядов. Сопоставляя ряд других, несомненно более правильных данных, он приходит к заключению, что от голода погибло не менее 1 миллиона человек, а возможно и от 1,3 до 1,5 миллиона человек. Солсбери признает самым честным ответ на запрос шведов, опубликованный в газете «Красная Звезда» 28 июня 1964 года: «Никто не знает точно, сколько людей умерло в Ленинграде и в Ленинградском районе».

Советские армии несколько раз пытались разжать кольцо блокады. Четыре попытки были неудачны. В середине января 1943 года Сталин по телефону приказал приступить к «военной игре № 5». Эта игра, известная также как операция «Искра», была проведена войсками генерала Говорова (Ленинградский фронт) и генерала Мерцкова (Волховский фронт). Комбинированными и направленными друг другу навстречу ударами этих фронтов немцы были отеснены от южного берега Ладожского озера. На 506-й день блокады удалось образовать отдушину. Через узкий коридор южнее Шлиссельбурга, насквозь простреливавшийся немецкой артиллерией, советские железнодорожные войска проложили ветку, связавшую Ленинград с Волховским железнодорожным узлом, и 7 февраля первый поезд прибыл в Ленинград на Финляндский вокзал.

Снабжение Ленинграда резко улучшилось. Самое трудное и страшное осталось позади. Но Ленинград продолжал оставаться на линии фронта еще 382 дня, неся потери от немецких авиабомб и снарядов тяжелой артиллерии. Временами обстрел достигал большой интенсивности, вызывая разрушения зданий и жертвы среди населения.

Солсбери несомненно стремился писать объективно, и в этом преуспел. Но в его книге есть один момент, мимо которого пройти нельзя. Описывая одну из попыток прорыва блокады, он касается операций 2-й ударной армии Волховского фронта, которой тогда командовал генерал А. А. Власов. Известно, в какое тяжелое и безвыходное положение поставил эту несчастную армию Сталин. Загнанная Сталиным в топкие болота, эта армия попала в окружение и понесла большие потери. Взятый в плен немцами ген. Власов вскоре

стал главой освободительного движения. Солсбери смотрит на него глазами советской власти: Власов — изменник. Это, конечно, — официальное упрощенчество. Ведь сам Солсбери отмечает антисоветские и, по существу, даже пораженческие настроения в том же Ленинграде. А это говорит о том, что Власов был не один, с ним были миллионы русских людей.

Солсбери отмечает попытки некоторых советских писателей описать правду о 900 днях. Но правда — не по вкусу советской власти, ибо эта правда требовала указаний на преступные «ошибки».

Читатель этой книги, особенно русский, и в зарубежье и в СССР, должен быть признателен автору за собранные им с таким старанием большие и малые крупинки правды о великой трагедии Ленинграда. Правду об этом мученичестве хорошо и ярко написал Солсбери.

Б. Прянишников

GREAT SPY STORIES FROM FICTION. Edited by *Allen Dulles*.
A Giniger Book. Harper and Row, Publishers. New York and Evans-
ton. 1969 (p. 433).

Как-то промелькнуло в газетах, что теперешний начальник американского Центрального Разведывательного Агентства, Ричард Хелмс, свое свободное время проводит за чтением художественной литературы, посвященной политической конспирации, терроризму, шпионажу, провокации. Этим занимался в свободное время и его, недавно скончавшийся, предшественник, известный политический деятель и начальник Си-Ай-Эй Аллен Даллес, брат Фостера Даллеса. Результатом интереса Аллена Даллеса к такой литературе явилась настоящая книга, которую он составил, но выхода ее уже не увидел, скончавшись незадолго до этого.

В своей книге «Выдающиеся истории шпионажа в изображении художественной литературы» Аллен Даллес дает отрывки из произведений 32 писателей разных национальностей (американцы, англичане, русские, французы и даже один римлянин). Самой древней и знаменитой провокацией является, конечно, известный эпизод с «троянским конем» из «Энеиды» Вергилия, отрывок из которой и дает Даллес. За ним идет отрывок из «Виконт де Бражелон» Александра Дюма, есть отрывок из приключений Шерлока Холмса — Конан Дойля, отрывок из Риджарда Киплинга, Сомерсета Моома, отрывок из «Тайного агента» Джозефа Конрада, из «Топаса» Леона Уриса, из «Наш человек в Гаванне» Грэм Грина, из «Темнота в полдень» Артура Кёстлера, из «Птицы падают вниз» Ребекки Вест, из «Секретного пути» Брюса Ланкастера и многих других. Из русских авторов Аллен Даллес взял два отрывка — один из романа «Азеф» Романа Гуля и другой из рассказа В. Набокова из «Набоковской дю-

жины». Из «Азефа», вышедшего в английском переводе (М. Гинзбург) в издательстве Даблдей в 1962 г., Аллен Даллес взял описание собрания ЦК партии социалистов-революционеров в Женеве, когда у ЦК впервые родилась уверенность, что партию предаст какой-то близкий к ЦК провокатор. В кратких предисловиях, которые он дает к каждому отрывку, говоря о писателе и его произведении, А. Даллес говорит о «знаменитых» двойных агентах и, в частности, в связи с Азефом, упоминает о недавнем английском предателе и шпионе Киме Филби. В отрывке из рассказа В. Набокова говорится о темной истории белого генерала-эмигранта, в котором не трудно узнать небезизвестного предателя ген. Скоблина.

Книга, составленная Алленом Даллесом, читается с большим интересом. Отрывки из произведений разных авторов выбраны удачно. Примечания и краткие вступления сделаны тщательно и хорошо.

М. П.

Л. ВЛАДИМИРОВ. *Россия без прикрас и умолчаний*. Изд. «Посев». Франкфурт на М. 1968 (325 стр.).

«Россия без прикрас и умолчаний» — заголовок ответственный. Поэтому, несколько насторожившись, начинаешь читать книгу Леонида Владимиров. В первой главе, говоря о советском «воспитании человекоединицы», автор дает образчик примерного мышления среднего советского человека: «Я живу в необычной стране, где создается совершенно новое общество — коммунизм... Конечно, не все гладко, но со временем все будет... Сейчас уже стало лучше, не сталинские времена... Вот даст Бог, пятилетку выполним да урожаи хорошие пойдут... тогда...» И за этим примером автор тут же пишет: «Пожалуйста, не думайте, будто я написал пародию или привел мысли какого-нибудь тупицы. Отнюдь нет». Ведь даже Синявскому «становится противно говорить непочтительно о советской власти». В этом смысле автор довольно жестоко пишет и о самом себе: «...если даже я, человек, знающий цену советской диктатуре, прошедший лагеря, эмигрировавший из страны, — если даже я насквозь пропитан «советскими» взглядами, то что же сказать о миллионах других?»

Признаться в своем «советском мышлении» автор не стесняется. И он интересно и убедительно поясняет, как это советское мышление создается и культивируется. Очень буднично, оно «вводится» в человека с пеленок, с советских детских садов. Уже трехлетним ребенком Миша и Ваня знают «массу умильных историй про дедушку Ленина, который был самым лучшим человеком на свете», знают, что «за океаном, в Америке, сидят проклятые буржуи, которые хотят убить коммунистов». — «Из 80 страниц русского букваря 63 посвящены Ленину, партии, советской армии», пишет Владимиров. Так —

со ступеньки на ступеньку — и создается стандартное мышление человека. «В нормальном восприятии абсолютно ненормальных вещей — главная беда моего соотечественника», говорит Владимиров.

Две следующие главы «Его величество рабочий класс» и «Наши славные хлеборобы» рассказывают о партийном поводе для рабочих и крестьян. Автор на примерах и цифрах показывает в каком рабстве держит компартия и рабочих и крестьян. Но четвертая глава — «Опасная наука» — это уже о людях «почти свободных». Их немного, это ученые, упрятанные в города не обозначенные даже на карте, а имеющие только номер. В такой город, находящийся в 2500 милях от Москвы, однажды, как корреспондент научного журнала, не надолго попал Владимиров. Этот город сами ученые прозвали «Китежем». Он засекречен. Его никогда не увидят рядовые советские граждане. А Хрущев, побывав в этом номерном городке, сказал, что такого города он «даже в Америке не видел!» Кратко изложить суть разговора Владимирова с учеными в граде Китеже трудно. Темой его было будущее России. И может быть действительно некоторые читатели согласятся с Владимиром, что в будущем России большую роль должны сыграть люди науки, допускающие, сидя в номерных городах Сибири, возможность перевода нынешней политической и экономической системы в иное «качественное состояние», которое в свою очередь, при известном стечении обстоятельств может когда нибудь перейти в что-то похожее на советскую демократию. Это, конечно, не заговор «против», это предугадываемое направление будущего развития страны, под воздействием научных достижений. Ученые нужны власти, поэтому они и чувствуют себя увереннее, чем рядовые граждане. «Науки в СССР развиваются 'не благодаря', а 'вопреки'», пишет Владимиров. То есть вопреки господствующей идеологии.

Очень интересны главы книги о литераторах и о положении печати — «Творцы подспудных перемен» и «Журналисты — подручные партии». Здесь вскрывается много писательских судеб, называются многие имена, но некоторые почему-то не называются. Например, фамилию небезизвестного литератора-чекиста Льва Никулина (недавно умершего) автор прикрывает прозрачной фамилией «Вякулин». В литературных кругах именно Никулина обвиняли в гибели Бабеля. Об этом среди писателей даже говорились: «Каин, где брат твой Авель? Никулин, где брат твой Бабель?»

В главе о писателях Владимиров приводит интересные примеры рассказов, не напечатанных в СССР типографским способом. Рассказ о лагерных собаках, мне кажется, самым страшным. Хорошо рассказывает автор и о кухне советской печати: как подбираются на первую страницу обязательные портреты «токаря-пекаря» и других «героев труда». Несмотря на описание совершенно рабских условий,

в которых работает советский журналист — подручный партии — в этой главе много остроумия и читается она иногда с невольной улыбкой.

Хорошо, что книга Владимиров переведена на английский язык. Иностранцы узнают много полезного о подлинной, «без прикрас», жизни в СССР. Думаю, что Владимиров и писал книгу с расчетом на перевод, потому что там, где должен бы быть везде СССР, у него стоит — Россия. Русскому читателю это несколько режет глаз, но иностранцы обычно так и пишут.

Предпоследняя глава «Дружба народов» тоже очень полезна иностранцам. Она о расовом и национальном равенстве в СССР. В этой главе это «равенство» предстает во всей своей полноте. Главным образом в этой главе говорится об официальном советском антисемитизме и говорится убедительно. Но вот пример более широкого понимания «дружбы народов» и равенства, существующих в СССР. «Все знают, как важно иметь 'хорошую' национальность в России. Если один из родителей русский, то советоваться не о чем — ясное дело, надо брать эту, самую привилегированную национальность. А если оба родителя не русские, то вопрос решается в зависимости от «качества» национальностей и от места проживания. Скажем, в татарско-украинской семье ребенок будет записан украинцем, а в татарско-еврейской семье — татарин. В армяно-грузинской семье, живущей в Тбилиси, сын или дочь выберут грузинскую национальность. В той же семье, но живущей в Ереване, дети будут армянами». В общем, как пишет Владимиров, в сравнении с СССР, Южная Африка гораздо более гуманное государство. Там политика апартеида провозглашена законом, а в СССР никогда не было ни единого закона о национальных или расовых ограничениях. Но — немцы Поволжья, калмыки, чеченцы, евреи, крымские татары и др. о равенстве и дружбе народов имеют свое понятие.

Последняя глава «Россия в дрейфе», как наверное и задумал автор, должна вселить в читателя некую надежду. Но однако сначала его «пять причин существования строя» приводят читателя в уныние. «В наступление коммунизма не верит больше никто, — пишет Владимиров, — но если коммунизма не предвидится, то это значит, что прошедшие мучительные 50 лет были просто ни к чему». В это советскому человеку и страшно и трудно поверить. По Владимирову, выздоровление, хотя и медленное и мучительное, все же возможно. Россия, по его мнению, находится сейчас в дрейфе, и «дрейф идет в сторону либерализма». Этот «дрейф», как движение материков, мало заметен, но эрозия власти, а главное идеологическая эрозия не дадут дрейфующей льдине остановиться. Она когда-нибудь выйдет «в океан свободы». Такова надежда автора.

Для познания современного СССР книга Владимиров очень цен-

на и читается она с большим интересом. Отметим одну незначительную фактическую ошибку: говоря о М. Шолохове, автор несколько раз называет его казаком. Это неверно. Шолохов родился на Дону, но он из «иногородних».

Т. Петровская

А. ПОЗОВ. *Метафизика Пушкина*. Мадрид. 1967.

Уже заглавие книги говорит о нешаблонном подходе к личности и творчеству Пушкина. И действительно, ознакомление с ее содержанием подтверждает первое впечатление: выражаясь стилем автора, скажем, что это книга controversialная.

Автор влюблен в Пушкина и эта влюбленность звучит фанфарно на протяжении всей книги. И как все влюбленные, автор идеализирует и «эминентизирует» предмет своего интеллектуального и эстетического видения. Вследствие такой восторженности и экстатического любования у него теряется правильная перспектива: предельная «пьедастализация» обретается путем чрезмерного сгущения темных красок фона. Что же получается? Вместо портретов Пушкина и его героини, Татьяны, автор создает их иконы, и некоторые отрывки звучат уже как торжественный акафист!

Беспрерывное восхищение автора, хотя и становится несколько утомительным, однако, само по себе, было бы терпимо, если бы он, попутно, не охаивал всего остального в литературе и в философии нескольких последних веков. К сожалению, он это делает, и делает — пристрастно и разгневанно, не видя, что «там правды не узнать во век, где в сильном гневе человек». Не выражением ли такого гнева является, напр., обзывание Канта «духовным евнухом». То же самое можно сказать о следующем отрывке:

«Некультура увековечена на страницах русской литературы с усердием и талантами, достойными лучшего применения. После пресловутого «смеха сквозь слезы», Салтыков-Щедрин с желчью и ядовитой слюною, Достоевщина с inferнальным бредом и русской истерией, Некрасов с «музой мести и печали», Толстовство и Чеховщина с сумеречными душами и «людьми лунного света», тоской и скукой, босяцкая отрывка у героев Горького, самодурство и семейная тирания у Островского, и алкогольное урчание в желудке у героев Глеба Успенского. Разрушительная работа коснулась и общих идеалов, и вечных ценностей, и тогда появилась грузная фигура неугомонного старика Л. Толстого. «А ты кто?» — «А я всех вас давишь!» — как в сказке Ушинского, и пошел давить всё и всех своими босыми ногами» (стр. 65).

Столь же неожиданны и странны оценки автора западно-европейской философии, которую он определяет как «сборище че-

ловеческих абстракций», а лучших философов называет «тюремщиками мысли», которые «чтобы не ликвидировать философские факультеты в университетах... преподают историю философии, которая есть ничто иное, как история человеческих заблуждений. Эта история учит нас тому, как не нужно мыслить». Позов уважает только трех философов: Сократа, Платона и Аристотеля, и считает, что они сказали в области философии все, что надо и можно было сказать. Начиная с Декарта, по его мнению, философия уже не мудрость, а мудрствование или мудрование. Его неуважение, можно было бы даже сказать — презрение к дискурсивному мышлению, с одной стороны, по форме, напоминает немецкую популярную философию «здорового рассудка», о представителях которой правильно сказал Виндельбанд, что они «произносили свой поверхностный обвинительный приговор над самыми глубокомысленными философскими теориями, и думали, что вполне опровергали последние лишь тем, что показывали, насколько мало сами понимают их»; по существу же, с другой стороны, являет собой присущую славянофилам манеру «свысока относиться к западной философии», которая (манера) «не только не оправдывается всей историей русской мысли, но и по существу неправильна» — согласно свидетельству о. Василия Зеньковского.

Если согласиться с Позовым, что «Метафизика Пушкина» является удобоисследуемой реальностью, то тогда надо было бы поставить в вину всем историкам русской философии, что они не включили в нее Пушкина; если же они правы, тогда не прав Позов, сочетая понятие метафизики с пушкинским творчеством. У самого Позова определение метафизики не четкое, расплывчатое, а иногда и совсем сбивчивое. То он как будто противопоставляет философии метафизику: «метафизика, как и более обширная философия...» — «Органом науки и философии является разум, органом метафизики является духовный ум-нус...», то причисляет ее к философским наукам: «метафизика есть та часть философии, которая...». Там же мы читаем: «это положение... детально развил Аристотель в своей *сверхгениальной* «Метафизике», которая и до сих пор остается первоосновой всякой *подлинной* метафизики и философии» (подчеркнуто мною): здесь уже так сумбурно все накручено, что не каждому и разобраться. Что такое «подлинная метафизика»? Неподлинной, сиречь написанной фальшиво, бывает история (например, история ВКП(б), но в применении к метафизике, признаюсь, я этого эпитета не встречал. Дальше: эпитет «сверхгениальная» — бессмыслен. Гениальность есть высшая творческая способность, скажем «сверхчеловеческая» творческая способность, ну, а что же такое «сверхгениальность»? Затем: в какой это «сверхгениальной» «Метафизике» развивал Аристотель свои положения? Неискушенный в философской области читатель может ложно заключить, что под таким названием

был написан главный философский труд Аристотеля. Но это, конечно, не так, что известно и самому Позову.

Так или иначе, применение слова «метафизика» к Пушкину кажется нам неестественным, неоправданным и ненужным злоупотреблением философской терминологией, на которое сетует сам Позов: — «Называть Пушкина философом в обычном смысле было бы оскорблением памяти величайшего гения. Понятия философии и философа в наше время сильно дискредитированы и больше всего виновны в этом сами философы. Слово философия затаскано, обесценено и опошлено». Что слово «философия» затаскано, отрицать не приходится, но не виновен ли в этом отчасти и сам Позов?

Продолжая свои нападки на западную философию, Позов пишет: — «В новой философии, начиная с Канта, утверждаются дурные нравы и нравы: заимствования идей и мыслей у предшественника или современника, без упоминания имен их». Отведем от Канта сомнительную честь первозачинателя «дурных навыков и нравов», приписываемую ему Позовым. Как известно, плагиатом называется литературное воровство имени, идеи или содержания. Среди писателей, которых Позов уважает и цитирует, встречается Дионисий Ареопагит. Так вот, в творениях сего мужа, кем бы он ни был, имеется плагиат всех трех пород: и имени, и идей, и содержания. Богословской исторической наукой установлено, что автор «Ареопагитиков» жил в начале VI века и как это было тогда в моде, присвоил своим произведениям имя Дионисия Ареопагита, епископа афинского конца I-го века. Понятия: «Единого», божественных выступлений, теофаний, прямых, вращательных и спиральных движений души, специфической триадической терминологии, учения об эросе — все это взято им, тоже «без подания источников» у нео-платоников. И самым поразительным примером плагиата содержания, насколько мне известно, до сих пор никем не замеченного, является отрывок о Красоте, дословно взятый из платоновского «Пира» (Патр. Миня, 701 С, 701 Д и часть 704 А). Такие плагиаты были распространены в первые века христианства и называются они в науке «благочестивыми подлогами».

Особенно часто достается от Позова Толстому и Достоевскому: — «Чудные пушкинские всходы растоптал Толстой своими босыми ногами, а русские просторы огласились истеро-эпилептическими всхлипываниями и воплями героев и героинь Достоевского». Вообще оценки литературного творчества писателей у Позова довольно своеобразны, по крайней мере по отношению к русской литературе. Он пишет, что «гоголевский период» в ней был опасным уклоном в сторону, «чреватый бедствиями», так как «он открыл темные глубины дремлющего подсознания». Но ведь литература не есть руководство по этике и ее задача не ограничивается сеянием «разумного, доброго, вечного». Тем, что Гоголь и Достоевский вскрыли мерзкую область

подсознательного, они никак не предопределили судьбы русского народа, как это утверждает Позов (стр. 66).

Нельзя требовать от литературы лишь дидактичности (разве что от литературы для детей школьного возраста): ее влияние на ход событий не поддается учету. Литература и отражает то, что уже есть, и влияет на то, что осуществляется, но это влияние имеет характер повода, а не причины. В противном случае мы должны были бы стать на детерминистическую точку зрения. К тому же, вскрывание подполя человеческой души имеет терапевтическое значение: об этом свидетельствует, в религиозной области, таинство исповеди, и в области невропатологии — практика психоанализа.

При чтении этой книги чувствуется неясность ее архитектурного плана. Название книги должно бы было быть ее лейтмотивом, второстепенные моменты не должны бы были перегружать основной конструкции. Не так обстоит дело с «Метафизикой Пушкина». В ней имеются довольно пространственные дигрессии и повторения, которые, сами по себе имеют некоторую ценность, но отвлекают читателя от основной темы. При каждом удобном случае автор читает лекцию на затронутую тему в общелитературном разрезе. Создается впечатление, что эта книга является сборником статей или лекций из области сравнительной литературы.

Между прочим, если бы книга была озаглавлена «Пушкин и Евангелие», а «Метафизика Пушкина» было бы названием одной из глав (причем слово «метафизика» было бы взято в кавычки), то, как нам кажется, получилось бы лучше, все бы стало в более правильный архитектурно-фокусный фокус и книга от этого выиграла бы.

Что сказать о языке Позова? По отношению к Пушкину — у него все суперлативы, гиперболы, метафоры... Пушкин велик, слов нет, но зачем же все время величать его «перлом», «апостолом», «пророком», «непревзойденным», «величайшим», «несравненным»? Вот несколько примеров:

«Сократ и Пушкин, как два пророка по сторонам Христа при Его преображении, они светят Его отраженным Фаворским светом».

«Пушкин показал, что Логос — единственный художник, а он, Пушкин, Его апостол художеств, друг Аполлона...»

«Пушкин стал пророком «Ведомого Бога» и воплотившегося, исторического Логоса-Христа».

«Пророк Пушкин есть адепт Логоса-Христа и родной духовный брат великого апокалиптика Иоанна».

Отметим, что три первые цитаты взяты с одной страницы (93)!

В противоположность легкости, простоте и изящности языка Пушкина, язык его апологета грешит, подчас, грузностью, отрывистостью, резкостью. Его фразеология переперчена иностранными словами, иногда не совсем удачно руссифицированными (например, «руинозность»): «Катастатический метасхематизм (извращение)

Эроса — в любви к миру (филокосмия), к самому себе (филавтия), в плотской любви (похоти)» (стр. 127).

И все-таки, несмотря на все недостатки, книга Позова и интересная, и полезная. Она — как перстень, несоответственная оправе которого не умаляет качества заключенного в нем драгоценного камня. В центре ее стоит Пушкин, и автор показывает его в таком свете, в каком он никогда не был показан. Позов хорошо знает учение о человеке древних отцов церкви и древних философов: сквозь призму их мировоззрения он видит в Пушкине осуществление синтеза духовных, душевных и физических начал. Нельзя не согласиться с автором, что творческое начало в человеке, так ярко выраженное в его излюбленном поэте, есть богоподобное начало. В Пушкине сочетался абсолютный дар интуитивного проникновения в трансцендентную область божественной триады Истины-Красоты-Любви с совершеннейшим даром выражения художественных интуиций. В нем сочетается индивидуализм с универсализмом, национальное с общечеловеческим.

Отметим интересную мысль автора, что «серафим обречен на бездомность, странствование по лицу земли, гоним и преследуем, кончает насильственной смертью и мученичеством». Это верно и по отношению к Пушкину: — «Гибель Пушкина это русская модификация трагической антитезы гения и окружающего его ничтожества. Ничтожество влечется к гению, но и отталкивается от него. Ситуация кончается завистью и ненавистью. В свете гения, рядом с ним ничтожество увековечивается, следует за гением, как тень. Леонид Спартанский и Эфиальт, его предавший, Артемиды Эфесская, покровительница древнего посвящения и Герострат, Юлий Цезарь и Брут, Сократ и Мелитос, Христос и Иуда, Пушкин и Николай I, Пушкин и Дантес, Лермонтов и Мартынов» (стр. 219).

В книге много интересного материала из области сравнительного литературоведения. Такая, напр., глава, как «Пушкин и Шекспир» (одна из лучших глав книги) может служить пособием для изучающих Шекспира. Очень хороши главы о вдохновении, гениальности, тайне поэзии: в них автор не ограничивается энциклопедическим изложением мнений известных мыслителей на эти темы, но сам исследует головокругительную глубину мистического озарения и творческого вдохновения.

Обобщая, можно сказать, что в своем катафатическом аспекте книга эта весьма ценная. И еще одно: после этой книги непреодолимо хочется заново прочитать Пушкина...

Игумен Геннадий (Эйкалович)

«НОВЫЙ ЖУРНАЛ»

под редакцией

РОМАНА ГУЛЯ

ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЫЙ ГОД ИЗДАНИЯ

...

В 1970 ГОДУ ВЫЙДУТ ЧЕТЫРЕ КНИГИ

...

Подписная цена 10 долл. в год (за 4 книги)

Цена одной книги — 3 долл.

Во Франции — 10 франков

...

ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ «НОВОГО ЖУРНАЛА»:

The New Review, 2700 Broadway

New York, N. Y. 10025

Телефон редакции и конторы: МО 6-1692.

Прием по делам редакции и конторы — ежедневно,
кроме праздников и суббот, от 5-ти до 6-ти час. дня.
